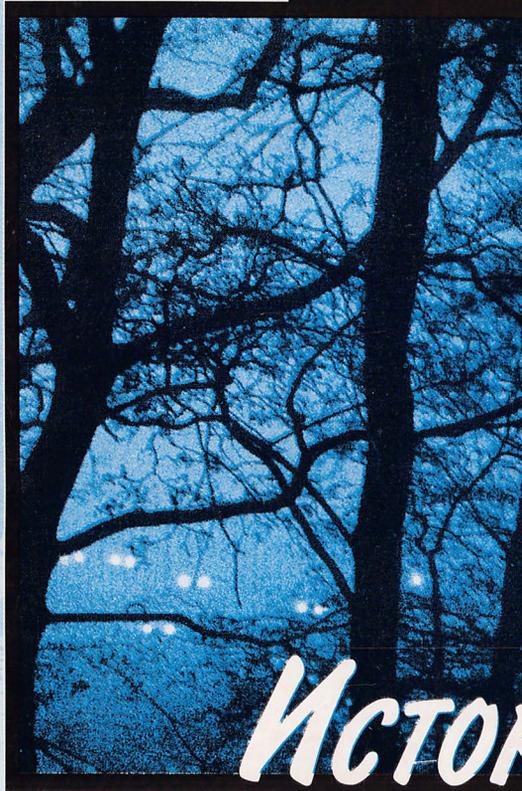


Я. С. ЛУРЬЕ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ ©

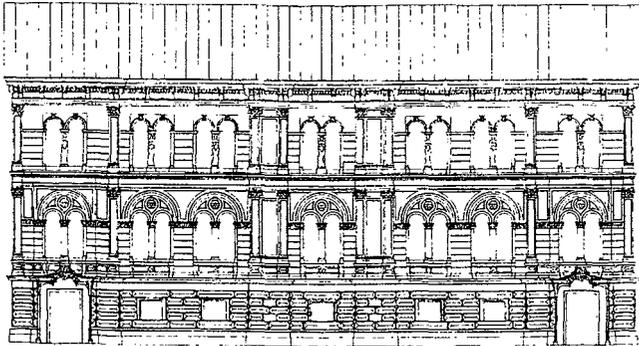
Я. С. ЛУРЬЕ



ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ЖИЗНИ



ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Ya. S. Luria

THE LIFE
of Salomon Luria

EUSP Press
St Petersburg
2004

Я. С. ЛУРЬЕ

**ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ЖИЗНИ**

Издательство ЕУСПб
Санкт-Петербург
2004

*Издание подготовлено при содействии вдовы Я. С. Лурье
И. Е. ГАНЕЛИНОЙ*

Лурье Я. С. История одной жизни / Сост. примеч. и библиогр.
Н. М. Ботвинник.— 2-е изд., испр. и доп.— СПб.: Изд-во Европ. ун-та
в С.-Петербурге, 2004.— 279 с. + 4 с. илл.

ISBN 5-94380-033-6

Эта книга написана известным ученым, специалистом в области русской истории и литературы Я. С. Лурье. В ней повествуется о судьбе отца Я. С. – выдающегося ученого, историка античности профессора С. Я. Лурье. Однако это рассказ не только о жизни отца, но и о целом поколении русской интеллигенции, и, в более широком смысле, об истории России после революции. Впервые книга была издана во Франции в 1987 г. под псевдонимом. В настоящее издание включен раздел, текст которого был найден после смерти Я. С. Лурье.

Для историков, филологов, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей Отечества.

This book was written by the son of Professor Salomon Luria, Yakov Luria, a prominent scholar in the field of Old Russian history and literature. It was first published in France (1987). This Russian edition appears with an additional chapter, which the author could not have included in the book under the Soviet regime. The book devoted to the fate of a whole generation of Russian intelligentsia, and, in a broader sense, to the post-revolutionary period of Russian history.

Научный редактор:
Н. М. БОТВИННИК

Рецензенты:
Е. И. ВАНЕЕВА, Н. Д. ПОТАПОВА

Без объявления
ISBN 5-94380-033-6

© Ганелина И. Е., 2004
© Европейский университет
в Санкт-Петербурге, 2004
© Кудина Е. В., оформление,
2004.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ*

(Предисловие к первому изданию)

После смерти Богданы Яковлевны Копржива-Лурье (Koprjiva-Lugia), скончавшейся во Флашинге (под Нью-Йорком) 29 мая 1981 г., среди ее бумаг была обнаружена книга, посвященная памяти покойного брата Б. Я., историка античности Соломона Лурье (1890–1964), и, в начальной части, также памяти отца – Якова Анатольевича (1862–1917). Бумаги Б. Я. представляли собой в основном часть архива ее брата С. Я., перевезенного в 1964 г., после его смерти во Львове, в Ленинград и находившегося в распоряжении родных. Бумаги, а также автобиографические заметки С. Я. Лурье и материалы, относившиеся к его учителям и умершим ранее него коллегам, Б. Я. Копржива, переехав в 1975 г. в Америку, постаралась вывезти с собой – в особенности это относится к материалам (к сожалению, довольно скудным), связанным с ее отцом – врачом Яковом Анатольевичем. Книга, основанная в значительной степени на автобиографических записях брата, была начата еще в конце 1960-х гг., а завершена незадолго до смерти Б. Я. Копржива-Лурье. Инженер-строитель по специальности, Б. Я. всегда проявляла интерес к гуманитарным наукам. В написании книги ей помогали специалисты. На ее страницах Богдана Яковлевна всюду упоминается в третьем лице. Название книги дано издателем.

* Этот текст в действительности принадлежит подлинному автору книги, Я. С. Лурье. — *Примеч. сост.*

СУДЬБА КНИГИ

«Habent sua fata libelli» – «Книги имеют свою судьбу», – говорили древние римляне. Эта латинская поговорка остается справедливой и в наши дни: свою, особенную, полную непростых поворотов судьбу имела и книга «История одной жизни», вышедшая в Париже в 1987 г. под псевдонимом Б. Я. Копржива-Лурье. Настоящее имя ее автора – Яков Соломонович Лурье.¹

Эта книга рассказывает об отце автора, выдающемся историке античности, ученом необычайно широкого диапазона – Соломоне Яковлевиче Лурье, а в начальной части также и о деде Я. С., Якове Анатольевиче, энциклопедически образованном враче и биологе.

Однако перед нами не просто семейная хроника. Достаточно посмотреть в оглавление и прочесть названия хотя бы нескольких разделов – «Революция», «Годы Великого перелома», чтобы понять, что эта книга не только о жизни отца Я. С., но и о целом поколении интеллигенции, и даже шире – об истории России после революции.

Опубликовать в СССР такую, написанную без малейшей оглядки на цензуру, книгу было, конечно, совершенно невозможно. Не всякому без опасений можно было дать даже машинописный текст. Вот почему Я. С. тайно переправил рукопись своей книги за рубеж и приписал ее авторство умершей в Америке в 1981 г. сестре отца, якобы вывезшей с собой часть архива С. Я., его автобиографические записи и семейные фотографии.

«История одной жизни» была не первой книгой Я. С., бесстрашно переправленной им для издания за границей. Еще раньше, в 1983 г., в Париже под псевдонимом А. А. Курдюмов вышла его блестящая книга «В краю непуганых идиотов», посвященная творчеству Ильфа и Петрова.²

¹ Копржива-Лурье – фамилия тетки Якова Соломоновича, эмигрировавшей в Америку.

² Книга переиздана в Петербурге под фамилией подлинного автора в сборнике. *Лурье Я. С. Россия древняя и Россия новая: Избранное* СПб: Дмитрий Буланин, 1997 С. 173–382.

Книга об отце, по-видимому, была начата Я. С. в конце 60-х годов, вскоре после смерти С. Я., окончена и передана в Париж в середине 80-х. Но появление парижского издания, как оказалось, еще не поставило точку в истории этой книги.

В начале 90-х годов жизнь в СССР резко изменилась. Я. С. стал много и свободно печататься на Западе, читал лекции в Америке и в европейских университетах. В эти годы он мог уже не скрывать своего авторства. В перечне написанных им статей и монографий он теперь указывал и свои вышедшие под псевдонимами книги, включая «Историю одной жизни».

Через несколько лет после смерти Я. С. в квартире его близких друзей случайно обнаружился принесенный им когда-то на хранение конверт с рукописью, названной им «Посмертным послесловием» к книге об отце.

Это авторское название «Посмертное послесловие» как будто вступает в противоречие с заключенным в скобки пояснением «Вместо вступительной заметки в начале книги». Однако, если вдуматься, тут нет противоречия. Я. С. писал эту главу в советские годы без малейшей возможности издания ее при жизни, в надежде на посмертное опубликование. Называя ее «Послесловием», он имел в виду не только свою книгу об отце. Это итог того, что волновало и интересовало Я. С. всю жизнь. Здесь он последовательно и полно излагает собственное представление о закономерности исторического процесса, свое «объяснение истории».

Заканчивая написанное «в стол» послесловие, в сущности своего рода завещание, Я. С. признается, что его, как и его отца и деда, «мысли и взгляды» занимают больше, чем судьба друзей и родственников, больше даже, чем ожидание собственной, уже недалекой смерти».

Историк, всю жизнь занимавшийся извлечением правды о прошлом из летописей и других сохранившихся письменных источников, Я. С., несомненно, верил в то, что написанное, существующее в виде рукописи или книги, не даст прошедшему исчезнуть без следа. Вот почему он считал, что написать о тех, кого он знал и любил, – его долг.

Н. М. Ботвинник

ВВЕДЕНИЕ

С. Я. Лурье (Salomo Luria, как именовали его западные коллеги), в свое время довольно широко известный среди исследователей античности, ныне почти незнаком нерусским читателям (о нем знают в основном некоторые его коллеги), а в памяти русской (и русско-еврейской) интеллигенции сохранился лишь как автор двух книг – детской книжки «Письмо греческого мальчика» и исследования «Антисемитизм в древнем мире». Книжка «Письмо греческого мальчика», написанная в 1929 г. (опубликована в 1930 г.), переиздавалась много раз;¹ она почти так же популярна, как книги для детей-школьников, написанные в те же годы, – произведения Бориса Житкова, Виталия Бианки, Ел. Данько, Евг. Чарушина.

«Письмо греческого мальчика» читают только в России; «Антисемитизм в древнем мире» С. Я. Лурье известен и за рубежом. Эта книга, вышедшая в свет в 1922 г., была последний раз переиздана в Израиле в 1976 г.² Но восприятие книги едва ли соответствует действительным взглядам ее автора. Все прочие работы С. Я. Лурье, включая собрание фрагментов великого греческого философа Демокрита, которое С. Я. готовил в течение нескольких десятков лет и которое было посмертно опубликовано его коллегами и учениками в 1970 г.,³ известны лишь специалистам; вспоминают их не часто.

Конечно, основные работы С. Я. Лурье – не сочинения писателя, а очень специальные научные издания. Но в наше время интеллигенты интересуются не одной лишь беллетристикой; многие из них с жадностью набрасываются на книги по философии и истории культуры. Книги С. Я. Лурье таким предметом чтения и обсуждения не стали.

¹ К сегодняшнему дню книга выдержала 12 изданий. Последнее из них: Лурье С. Письмо греческого мальчика. М., 2002. С. 7–38. Об остальных изданиях см. прилагаемый к книге список трудов С. Я. Лурье. — *Примеч. сост.*

² Еще раз переиздана в 1990-е гг.: Лурье С. Я. Антисемитизм в древнем мире. Попытки объяснения его в науке и его причины // Филон Александрийский. Иосиф Флавий. М., 1994. С. 5–168. — *Примеч. сост.*

³ Лурье С. Я. Демокрит: Тексты. Перевод. Исследования. Л., 1970. С. 663. Книга широко известна как в России, так и за рубежом. См., например: Totok W. Handbuch der Geschichte der Philosophie. Frankfurt am Main, 1964. — *Примеч. сост.*

Но в одном отношении его жизнь и научная биография могут вызвать интерес. Предлагаемая книга в очень небольшой степени претендует на роль популярного изложения работ С. Я. Лурье; читатель-неспециалист, которого может заинтересовать содержание работ С. Я. Лурье, получит несравненно лучшее представление об этих работах из его собственных научно-популярных сочинений, особенно из книжек, предназначенных Соломоном Яковлевичем для детей. Однако книга эта все-таки посвящена истории – тому, что любимый писатель С. Я. Лурье, Владимир Галактионович Короленко, называл «историей современника». Как и всякий человек, С. Я. принадлежал своему народу и времени и разделял судьбы этого народа и времени. Судьба его, при всех ее индивидуальных особенностях, отражает судьбу определенного поколения российской интеллигенции.

Что же это было за поколение? С. Я. Лурье родился в 1890 г. Он и его ровесники пережили революцию 1905 г. в гимназическом возрасте, а их созревание пришлось уже на годы реакции; когда же пришла революция 1917 г., всем им было около 30 лет. Поколение это дало стране довольно мало политических деятелей; большинство участников революции и будущих администраторов было либо старше их, либо моложе. Много зато было в этом поколении деятелей искусства и особенно писателей. Примерно одного возраста с С. Я. были М. А. Булгаков, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, Б. Л. Пастернак, К. А. Федин и И. Г. Эренбург. Из коллег С. Я. – историков ровесником его был востоковед В. В. Струве, о котором нам не раз еще придется упоминать.

Судьба этих людей сложилась по-разному, но имела одну общую особенность. Революция застала их всех уже взрослыми людьми; «великий перелом» или, точнее, «переломы», наступившие после нее, были поэтому для всех них особенно болезненными. Реакция на эти «переломы» резко разделила все поколение на две группы: на тех, кто не сумел или не захотел приспособиться к новым условиям, и на тех, кто обнаружил достаточную – иногда даже поразительную – пластичность. Наиболее яркими представителями первой группы были Мандельштам и Булгаков, воплощением второй – Федин и Эренбург.

Люди, мало способные приспособляться к новым условиям, имели различные воззрения: Булгаков, например, был безусловным противником революции; Пастернак воспевал лейтенанта Шмидта и 1905 год. Активных борцов, людей, не допускавших никаких компромиссов, в этом поколении было мало: тем из них, кто проявлял такую бескомпромиссность, пришлось заплатить за это дорогой ценой и рано уйти с исторической сцены. «Нонконформи-

стов», родившихся в начале 1990-х гг., отличал от «конформистов» этого поколения не абсолютный отказ от самой идеи компромисса, а глубочайшее к нему отвращение. Они не были героями, но не были и «первыми учениками» в том смысле, который вложил в это понятие Е. Л. Шварц в «Драконе». «Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили», – говорит у Шварца бывший личный секретарь Дракона после смерти своего повелителя и победы рыцаря Ланцелота. «Всех учили. Но зачем ты оказываешься первым учеником, скотина такая?» – восклицает Ланцелот.⁴

В отличие от «первых» учеников, «последние» плохо воспринимали уроки истории. Пока господство «Дракона» было абсолютным и казалось вечным, «последние ученики», естественно, считались неудачниками.

«Не было фортуны ему. Как ни напишет, мимо попал, не туда, не те, не такие», – эти слова, которые говорит в пьесе М. Булгакова «Последние дни» филер Битков о Пушкине,⁵ имели явно автобиографический смысл. Булгакова, действительно, считали и при жизни и после смерти неудачником.

В какой-то степени эти слова могли быть сказаны и о научных сочинениях ровесника Булгакова – С. Я. Лурье. Сколько раз на всевозможных заседаниях и в рецензиях ему объясняли, что все его работы – «не те, не такие». При этом люди, осуждавшие его, не отказывали ему ни в способностях, ни в эрудиции. В вину ему ставили нежелание учиться единственно правильному мировоззрению, склонность к заведомо ложным идеям и – говоря шире – крайнюю и вызывающую бестактность.

Но таким он был и в жизни – нетактичным и нечутким, словно нарочно старавшимся обижать своих ближних. «Король бестактности», – назвал его когда-то остроумный Д. П. Каллистов, сотрудник кафедры древнего мира, где работал С. Я., и был прав. Еще гимназистом юный Соломон отличался индивидуализмом и совершенно самостоятельно, ничего не слышав о существовании подобной философской концепции, пришел к мысли, что весь окружающий мир можно рассматривать как подобие сна, существующего только в его собственном воображении. Впоследствии, узнав, что такая теория называется солипсизмом, он признал солипсизм единственной альтернативой материализму, полагая (довольно основательно), что все остальные философские концепции – лишь неубедительные попытки найти среднюю позицию между двумя крайними, но последовательными точками зрения. Природный

⁴ Шварц Е. Пьесы. Л., 1960. С. 372.

⁵ Булгаков М. Драмы и комедии. М., 1965. С. 410.

«солипсизм» С. Я. сказывался в том, что он плохо понимал других людей и часто проявлял к ним невниманье. Он мог забыть сказать спасибо столичному коллеге, явившемуся в гости, чтобы преподнести свою книгу. Он мог не попрощаться с преданным учеником, специально проводившим его до трамвая. Он мог на заседании, где председательствовал глава отечественной египтологии – Василий Васильевич Струве, выразить радость, что «здесь присутствует наш крупнейший египтолог – Юрий Яковлевич Перепёлкин» (Перепёлкин числился кандидатом наук, а Струве – академиком).

Именуя С. Я. «королем бестактности», Д. П. Каллистов, конечно, имел в виду не только такие случаи, но и иные, более серьезные нарушения «правил игры». Общественные приличия Соломон Яковлевич нарушал постоянно, не думая или не желая думать о последствиях. Разве не неприлично было в 1915 г. в почтенной академической аудитории, исполненной патриотизма, выступить с вызывающе пацифистским докладом об Аристофане – докладом, нашедшим затем себе место на страницах интернационалистского социал-демократического журнала? Разве не странно было в 1922 г., когда одна часть интеллигенции считала национальный вопрос окончательно решенным революцией, а другая была убеждена, что советской страной правят евреи, выпустить книгу об истории антисемитизма, заявив в предисловии, что вопреки «весенним настроениям 1917 г.» антисемитизм в России «вспыхнул с новой силой...»? Разве не возмутительно было в год «всликого перелома», когда уже было известно, что «нет таких крепостей...», заявлять, что политическим деятелям не следует задаваться несбыточным стремлением «вести за собой массы», а необходимо учитывать «закономерность исторических событий» и угадывать стремления этих масс?⁶

Подобных историй в жизни С. Я. Лурье бесчисленное множество. И причина их была не только в бестактности и неумении правильно оценить обстановку и даже не в сознательном стремлении эпатировать общество. Жизнь его сложилась так, что он постоянно оказывался «белой вороной» в окружавшей его среде. Провинциал-еврей среди петербургских классических филологов, «буржуазный спец» среди адептов марксистской историографии и истмата, «безродный космополит» среди патриотов – ученых 1940-х гг. . .

Это противостояние – и в особенности противостояние национальное – он ощущал постоянно. Уже в первые университетские

⁶ Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.: Л., 1929. С. 116.

годы он написал четверостишие, в котором пародировал отношение к нему со стороны наиболее любезных арийских коллег:

Дорогой, мы вас жалеем,
Но зачем вам быть евреем?
Быть евреем и публично
Это очень неприлично...

Оно отражается и в его посмертном пародийном «Автонекрологе», написанном незадолго до смерти (в 1960 г.). В этом «Автонекрологе» он перечислял от имени некоего «Серафима Сугубова» ряд «компрометирующих фактов» биографии С. Я. Лурье и осуждал «практицизм, в результате которого указанный Соломон до самой смерти оставался профессором Львовского университета», предлагая по образцу «посмертных реабилитаций» сделать посмертные «оргвыводы» и уволить его «со службы после смерти».

Но несмотря на подобные шуточки, он вовсе не радовался своему противостоянию и не стремился его подчеркивать, не старался действовать наперекор коллегам, и если оказывался не таким, как они, то вовсе не из стремления оригинальничать, модничать наизнанку. Просто у него были свои интересы, свой путь, своя работа. С детства у него осталось воспоминание о сцене, увиденной не то во сне, не то наяву: он проходил по берегу Дубровенки, могилевской речушки; из домика вышла старая еврейка и сказала на ломаном русском языке: «Ох, ох! Надо варить овсяная каше. Трудовос будет день!» И он часто пел (на мотив вальса «На сопках Маньчжурии»):

Надо, друзья, овсяную кашу варить,
Надо варить овсяную кашу –
Трудовое будет день...

Своеобразными были не только образ его поведения и научные интересы, но и мировоззрение. Многие из его братьев-филологов были людьми правых, консервативных воззрений, идеал их лежал в дореволюционном прошлом; первое послереволюционное десятилетие для таких консерваторов было тяжелым, а иногда и совсем невыносимым. Но те из них, кто дожил до 40-х годов, нередко могли ощущать удовлетворение – вновь зазвучали радующие душу слова о Родине, национальных традициях; стало возможным и относительно безопасным обращение к религии – христианской или иудейской. По-иному складывалась судьба марксистов-коммунистов – мы имеем в виду здесь коммунистов по убеждению, а не просто приспособленцев. Многие из них погибли в конце 30-х годов, многие испытали разочарование. Но и у них

был свой звездный час – Октябрь, годы Гражданской войны. С. Я. Лурье не принадлежал ни к тем, ни к другим. Ни предреволюционная, ни послереволюционная действительность не вызвала отклика в его душе; не был он и сионистом; близок ему был лишь короткий полугодовой период русской истории – весенние и летние месяцы 1917 года.

Своеобразие жизненного пути С. Я. Лурье сказалось и на судьбе его научного наследия. Оно, как мы уже отметили, мало известно в наше время, почти через пятнадцать лет после его смерти.⁷

Был бы он удручен, если бы мог это предвидеть? Едва ли – он не был избалован успехом при жизни. Среди бумаг, оставшихся от него, сохранилась выписка – из Махатмы Ганди: «Человек должен быть уверенным в своей цели, спокойным и невозмутимым, делающим свое дело и не слишком заботящимся о результатах своих действий». С. Я. отнюдь не был собирателем афоризмов и «мудрых мыслей», и если он специально выписал эти слова, значит, они его особенно волновали.

Что же это было за дело, которое он готов был делать «спокойно и невозмутимо», не надеясь даже на успех? Как вообще была связана его довольно далекая от жизни специальность историка древности с бурными событиями, современником которых ему пришлось быть, и с острыми проблемами его времени?

В какой-то степени предлагаемая книга может дать ответ на этот вопрос.

⁷ В последние годы ситуация начала меняться: почти ежегодно появляются работы, посвященные С. Я. Лурье. Напечатаны и некоторые работы самого С. Я. (см. библиографию в конце этой книги). — *Примеч. сост.*

НАЧАЛО ЖИЗНИ

Многое в жизни С. Я. Лурье останется непонятным, если не рассказать о его отце – Якове Анатольевиче Лурья (так он транскрибировал свою фамилию; форма «Лурье» – поздняя и неверная). Энциклопедизм С. Я. – сочетание математических и гуманитарных способностей – лишь небольшая часть энциклопедизма его отца. Врач и биолог по образованию, Я. А. оставил после себя целые тетради этнографических исследований. Когда С. Я. готовил в 10-х годах свое исследование по истории античного антисемитизма, он систематически переписывался с отцом; переписка их частично сохранилась и, читая ее, трудно поверить, что один из корреспондентов – филолог-классик, а другой – дилетант. Я. А. свободно владел не только древнееврейским, но и древнегреческим языком (он и обучил сына этому языку): обладая так называемой эйдетической памятью, Я. А. мог, прочитав одну страницу неизвестного ему прежде древнегреческого текста, повторить ее наизусть.

Воспоминания о Я. А. Лурья, сохранившиеся в памяти его детей, могут быть дополнены небольшим числом письменных свидетельств. Среди них – записи, сделанные незадолго до смерти Я. А., когда он был тяжело болен, с трудом писал и говорил, но все-таки стремился, со свойственным ему упорством, хоть к какой-нибудь деятельности. Записи были сделаны частично его рукой, частично (когда у него уже не было сил писать) – дочерью под диктовку отца. Они бессистемны, часто даже бессвязны, зато непосредственно отражают его детские воспоминания.

Яков-Арон Лурья родился в 1862 г. в большой еврейской семье. Его отец Нафтоли (Анатолий) имел маленькую лавочку, в которой, среди прочего, продавалась и водка. Лавочек таких было в Могилеве множество, и один из соседей Нафтоли стал продавать спиртное не только на вынос, но и распивочно; отцу Я. А. пришлось сделать то же самое, превратив первую проходную комнату своей лавки в кабачок. «Старшие выходили и выкрикивали на всю улицу: “Три копейки шкалик водки”», – вспоминал потом Я. А., прибавляя, что ему уже в детстве приходилось видеть «очень гадкие вещи». Просуществовал этот кабачок, впрочем, недолго: сосе-

ди Нафтоли, как и сам он, очень боялись конкуренции – они несколько раз поджигали его лавку: по воспоминаниям Я. А., «в конце концов это заставило отца вступить со своими противниками в переговоры, и он, наконец, закрыл свой кабак».

Уже с детства Яков Лурья отличался выдающимися способностями и строптивым характером. Учился он в домашней еврейской школе (хедере); его первым учителем русского языка был военный писарь-пьяница, таскавший казарменное имущество и продававший его за водку: «Вся его ученость была в грамоте, к тому же он был очень добрый. Когда я запоминал, он давал мне конфет». Яков уже успел многому научиться от этого писаря, когда того арестовали за воровство.

Торговля водкой не мешала Нафтоли Лурья быть человеком богобоязненным и строгим. Он часто подвергал сына телесным наказаниям; одна из экзекуций, запомнившаяся Я. А., происходила в еврейской школе: «Учитель и отец снимали с меня платье, чтобы положить голым на стол. Я как-то оборонялся – мне стыдно было. Дети, которые стояли по всей школе, меня держали справа и слева». Однажды во время порки Яков вырвался и побежал, к стыду отца, нагишом по улице. Семейные воспоминания связывали эти наказания с ранним вольнодумством Якова, не любившего и не желавшего ходить в синагогу. Другой причиной ссор было его заступничество за брата, чахоточного Ейну, которого отец также бил. Кончилось это тем, что Яков бежал из дому и нашел, несмотря на свое свободомыслие, приют у раввина, ценившего в мальчике его способности.

Гимназическое образование далось Якову Лурья сравнительно легко. Это были времена Александра II, когда порицаемые русским обществом пороки евреев объяснялись прежде всего их невежеством – власть не только не препятствовала их поступлению в среднюю школу, но старалась всячески цивилизовать этот темный, по ее представлениям, народ. Мешала только бедность – впоследствии Я. А. так и не мог вспомнить, «кто позаботился о первой плате» за его обучение, и предполагал, что это сделал самый добрый из его родных – старший брат Залман-Зосим: «Но зимнего пальто у меня все же никакого не было, и ходил без верхнего». Во втором классе, когда несостоятельный гимназист обнаружил способности к учению, ему было дано из гимназии пособие на покупку пальто – чтобы пособие не было использовано с какой-нибудь другой целью, классный наставник сам заказал пальто портному.

Процентной нормы для евреев не было еще ни в гимназиях, ни в университетах; ограничения начинались лишь за порогом выс-

шей школы. Яков Лурья окончил естественный факультет Петербургского университета, даже получил там ученую степень, но научная или преподавательская деятельность для него, еврея, была закрыта. Тогда он окончил другой факультет – медицинский в Харькове (был учеником известного офтальмолога Гиршмана) и занялся одной из немногих профессий, доступных еврейской интеллигенции в России, – стал врачом.

К сожалению, не сохранилось почти никаких сведений о годах обучения Якова Лурья в Петербурге и Харькове, а между тем, вероятно, именно в эти годы сформировалось его мировоззрение, так или иначе отразившееся на его детях. Современник народовольцев, Я. А. находился в Петербурге 1 марта 1881 г. и сохранил об этом дне совсем необычные воспоминания. По его словам, об убийстве царя ему, студенту, сообщил на улице извозчик, и сообщил с неожиданной и нескрываемой радостью.

Трудно установить, как формировались политические убеждения Якова Анатольевича. Как еврейский интеллигент, он, естественно, не мог не проявлять интереса к таким событиям, как дело Дрейфуса во Франции и резкое обострение еврейских ограничений в России в конце XIX – начале XX в., но националистом никогда не был и к нарождавшемуся сионистскому движению относился определенно отрицательно. Сторонник ассимиляции, он возлагал надежды на общедемократические преобразования в России. Не разделял он и популярной во всем русском обществе начала XX в. вражды к англичанам в связи с англо-бурской войной. Англия всегда оставалась для него образцом демократии, а в романтических бурях он предугадывал будущих угнетателей негров и оказался, как мы знаем, прав.

Никогда не проявлявший склонности к общепринятым традициям, Яков Лурья в молодости особенно резко отвергал их. Высоко ставя свою профессию врача, он считал недопустимым извлекать из нее доходы и придумал такой оригинальный способ оплаты своего труда. Гонорар он брал только с состоятельных больных, а остальным (составлявшим, естественно, огромное большинство) предоставлялась возможность складывать свои грошовые гонорары, где им вздумается – где-нибудь в углу, на шкафу, в тарелке. Ехидные родственники утверждали, что значительная часть больных не только ничего не оставляла доктору, но охотно брала из предложенного другими. Жили, во всяком случае, очень бедно, и поведение Якова Анатольевича казалось многим родным не только чудачеством, но и эгоизмом: он недостаточно думал об интересах семьи. В доме не хватало даже такого дешевого по тем временам продукта, как молоко; недоставало денег на обувь, зимнюю одежду. Но, не обеспечивая

своих детей достаточными средствами, доктор Лурья проявлял зато величайшее внимание к их обучению. Детей задолго до гимназии обучали языкам, рисованию, математике, ручному труду и особенно естествознанию (большинству предметов учил сам отец). Еще до вечера доктор прекращал прием пациентов и отправлялся с детьми в далекие прогулки. Эти прогулки научили его сына не только ходить пешком на далекие расстояния (его любимый и, в сущности, единственный спорт до старости), но и познакомили его с природой – он без труда мог определить любое растение и любую птицу, обитающую в средней полосе России (Белоруссии). С. Я. вспоминал такую сцену. Трудовой день окончен: доктор Лурья с сыновьями отправляется на прогулку. В это время подъезжает карета, из нее выходит польский помещик (слава Я. А. как врача распространялась на всю Белоруссию и даже на Царство Польское), которому срочно нужен врач. Я. А. отказывается – прием окончен; помещик настаивает. Тогда доктор объявляет, что за неурочное время он берет повышенный гонорар и называет фантастическую для его пациентов сумму. Помещик, не моргнув глазом, соглашается. После приема смущенный врач заявляет, что такой суммы он не возьмет – она была названа в запальчивости, но гордый пациент неумолим.

Стремясь к тому, чтобы воспитание его детей не ограничивалось только домашними впечатлениями, доктор несколько раз брал сыновей (когда им было 9–10 лет) с собою в «летучие отряды», направлявшиеся в районы, охваченные эпидемией трахомы, – один раз они ездили с ним даже в далекую Казанскую губернию.

Важнейшее место в жизни Я. А. Лурья занимала общественная деятельность. Для еврейской бедноты были организованы ремесленные училище и ферма: лица, непосредственно ведавшие этими учреждениями, иногда были не прочь извлечь из них личную выгоду. Доктор с азартом боролся с такими злоупотреблениями. «Вам нужно носить юбку, а вашей жене штаны...» – кричал он заведующему ремесленным училищем, на которого жаловались, что его жена использует учащихся в своем домашнем хозяйстве. Уличив какого-то из деятелей фермы в вывозе общественных овощей, Я. А. бросился за ним, толкая его палкой. – «Доктор, что вы делаете!» – возопил лихоимец. Насколько известно, подобные опыты физической расправы сходили доктору безнаказанно: слава городского мудреца и целителя, видимо, включала в себя славу городского чудака.

Недовольство в общественном мнении могли скорее вызвать те опыты атеистической пропаганды, которыми занимался доктор. В субботу порядочный еврей не только должен сидеть дома, предаваясь отдыху, но не смеет держать в руках какое-либо орудие. Док-

тор с детьми отправляется за город с палками в руках – вдогонку им летят камни. Кошунственное поведение дополняется словесными убеждениями. «Как хотите, доктор, а гоим (христиане) все-таки дикие люди, – объясняет склонный к философии еврейский мальчик. – Берут доску, на которой что-то нарисовано, и молятся на нее, и целуют ее». «А как же у нас, – спрашивает доктор, – вешают на дверь стеклянный ящик с куском старого пергамента и тоже целуют его?» (Речь идет о так называемой мезузе – футляре с листом старинного библейского текста.) «Ой, что вы говорите, доктор: Дос ис ди хейлиге мезузе (это священная мезуза)!» – восклицает мальчик. Фраза «Дос ис ди хейлиге мезузе!» была популярна в семье как характерное выражение идейной ограниченности – отнюдь не только религиозной.

События 1904–1905 гг. оказали самое прямое влияние на жизнь семьи Якова Анатольевича Лурья. После кишиневского погрома 1903 г. произошел погром и во входившем в Могилевскую губернию Гомеле. Гомельский погром отличался от кишиневского одной важной особенностью – здесь не было того бессилия жертв, которое побудило Х. Н. Бялика после Кишинева сравнивать свой народ с травой, покорно пригибающейся под ударами; в Гомеле действовала, и довольно активно, еврейская самооборона.

Как относился к этому Яков Анатольевич? Эволюционист по убеждениям, выше всего ставивший просвещение и борьбу с невежеством, он вовсе не склонен был, однако, противопоставлять себя революционной молодежи. С. Я. Лурье вспоминал и такую сцену, относящуюся к лету 1904 г.: «Яков Анатольевич, Плеве убили», – прокричал на улице какой-то знакомый. Бросившись навстречу счастливому вестнику, сорокалетний врач перескочил разделявшую их канаву. Гуманистам 70-х гг. XX в., которых может шокировать такая кровожадность, вероятно следует напомнить, что Плеве считался – с достаточным основанием – организатором Кишиневского погрома.

9–10 октября 1904 г. погром был устроен и в Могилеве. Это был «малый погром», во время которого было убито и изнасиловано всего несколько человек. Единственная могилевская газета «Могилевские губернские ведомости» вообще ничего не сообщила о погроме, и самое выражение «могилевский погром» появилось в ней лишь год спустя, когда судебные власти (в связи с событиями) вынуждены были все-таки начать расследование этого дела. А в те дни «Могилевские ведомости» сообщали о происшедших в городе беспорядках тем небрежным, мило-патриархальным тоном, к которому издавна любит прибегать в подобных случаях официальная печать. «Уличные безобразия в Могилеве» – озаглавлена маленькая заметка

в газете. «9 октября по всему городу были расклеены объявления о начале мобилизации... Русский народ, к несчастью, во всех экстраординарных случаях своей жизни любит выпить... Полиция не в силах была вследствие своей малочисленности унять расходившихся не в меру буянов. Толпа в нескольких местах повыбивала окна в домах. Досталось и отдельным лицам, попавшимся в руки ватаги...» «Ватага» – старинное и вместе с тем немного детское слово – сразу настраивает нас на веселый лад, и можно не спрашивать, кто были эти «отдельные лица» (национальность их в заметке не упомянута) и как именно им «досталось». Кончается заметка совсем трогательно: «Следовало бы образумить этих бедных, темных людей... (речь идет, естественно, о погромщиках. – Я. С.). Надо ближе подойти к этим людям... пожалеть и полюбить их и помолиться вместе с ними всенародною молитвою...»¹

Подлинная картина событий 9–10 октября, описанная по свежим рассказам в петербургской еврейской газете «Восход», не походила на описание «Могилевских ведомостей». Прежде всего, как заявляли очевидцы, среди погромщиков вовсе не было заметно лиц, похожих по виду или по возрасту на призванных запасных. Напротив, среди разграбленных еврейских домов были жилища людей, находившихся в то время на японском фронте, среди них квартира военного врача Айзика (Исаака) Лурья, брата Якова Анатольевича. В числе убитых также был призванный запасной – рабочий Лифшиц. Существенную роль в ходе событий 9–10 октября сыграло объявление могилевского полицмейстера Родионова, заявившего вечером 9-го, что «слухи» о погроме несправедливы. Читавшие это заявление утром 10-го громили «громогласно высказывались при этом, что необходимо сегодня же заполнить вчерашний пробел».

Вот несколько картин могилевского погрома 9–10 октября.

«...Во многих местах били евреев на глазах городских и полицейских чинов. Вырывали камни из мостовой и бросали их в евреев...

В 12 час. начался настоящий погром... Показалась большая толпа на Шкловском базаре, откуда начали бегать окровавленные избитые евреи.

– Не ходите туда, – обратился ко мне один из пострадавших. – Там громили задержали конку, снимают проезжих евреев и бьют смертным боем... Дом кандидата прав А. А. Талалая на Краснопольской улице совершенно разрушен...

¹ Могилевские губернские ведомости. 1904. 12 окт.

Т. били колом по голове, его мать, больная старуха Перла, покрыла сына своим телом и умоляла буйнов: «Бейте меня, старуху, а сына оставьте», и на ее спине сломали кол. Она вся избита и изуродована. Ее внучку, двухлетнюю девочку, хотели убить, “хоть одну ножку сломать”, и мать ее, молодая болезненная женщина... бросилась, как львица, к ребенку, желая опустить его через окно второго этажа; но тут подоспел знакомый плотник, работавший в этом же доме и знавший все входы и выходы, и подставил топор. Русская женщина, соседка Т., распростерла под окном одеяло и закричала: “Бросьте сюда моего ребенка”, и спасла еврейское дитя...

На Шкловском базаре разгромили бедного лавочника, торгующего дегтем и веревками... В толпе были гимназисты и реалисты... При разгроме квартиры М. к нему пришел офицер и потребовал веревку.

– Не могу в лавку идти, – сказал М., – боюсь громил.

– Пойдем со мной, – сказал офицер. И М. в сопровождении офицера прошел в лавку... и продал офицеру веревку. По уходе офицера громилы продолжали свое дело...

67-летняя старуха Шейна Гинзбург спряталась под крышу от побоев громил, откуда она упала и оборвала все внутренности. Она находится при смерти в еврейской больнице...

На Дебре у портного Я. А. громилы, душа его за горло, вымогали 5 р. В это самое время, в другой комнате кто-то совершил гнусное насилие над его женой, на первой неделе после родов...

...На Дебре возле русла, на заборе... видны сгустки крови убитого рабочего Лифшица, в ячейках глубокой грязи тоже кровь...

На Жандармской улице толпа напала на дом стекольника. Муж и жена, в паническом страхе, ошалев от страшных побоев, бежали. Толпа стала бить маленьких детей в присутствии помощника пристава Роне. В комнату ворвалась, как бомба, соседка – полька, прачка по ремеслу, и бросилась на грабителей с поднятыми кулаками.

– Я вам не дам убивать детей. Я сама мать детей!

– Вон отсюда, – ревела толпа. – Мы тебя на куски разорвем.

– А я вам, нехристям, безбожникам, ухватом глаза выколю. Бейте лучше меня, а детей оставьте!

Имущество все-таки было разграблено...»²

Детское воспоминание об этих событиях сохранилось у дочери Я. А. Она сидит с отцом за французской хрестоматией «Petite a petite». Возле ноги доктора топор, которым он намерен оборонять-

² Восход. 1904. № 20 – 21 (С. 14 – 16, 35 – 36); № 22 (С. 31 – 33); № 23 (С. 40 – 43); № 24 (С. 42 – 44).

ся, если погромщики, действующие на соседних улицах, придут сюда. Топор этот отвлекает девочку от занятий, но отец неумолимо требует внимания к уроку.

Но Яков Анатольевич не ограничивался только готовностью к самообороне на случай нападения. Первые же известия о погроме ясно указывают на его роль в разоблачении подлинных причин происшедших событий. Он знал Лифшица, убитого во время погрома на Дебре (окраине города), – интеллигентный рабочий Лифшиц (не раз бывавший в доме доктора) был, вероятно, не случайной жертвой убийц. И конечно, это доктор Лурья обратил внимание столичного «Восхода» на обстоятельства, предшествовавшие погрому, – на провокационные слухи, распускавшиеся в городе (о святотатствах, тайных убийствах) накануне 9 октября и явно предвещавшие погром: «Член земской управы Ю. Ю. Бекли (в действительности Ю. Ю. Бехли, друг Я. А.) высказал одному из местных врачей, что такие толки – по-видимому, явный предвестник еврейского погрома». «Местный врач» – это, конечно, Я. А. Лурья. В той же заметке Я. А. упоминается и прямо: «...когда врач Лурья в понедельник посетил одного пораненного на Дебре, то местные жители евреи рассказывали ему, что они могут указать и назвать грабителей, чтобы полиция записала их показания. Дебрянские евреи знают по имени того, кто нанес смертельную рану Лифшицу, кто ранил других, и многих из тех, которые грабили...»³

Расследование причин могилевского погрома приобрело особое значение в связи с тем, что в те же самые осенние месяцы 1904 г. (время, когда определилось явное поражение в японской войне и приближалось падение Порт-Артура) в соседнем Гомеле начался крупный судебный процесс, имевший очевидное политическое значение.

Если могилевский погром приказано было не замечать, то гомельскому погрому решено было придать небывалую огласку. 14 октября в Гомеле начался судебный процесс над 80 лицами, обвиненными «в насилии из племенной и религиозной вражды и в сопротивлении властям». Многими чертами гомельский процесс напоминал другой, несравненно более известный судебный процесс – дело Бейлиса. Уже обвинительный акт не оставлял сомнений в том, что сентябрьские события 1903 г. в Гомеле изображались властями не как еврейский погром, а как «русский погром», и основными обвиняемыми были евреи. Главное ударение в обвинительном акте делалось на том обстоятельстве, что еще до сен-

³ Восход. 1904. № 20. С. 14–16.

тября 1903 г., под влиянием событий в Кишиневе, еврейская молодежь стала готовиться и организовывать кружки самообороны и учиться стрелять. Во время процесса и полицейские власти, и сам председатель суда вели себя вызывающе пристрастно: полиция запугивала свидетелей защиты, председатель лишил слова русского свидетеля, старообрядца Шустова (находившегося под следствием по политическому обвинению), намеревавшегося рассказать о том, как в действительности начался погром, и удалил адвоката, заявившего протест; в результате защита в полном составе покинула суд; заканчивался он без защитников. Однако, как и более позднее дело Бейлиса, процесс вряд ли можно было считать удачей властей. Суд все-таки был гласным, и в ходе разбирательства выяснились многие неприятные обстоятельства: участие в погроме офицеров местного гарнизона и бездействие, а иногда и прямое соучастие полиции.⁴

Сходство могилевских и гомельских событий было очевидным. Тем более было важно помешать местным властям замолчать могилевский погром, сведя его к случайным эксцессам, вызванным мобилизацией и «любовью выпить». Следствие не велось, и дело явно собирались замять. Для того чтобы помешать этому, Я. А. Лурья решил пойти на более энергичные меры. В начале 1905 г. он, как сообщили газеты «Одесские новости» и «Восход», подал докладную записку вице-директору департамента полиции «с указанием на ряд действий чинов могилевской городской полиции, составляющих преступления, предусмотренные разными статьями уложения о наказаниях» и со ссылками на показания очевидцев «о том, что полицмейстер давал громилам деньги и подстрекал их к разгрому еврейского имущества». Последствий эта записка, как легко можно было предвидеть, не имела. Тогда (по-видимому, в апреле 1905 г.) Я. А. обратился с новым заявлением, адресованным министру внутренних дел, в котором говорил, что поскольку «до сих пор никто из чинов полиции не предан суду, но полицмейстеру объявлена даже благодарность могилевским губернатором», то он приходит к заключению, «что, очевидно, сообщенные им сведения были ложными, и просит поэтому привлечь его к ответственности за ложный донос».⁵

К таким решительным выступлениям Якова Анатольевича побуждали не столько прошлогодние, сколько более свежие события. В Могилеве, вопреки стараниям консервативной части еврейского

⁴ Гомельский процесс: Подробный отчет. СПб., 1907.

⁵ Восход. 1905. № 15. С. 20.

общества, создавалась самооборона – и не только еврейская, но и объединенная. В апреле 1905 г. русские рабочие выступили против погромщиков в местечке Копысь Могилевской губернии. Тогда же произошла демонстрация еврейских рабочих перед могилевским городским театром. Смущенная этим событием, полиция прибегла к привычным для нее мерам: демонстрантов избили. В качестве превентивной меры городские систематически задерживали молодых людей, подозрительно скапливавшихся на улице, приводили их в полицию и били. Я. А. Лурья объявил, что все лица, подвергшиеся избиениям в полиции, могут обращаться к нему за медицинским свидетельством о понесенных увечьях. Кроме того, он позволил себе предостеречь власти, что при таких действиях полиции старшее поколение не может удерживать молодежь от террористических актов. По-видимому, именно в этой фразе (угроза террора!) власти и усмотрели необходимый им для дальнейших действий криминал.

В течение нескольких месяцев необычное ходатайство Я. А. оставалось без ответа – к суду за ложное обвинение могилевской полиции он привлечен не был. Открытого суда власти после гомельского опыта не хотели. Но 11 сентября 1905 г., как сообщала московская газета «Русские ведомости» («Могилевские ведомости», естественно, молчали), «часа за три до отхода поезда из Могилева в Оршу, в квартиру Я. А. прибыл помощник полицеймейстера и заявил доктору, что по распоряжению из Петербурга он немедленно высылается на пять лет в Архангельскую губернию». Либеральные «Русские ведомости» сопроводили этот отзыв сочувственным упоминанием о том, что «бедное население города и губернии имело в лице Я. А. незаменимого по солидным знаниям, по отзывчивости на человеческое горе и по доступности для всех и во всякое время врача. Местное интеллигентное общество не знает более живого и неутомимого общественного деятеля, который бы так горячо и самоотверженно посвящал все-го себя на служение среди местного бесправного и забитого населения. Естественно, что могилевские административные власти не могли переносить ратоборства Я. Лурье против беззакония».⁶ Петербургская газета «Русь» спустя несколько дней добавила к этому сообщению еще некоторые подробности: «...квартира д-ра Я. А. Лурье была оцеплена чуть ли не всей могилевской полицией и конными драгунами (жандармская власть отсутствовала). ...Не имея ни копейки денег, ни теплой одежды, г. Лурье по-

⁶ Русские ведомости. 1905. № 255. 19 сент.

просил позволения написать несколько слов своим близко живущим знакомым. Одним из его знакомых, случайно узнавшим о высылке, были присланы 100 рублей и шуба... Г. Лурье задумал взять с собой на место ссылки свою девятилетнюю дочь и, получив трехкратное заверение полиции, что он может ехать на свой счет (не по этапу), он привел свое намерение в исполнение; но уже в Смоленске обещание полиции было нарушено, и г. Лурье был взят в тюрьму для дальнейшего следования по этапу (впоследствии, впрочем, это распоряжение было отменено), а его девятилетняя девочка помещена в женское отделение тюрьмы...»⁷

По воспоминаниям этой «девятилетней девочки», ее поездка объяснялась не только ее настойчивым желанием не расставаться с отцом, но и тем, что кроме нее никто поехать не мог. Ссылка Я. А. сразу же обнаружила крайне невыгодные для семьи последствия его бессребреничества. Ни наличных денег, ни накоплений в доме не было; жена оставалась с тремя сыновьями, одному из которых было четыре года. Средний сын учился в прогимназии в Полангене (Литва); старший четырнадцатилетний (Соломон), дававший уже в гимназические годы прилично оплачивавшиеся частные уроки, оказывался главным кормильцем семьи. В Смоленске начальник тюрьмы, принявший арестанта, решил соединить казенную пользу со своей личной – до него тоже дошла слава могилевского окулиста, и он попросил доктора проверить его зрение, внушающее какие-то опасения. «Пожалуйста, – сказал доктор, – как только вернусь из ссылки, приезжайте ко мне в Могилев». При создавшейся ситуации ответ был довольно опасным, но девятилетняя девочка была им очень горда. Впрочем, ее собственное путешествие закончилось в Смоленске. Везти ее дальше отец не решился, и в сопровождении полицейского (которому пришлось оплатить проезд в оба конца) она вернулась в Могилев.

Я. А. отправился в село Кузомень на берегу Белого моря. Почтовая связь с этим местом была весьма сложной, и легко себе представить ощущения семьи, когда, спустя несколько дней, в солиднейшем еженедельнике «Русский врач» они обнаружили в отделе некрологов такое сообщение: «Умерли: ... в Архангельской губернии сосланный туда административным порядком Яков Нафталович Лурья, родившийся в 1862 г., а звание врача получивший в 1889 г.»⁸ Сообщение было плодом недоразумения. «Русский врач» использовал заметку «Русских ведомостей», которая начина-

⁷ Русь. 1905. № 236. 1 окт.

⁸ Русский врач. 1905. № 39. Стб. 1239.

лась словами: «11-го сентября город лишился пользующегося широкой известностью и популярностью окулиста...», но понял слова «город лишился» в традиционном некрологическом смысле. Сведения о Я. А. Лурье у «Русского врача» были (газета добавила от себя дату его рождения и окончания медицинского факультета), но собственного корреспондента в Могилеве редакция не имела и среди бурных событий осени 1905 г. не позаботилась проверить полученные сведения.

Для чего могилевским властям понадобилась столь срочная высылка доктора Лурье («даже “24 часа” для г. Лурье не были допущены!» – писала газета «Русь»)? Некоторые предположения по этому поводу могут быть высказаны. 11 сентября доктор был выслан, а ровно через месяц, 11 октября в «Могилевских губернских ведомостях» появилось лаконичное сообщение, где впервые упоминался погром 1904 г.: «Дело о еврейском погроме в Могилеве, бывшем 10 октября прошлого года, назначенное на 10 октября с. г. в заседании киевской судебной палаты в Могилеве, отложено слушанием за неявкой некоторых свидетелей».⁹ Неявка одного, наиболее неудобного свидетеля, была обеспечена: другие свидетели после его ссылки также могли быть нйтрализованы.¹⁰ А 17 октября, через неделю после несостоявшегося процесса, был объявлен манифест о свободах, и на следующий же день после него по всей стране сотни тысяч погромщиков с царскими портретами в руках и трехцветными флагами учинили такое избивение евреев, по сравнению с которым и могилевский, и гомельский, и даже кишиневский погромы могли показаться скромными эпизодами.

Дело о могилевском погроме потеряло свою актуальность. Но некоторые последствия энергичная деятельность доктора Лурье, возможно, все-таки имела. В октябре 1905 г. Могилев был одним из немногих городов черты оседлости, где погрома не было. Организаторы таких мероприятий очень не любят мест, к которым привлечено особое внимание.

Но если для судьбы его родного города выступления Я. А. Лурье и его ссылка могли иметь известное значение, то какой интерес представляет эта история сейчас, семьдесят лет спустя, для людей,

⁹ Могилевские губернские ведомости. 1905. № 120. 11 окт.

¹⁰ Суд по этому делу состоялся в марте 1906 г., через полтора года после погрома; во время судебного процесса прокурор отказался от обвинения в убийстве против погромщика Листопада; всем пострадавшим было отказано в гражданских исках. «Так творится суд скорый и милостивый». – иронически писала независимая газета, выходившая в Могилеве с 1906 г. (Могилевский Голос. 1906. 21 апр.).

переживших мировые войны и революции? Ведь вся эта ссылка, оставившая глубокий след в памяти семьи, длилась только два месяца: в конце ноября, освобожденный амнистией, Яков Анагольевич выехал домой.¹¹ Учтем при этом, что враждебность властей к доктору не была безосновательной. Член сравнительно умеренной кадетской партии, Я. А. был, однако, связан с более радикальными организациями в городе. У него останавливались все важнейшие нелегальные деятели, прибывавшие в Могилев; на случай погрома в доме хранилось оружие. В течение 1905 г. полиция не раз устраивала обыски в доме доктора, и во время одного из них девятилетней дочери была доверена опасная честь – тайком перенести оружие на чердак. Правда, уличить доктора в таких делах могилевской полиции не удалось – но потому-то он и отделался ссылкой, а не чем-нибудь более суровым.

И все же эта история свидетельствует не только о сравнительной мягкости нравов начала XX в., но и о другом. О том, например, что уже в это время российские интеллигенты делали попытки опираться на законы, которые сама власть ни в какой степени не уважала, апеллировали к гласности в противовес официальному молчанию и даже обращались к властям с предложением подвергнуть их репрессиям. Разве это не заслуживает внимания? Заметим, впрочем, что в отношении средств гласности доктор Лурья был в сравнительно благоприятном положении: если в родном Могилеве выходила до 1906 г. только казенная газета, то уже в Петербурге, Москве и Одессе можно было воспользоваться помощью независимой (хотя и подцензурной) прессы. Однако высылка в три часа без предъявления обвинений – это, как ни считай, довольно внушительно.

События 1905 г. и поведение его отца в те годы оказали, во всяком случае, немалое влияние на главного героя этого повествования. Соломону Лурье, как мы уже знаем, было в это время четырнадцать лет. Он родился 25 декабря 1890 г. (по новому стилю – в январе 1891 г.). Через год после его рождения мать родила следующего сына, в течение первого года его воспитывала кормилица.

О маленьком Моме (так его звали в детстве и так продолжали звать все родные и друзья детства) сохранился только такой рассказ: мальчик слонялся по комнатам и рисовал на обоях, хотя это было ему запрещено. Считая, что давность преступления смягчит

¹¹ 23 ноября проездом из ссылки в Могилев он был в Петербурге и присутствовал на заседании Союза для достижения полноправия еврейского народа в России (Восход. 1905. № 7–48. С. 27).

вину, он заявил, что сделал это вчера, но перепутал «вчера» и «завтра»: «Мома г'исовал все птицы на стенах завтг'а утг'ам» (в детстве он картавил и отучился от этого только в Петербурге).

В последующие годы он, впрочем, не мог пожаловаться на невнимание родителей – скорее наоборот. Я. А., как мы уже отмечали, много занимался воспитанием и обучением сыновей. Из разнообразных предметов, которыми учили мальчиков, Мома обнаруживал склонность к чтению, письму и арифметике; он более или менее сносно рисовал, но не имел способностей к ручному труду и технике. В этом, как и в физическом развитии, его явно опережал второй брат (Анатолий). Нелюбовь старшего сына к физическим упражнениям и его явный страх перед ними раздражали доктора – сторонника гармонического воспитания. Желая сломить позорную трусость сына, доктор заставлял его прыгать с высокого подоконника, объясняя, как это сделать. Но, соединяя трусость с упрямством, Мома сперва отказывался прыгать, а затем, доведенный до отчаяния, прыгнул с закрытыми глазами плашмя и расшибся, крикнув отцу: «Подлец!» Наказанием был приказ прыгнуть снова. Мальчик снова прыгнул, снова упал и снова сказал: «Подлец». Такое состязание характеров ставило сына уже в детстве в оппозицию к отцу. На традиционный вопрос, кого из родителей он любит больше, Мома отвечал, что мать любит больше всего на свете (он и сам был любимцем матери), а отца больше всех на свете ненавидит.

Другим предметом столкновений были так называемые гадкие слова. Человек весьма широких взглядов, Я. А. был пуританином и охранителем во всем, что касалось полового воспитания детей и словесных «табу». «Кто научил?» – задавал он грозный, но бесполезный вопрос, когда выяснялось, что дети знают какие-то запрещенные слова или факты. Это, естественно, повышало интерес к подобным сюжетам.

Едва ли следует, однако, преувеличивать масштабы антагонизма между Я. А. и его старшим сыном. Круг интересов сына определялся больше отцом, чем матерью; от отца шли начатки мировоззрения. Уже в пяти-шестилетнем возрасте братья Мома и Толя совершили свою первую политическую демонстрацию: вечером, держась за руки, они выбежали в абсолютно пустынный Маковецкий переулок и прокричали: «Бог дурак! Царь дурак!» Республиканским духом была проникнута и первая большая поэма Момы Лурье о создании детского государства. Однако, вопреки антисиионизму и англофильству своего отца, Мома посвятил вторую часть поэмы преобразованию детского государства в республику евреев, объединенных с индусами, освободивши-

мися от английского ига (в отличие от отца, как мы видим, сын не предугадал реальной политической обстановки второй половины XX в.).

Более серьезный спор с отцом возник у Момы в десятилетнем возрасте, когда у доктора родился младший сын Иона. Оба старших сына появились на свет, когда Я. А. был слишком занят, чтобы уделять им внимание; обряд обрезания, делавший их полноценными евреями, был благодаря этому совершен без препятствий с его стороны. Но при рождении младшего сына доктор решил соблюсти верность своим атеистическим принципам и отказался от обряда. Разразился скандал (раввин вообще отказался выдать ребенку свидетельство о рождении), и один из родственников – богатый московский дядя – попытался использовать уже известные в семье диалектические способности Момы: он пообещал подарить ему золотые часы, если он убедит отца отказаться от своих кощунственных намерений. Подбодряемый родными, десятилетний полемист изложил доктору популярные среди еврейской интеллигенции доводы о полезности обрезания для будущего здоровья детей. Но Яков Анатольевич не убоился на этот раз запретной тематики. Он объяснил сыну, что все эти научные обоснования не подтверждены фактами, что они выдуманы задним числом, чтобы оправдать первобытный обряд. А обряд этот – обычное жертвоприношение (не забыто тут было и изуверское жертвоприношение Авраама), да еще с дикарской хитростью: на тебе, боже, что мне не гоже! Перед такой неодолимой логикой Мома должен был отступить; часы остались у дяди.

В одном отношении Мома, во всяком случае, не обманывал его надежд: учился он хорошо, а к математике обнаруживал даже необычные способности. При всей своей суровости, доктор, по-видимому, не был чужд родительского тщеславия: он охотно экзаменовал сына перед знакомыми, и девятилетний сын оказывался способным доказать теорему об объеме шара.

Знания эти, однако, не помогли решить практическую проблему – поступление в гимназию. Культуртрегерские планы времени Александра II не оправдались или оправдались не вполне: учились евреи обычно неплохо, но становились почему-то не верноподданными гражданами Российской империи, а либералами или, хуже того, революционерами. Со времени Александра III двери учебных заведений были для них закрыты или чуть приоткрыты. В Могилеве, где евреи составляли более половины населения, их разрешалось принимать в гимназию лишь в количестве не более 10% к общему числу гимназистов. При таких условиях во-

прос решался не геометрическими теоремами, а тем, что Я. А. называл «великой хартией вольности еврейского народа», – взяткой. Но взятку доктор давать не хотел. Оставался другой выход: как дети лица, имевшего высшее образование, сыновья доктора имели право до совершеннолетия проживать в любом месте Российской империи – в том числе и в таком, где евреев, желающих учиться в гимназии, было немного.

Выбор пал почему-то на Поланген (ныне Паланга) – маленький приморский городок Курляндской губернии. Никаких родных там не было, но в местной четырехклассной прогимназии процентная норма евреев не была заполнена, и оба брата в 1904 г. туда поступили: Анатолий в третий, а Соломон – в четвертый класс. Жили мальчики совершенно одни (в комнате, снятой у какой-то хозяйки), но воспоминания вынесли оттуда не очень мрачные. Большинство сотоварищей было в этом далеком городке старше обоих братьев – эти гимназисты не собирались учиться дальше, а после прогимназии должны были заняться ремеслами, требовавшими соответствующего образования (аптекарские ученики и др.). Полангенские ученики жили и пили по-взрослому; помощь при написании гимназических работ (оба брата оказывали ее довольно часто своим менее развитым товарищам) обязательно вознаграждалась угощением, которое нельзя было ни отвергнуть, ни передать другому: на принятом там польско-русском жаргоне этот принцип выражался словами: «зафундеванное не перефундевуется». Довольно непривычными для могилевских мальчиков были национальные отношения в Полангене. В Могилеве, где также жили люди разных национальностей, основной проблемой были все-таки взаимоотношения между христианской (русской, в которую включалась и белорусская) и еврейской частью населения:

Жыд – хам, хадзи к нам,
Карабачку гауна дам! –

эта детская песенка запомнилась Соломону Лурье на всю жизнь. В Полангене еврейство обоих братьев не имело столь важного значения. Правда, именно в Полангене Соломона избили так, что его пришлось срочно увозить для операции в соседний (немецкий) Мемель (его единственное пребывание за границей, – впрочем, теперь это советская Клайпеда). Но драка была не на национальной почве, а на вполне невинной «классовой»: компания третьеклассников напала на четырехклассника, и С. Я. потом великодушно признавался, что сам был виноват, ибо, оказавшись

один против нескольких человек и непривычный к правилам драки, он первым пустил в ход пряжку от пояса, на что его противники ответили тем же. Национальный вопрос и здесь стоял достаточно остро, но в особом аспекте. Русификация велась в Полангене за счет коренного населения – литовцев, и в коридорах прогимназии можно было увидеть почти средневековое зрелище: литовского гимназиста, несущего на спине доску: «за неумение говорить по-русски». Кроме литовцев, были и поляки, но они составляли вместе с русскими привилегированный слой – симпатии Соломона были на стороне литовцев. Из литовских учеников ему запомнился один – Таллат-Келпша (поляки именовали его Келповским, но он отвергал эту любезность, настаивая на своей литовской фамилии), впоследствии видный культурный и политический деятель Литвы.

Приближение 1905 г. ощущалось в Полангене, как и в Могилеве; еще весной гимназисты устроили забастовку, ее литовские и польские участники поклялись на католической Библии бастовать вплоть до созыва Учредительного собрания. После манифеста 17 октября (Соломона уже не было в Полангене, ибо он окончил прогимназию; там оставался на год младший брат) местному ксендзу пришлось специально разрешать их от этой клятвы.

Лиц, окончивших прогимназию, полагалось принимать в пятый класс гимназии без ограничений, и летом бурного 1905 г. Соломон вернулся в Могилев: арест и высылка отца, как мы уже знаем, застали его в родном городе. Могилевская гимназия оказалась не столь экзотичной, как полангенская; Соломон был одним из лучших учеников в своем классе, но большой пользы гимназическая наука ему не принесла. Твердым и неоспоримым было положение Момы на уроках математики – учитель ценил прежде всего умение решать «задачи», а в этом Соломон не имел равных. Классный наставник, он же преподаватель словесности, пытался насаждать официальные начала, но фанатизмом не отличался. В сочинении «Религиозные воззрения Державина, Жуковского и Пушкина» Мома написал, что Державин и Жуковский боялись смерти и верили в загробную жизнь; Пушкин же не верил, ибо думал лишь о том, что «у гробового входа младая будет жизнь играть, и равнодушная природа красую вечною сиять». Классный наставник долго и неодобрительно цокал языком, но поставил все-таки пятерку.

Материальные затруднения, особенно резко обнаруживавшиеся во время ссылки отца, побуждали сына уже в гимназические годы подрабатывать репетиторством. По-видимому, уже в юности

Мома имел педагогические способности; во всяком случае, он быстро приобрел себе в этом отношении хорошую репутацию, и учеников оказалось много.

На некоторое время педагогические успехи даже несколько отвлекли Соломона от обычных гимназических занятий – он начал пропускать уроки, и в его табеле появилось несколько четверок. Это вызвало новое столкновение с отцом. Яков Анатольевич выразил сыну возмущение: еврейскому юноше имело смысл кончать гимназию только с безупречным аттестатом и золотой медалью; иначе никаких шансов на поступление в высшее учебное заведение у него не оставалось. Сын, приобретший благодаря своей преподавательской деятельности не только собственные средства, но и самоуверенность, ответил на родительское внушение уходом из дома и письмом, начинавшимся словами: «Милостивый государь!» (склонность к подобным письмам – почти всегда нелепым – осталась у него на всю жизнь). Доктор был глубоко огорчен.

Но ссора эта, по-видимому, длилась недолго. Необходимость получения медали была понятна и сыну: большого напряжения это от него не требовало. Его табель опять заблестал пятерками; впрочем, и этого оказалось недостаточно. Количество еврейских медалистов в Российской империи неуклонно возрастало; хотя по закону их должны были принимать в университет без экзаменов, но процентную норму это не отменяло – принимали поэтому не всех медалистов, а лишь установленные 5 % евреев из общего числа абитуриентов (формально поступление зависело от времени подачи заявления, фактически, как всегда, от иных факторов). Однако существовала еще одна неожиданная возможность. После 1905 г. классическое образование в гимназии было несколько сужено за счет более необходимых предметов – обязательным оставался только латинский язык. Но греческий язык сохранялся в качестве факультативного предмета, и пятерка по нему, хотя и необязательная, учитывалась как заслуживающее внимания дополнение к аттестату зрелости. Сам Я. А. знал и любил греческий язык; способности к языкам у сына были; почему бы не изучить еще и этот предмет? Ни отец, ни сын не предвидели, что этот опыт, предпринятый, как мы видим, ради сугубо практических целей, окажет решительное влияние на судьбу Соломона Лурье. Языку его учил отец – вместо идиотской зубрежки грамматических правил он довольно быстро перешел к чтению текстов, а тексты оказывались необыкновенно интересными и в историческом и в литературном отношении. У математики, которую Соломон любил больше всех наук и которой по-прежнему

му соби́рался посвятить свою жизнь (он мечтал открыть особое «исчисление бесконечно-больших»), появилась серьезная соперница.

В 1907–1908 г. Соломону Лурье было 16–17 лет – возраст, когда в значительной степени определяется человеческий характер. Что же он представлял собой в это время? Невысокий юноша, рано отрастивший усы, которые придавали ему несколько восточный вид (в Грузии его потом принимали за своего). Он любил сладкое – какао, халву и благодаря этому уже рано обнаружил склонность к полноте (гимназические товарищи звали его «Сарданапалом» и «Хлебакой» – последнее слово производилось не от «хлеба́ть», а от «хлеб» и писалось через *ять*). Природная застенчивость сказывалась в выражении его лица – обычно напряженном и немного неестественном, как бы смущенном (так он обычно выглядит на фотографиях).

Несмотря на свои учебные и педагогические успехи (а может быть, и из-за этого), он рос довольно одиноким юношей и не имел близких друзей. С братом Толей отношения были хорошие, но настоящей дружбы все-таки не было – очень уж они были разные. Анатолий Лурья был чудесным человеком – добрым, отзывчивым, скромным («мой скромный Флерочка», – писал о нем С. Я. в одном из своих студенческих писем). Если Соломон унаследовал гуманитарные и социологические интересы своего отца, то Анатолий – его врачебную профессию (в выборе профессии также, кажется, сказались его прекрасные душевные качества – он имел способности к технике, но не хотел оставлять отца без помощника и преемника); историю он не любил, а когда Я. А., помогая сыну, пытался всерьез рассуждать о причинах исторических событий, Анатолий сердился: «Мне надо к экзамену готовиться, а он мне свои кадетские штучки рассказывает». Как и подобает братьям-погодкам, Мама и Толя часто ссорились (главной причиной этого была, по-видимому, склонность старшего брата дразнить младшего), но разделяли их не эти кратковременные ссоры, а скорее различия интересов. Единственный сверстник и земляк, с которым С. Я. сохранил связь в последующие годы, был одноклассник Анатолия – Саша (Александр Генрихович) Агроскин, к которому Анатолий относился просто плохо, а Соломон с некоторой иронией из-за его буржуйского воспитания и воззрений.

В последнем классе Мама влюбился в свою двоюродную сестру – Соню Лурье. Оба они были старшими детьми в своих семьях; дядя Исаак (Айзик) Анатольевич очень отличался от своего старшего брата Якова – он был консервативнее и прак-

тичнее его, – но оба брата были врачами, и между семьями существовала постоянная связь. При таких обстоятельствах даже крайняя робость Момы в женском обществе не представляла непреодолимого препятствия. В 1908 г., когда Соломон Лурье покинул Могилев и отправился в столицу, самым близким человеком, оставшимся в родном городе, была его двоюродная сестра.

Роль Якова Анатольевича в формировании интересов и взглядов его сына очевидна, хотя характеры их, как мы видели, были весьма различными – и это иногда приводило к столкновениям. Я. А. был, конечно, несравненно сильнее как личность – он вырос в трудных условиях, сам формировал себя, и на его отношение к миру, несомненно, оказало немалое влияние время его юности – 70-е гг. XIX в. Наиболее ясно различия между Яковом Анатольевичем и его сыном обнаруживались в их эстетических воззрениях. Поразительная широта научных интересов Я. А. почти не оставляла места для интереса к искусству. Он был совершенно лишен музыкального слуха, мало интересовался живописью (круг его интересов ограничивался передвижниками, монохромные репродукции с которых он выписывал) и, по-видимому, исповедовал писаревские взгляды на литературу. Безусловно не признавал он фантастики, а сказки считал вредным для детей чтением. В детстве Мома получил в подарок «Сказки» Вильгельма Гауфа в роскошном издании Вольфа с картинками. Не желая, чтобы у ребенка возникали мистические или антинаучные представления, Я. А. конфисковал эту книгу и передал ее какому-то другому ребенку. Легко догадаться, что Гауф стал одним из самых любимых писателей его сына; так полюбил он и сказки Гоголя. Но самым главным открытием Соломона Лурье, также совершенным еще в детстве, был, конечно, Пушкин. Начал он с «Графа Нулина», как с самого запретного сочинения, но потом систематически покупал себе все пушкинские томики – в скромных изданиях Сойкина или Павленкова.

Но эстетический бунт Соломона Лурье, так же как и другие его споры с отцом, не означал разрыва с отцовским мировоззрением.

Попробуем пока предварительно сформулировать основы этого мировоззрения.

Главным в нем было решительное отрицание какого-либо вне-научного постижения мира – любых взглядов, которые бы не основывались на эмпирических наблюдениях и логике. Известный ответ Лапласа Наполеону на его вопрос о Творце: «В этой гипотезе я не нуждаюсь!» может считаться характерным выражением такого взгляда на мир. Не привлекали Соломона Лурье

к религии и другие соображения, нередко влияющие на мировоззрение молодых людей: представления о том, что вера и «страх божий» укрепляют и охраняют человеческую нравственность (сам С. Я. называл такое мнение «верой в небесного городского»). Он имел немало случаев убедиться в том, что его отец и подобные ему вольнодумцы, не имевшие надежды на небесное воздаяние, часто были самоотверженнее и бескорыстнее, чем их религиозные сограждане иудейского и христианского вероисповедания. Писатели, которых любил Соломон Лурье, не подрывали его атеистических взглядов: уже в гимназические годы он ссылался на Пушкина, ставя под сомнение идею бессмертия души; те же взгляды он впоследствии искал и находил и у Гейне, и у античных поэтов.

Органической особенностью мировоззрения Я. А., воспринятого его сыном, была также недопустимость подчинения авторитетам: ссылки на то, что «все так думают», «люди, которые в это верили, были не глупее нас», не только не считались заслуживающими внимания, но и воспринимались как выражение пошлости и глупости (отсюда, в частности, отвращение С. Я. к «модным» воззрениям в науке и общественной жизни).

Труднее определить этические принципы Я. А., также оказавшие влияние на его сына. Прежде всего, этика его начисто была лишена традиционности и дискриминационных тенденций; совершенно чуждо ему было, во всяком случае, представление о каком-либо различии в моральных обязательствах по отношению к «своим» и «чужим». Это относилось к системе родственных отношений: когда Соломон Лурье в своем юношеском дневнике осуждал «вонючий эгоизм, где его – не я, а моя семья», то он, конечно, был в этом вполне солидарен со своим отцом.

Не допускал Я. А. различий в отношении к «своим» и «чужим» и в другом, более широком смысле – национальном. Конечно, живя в еврейской среде родного Могилева, он чаще всего был свидетелем насилия и несправедливости, которым подвергалась еврейская часть населения, и выступал, как мы видели, против таких актов несправедливости. Но наступил 1906 г., появились некоторые возможности легальной политической борьбы, и встал вопрос о том, как вести эту борьбу. Именно этому вопросу и была посвящена статья Я. А., напечатанная им в появившейся теперь в городе либеральной газете «Могилевский Голос», – «Несколько слов о союзе для достижения еврейского равноправия», единственная публицистическая статья, сохранившаяся от Я. А. Лурья. Соглашаясь, что до октября 1905 г., «при отсутствии у нас свободы агитации», союз для достижения еврейского равноправия «со-

служил свою службу, сплотивши еврейское население вокруг простого и удобопонятного для всей массы лозунга», он указывал, что в новой обстановке в таком союзе «кроется опасность, которая уже дала себя почувствовать»: «Как показывает само название союза, он отделяет интересы евреев от интересов всего населения и, останавливаясь исключительно на еврейском вопросе, противопоставляет его программам и партиям, охватывающим интересы всего населения». Он вспоминал о случаях, когда в ходе предвыборной кампании в первую Думу «Союз для достижения равноправия», стремясь во что бы то ни стало «проводить исключительно еврейских выборщиков и кандидатов в члены Думы и притом истинно еврейских, т. е. ярко националистических», на деле помогал правым одержать победу. Но главное, что доктор решительно отвергал в «Союзе», – это было его «внутреннее эзотерическое учение» (т. е. учение, предназначенное только для посвященных), основанное на убеждении, «что все ополчаются против евреев, что евреи никому не должны верить и что еврейский вопрос составляет альфу и омегу еврейской жизни».¹²

Прошло несколько лет и во взглядах на национальный вопрос Я. А. Лурья и его сына обнаружили некоторые различия, но и С. Я. Лурье никогда не противопоставлял еврейского вопроса борьбе за демократию и не делал из своих воззрений «внутреннего эзотерического учения», предназначенного только для «своих» («между нами, евреями, говоря...»).

Не возникало серьезных противоречий между отцом и сыном и в политических вопросах. Если у Я. А. после манифеста 17 октября и появились какие-то надежды на мирное установление парламентаризма в России (он был избран в состав выборщиков в 1-ю и 2-ю Думы от Могилева), то вскоре он должен был от них отказаться. Уже выборы в 1-ю и 2-ю Думу были основаны на весьма мало демократичной системе курий с неравным и многостепенным голосованием, но даже и таким образом избранная Дума не удовлетворяла правительство – большинство в ней составляли представители оппозиционных партий, претендовавших на реальное участие в управлении страной. Дважды потерпев поражение на выборах, власть пошла в 1907 г. на «третьеиюньский переворот», изменивший избирательную систему так, что выборы совсем перестали отражать волю населения. С осени 1907 г. в Таврическом дворце заседала Третья Ду-

¹² Могилевский Голос. 1906. № 8. 13 апр.

ма с правоокабристским большинством и сильно поправевшими кадетами (Яков Анатольевич вышел из этой партии несколько лет спустя, когда кадеты вступили в блок с октябристами и заменили требование национального равноправия расплывчатой формулой «становления на путь» отмены национальных ограничений). «Русский парламент» оказался совершенно бессильным и бесцветным собранием:

Середина мая и деревья голы,
Словно Третья Дума делала весну... –

писал Саша Черный, которого Соломон Лурье любил и читал в те годы.

Политическая реакция, как всегда в России, имела достаточно ясно выраженную националистическую окраску. «Созданная для укрепления Государства Российского, Государственная Дума должна быть русской по духу», – говорилось в манифесте 3 июня 1907 г. Черносотенные элементы в Могилеве вновь обрели былую уверенность: благодаря новому избирательному закону, город, большинство населения которого составляли евреи, был представлен в Думе исключительно правыми депутатами (отстаивавшими, в частности, сохранение еврейских ограничений). Призрак погрома в городе никогда не исчезал – об этом свидетельствуют даже «Губернские Ведомости», где в 1906–1908 гг. помещались не раз успокоительные заверения в связи с периодическими слухами о готовящихся погромах (цену таким успокоениям могилевцы узнали еще в 1904-м).

Впечатления этих лет, несомненно, оказали влияние на Соломона Лурье. С сентября 1904 г. он должен был находиться в Полангене, но в октябре приезжал в Могилев, оказался здесь как раз в дни погрома и даже ходил вместе с матерью на квартиру своего дяди (и будущего тестя) Исаака Анатольевича, ибо там не было взрослых мужчин (дядя был на войне) и опасность была особенно велика. Во всяком случае, тема эта волновала его всегда: он даже вспоминал потом, что не любит ходить по мосту, если позади него идет не еврей (ситуация в Ленинграде, естественно, довольно обычная). Вероятно, этот жизненный опыт в какой-то степени отличался от опыта многих его современников. Важнейшим впечатлением его ровесника Михаила Булгакова, отразившимся во многих сочинениях, было истязание и убийство петлюровцами еврея во время гражданской войны. Это был страшный сон Булгакова, но рядом с ним возникал иной, счастливый – поездка на рысаке в рождественские дни, теплая квартира, «блестящий пышный год» перед войной. Так же вспоминали дореволюционное прошлое и другие

русские интеллигенты – Ахматова, Цветаева; и даже Саша Черный писал в эмиграции:

И встает бывшее светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...

Однако Булгаков мог видеть окровавленного еврея не только в 1918 г. В 1905-м, когда он был пятнадцатилетним юношей, в Киеве происходил чудовишный погром со множеством жертв, а в блестящие предвоенные годы там же шел процесс Бейлиса, и огромная черная толпа, стоявшая у Святой Софии, ждала обвинительного приговора, чтобы начать избиение. Но будущий писатель этого не замечал и не знал.

Не стоит упрекать за это Михаила Булгакова. Человек видит то, на что он смотрит, и в последующие годы, когда Булгаков писал «Мастера и Маргариту», многие интеллигенты – и русские и еврейские – упорно не замечали того, о чем он рассказывал. Но Солломон Лурье это видел: на булгаковскую «Дьяволиаду» он смотрел теми же глазами, что и писатель. При всей своей рассеянности и почти легендарной невнимательности к людям, С. Я. никогда не закрывал глаза на то страшное, что его окружало. Однако даже в самые тяжелые годы жизни он не вспоминал о времени своей юности как о «светлом рае». В прошлом и настоящем его поражало не различие, а, напротив, сходство.

ПЕТЕРБУРГ

В августе 1908 г. С. Я. приехал в Петербург, чтобы держать вступительные экзамены в Технологический институт. Золотая медаль давала ему право поступления в Университет без экзаменов, но на Технологический институт это право не распространялось.

Почему в Технологический институт? Здесь с самого начала в его поведении наблюдалась какая-то нелогичность, и объяснялась она все той же знакомой причиной – еврейскими ограничениями. Соломон имел явные способности к теоретическим наукам – и прежде всего к математике; в последние гимназические годы у него возник интерес к истории и филологии. Но дальнейшие занятия этими науками были бесполезны: еврей в России мог заниматься только такими профессиями, которые не были связаны с государственной службой; он мог быть врачом или инженером, работающим в частных предприятиях. Ни к той, ни к другой профессии ни малейшего призвания С. Я. не имел и подавал бумаги в Технологический институт без желания туда поступить. Возможно, что это сказалось на результатах экзаменов.

Существовавшая в те времена официальная процентная норма для поступления евреев в высшие учебные заведения имела одну, если не положительную, то, во всяком случае, относительно удобную сторону. Количество евреев, которые могли быть приняты, объявлялось заранее; для них, естественно, требовались более высокие оценки и конкурс был значительно более трудным, чем для остальных. Однако в пределах этого конкурса никакого обмана уже не требовалось, и профессора (если они не были рьяными антисемитами, что встречалось не так уж часто) принимали экзамены, исходя из обнаруженных абитуриентами знаний, нисколько не поступаясь своей научной совестью.

Профессора Технологического института, экзаменовавшие его, произвели на С. Я. очаровательное впечатление: «Прежде всего я должен тебе сообщить, что профессора все божественного происхождения. Они – безусловно, ангелы, сосланные на землю за неумение пользоваться небесными логарифмическими таблицами». – писал Соломон своей двоюродной сестре (все письма, которые будут пересказываться или цитироваться далее – тоже ей). На

устном экзамене ответ в одной из задач получился неправильным (потом оказалось, что ошибка была в условии, но это выяснилось после экзамена). Тем не менее, «лысый ангел», экзаменовавший его (проф. Коялович), поставил 5, ибо «он как профессор математики не обращает внимания на мелочи и смотрит только на знания». И все-таки Соломон этих экзаменов не выдержал. Он получил 3 по русскому сочинению. Как это случилось – осталось непонятным: обладая зрительной памятью, он никогда не делал ошибок не только в русской, но и в любой орфографии известного ему языка. Сказалось ли здесь подсознательное нежелание попасть в немилый его сердцу институт? Или наряду с ангелами, не имевшими никакого касательства к грязному делу дискриминации, нашелся и среди экзаменаторов какой-то ее идейный приверженец? Это осталось неизвестным: назад свое сочинение он не получил и подал бумаги в Университет на конкурс аттестатов.

Однако и с Университетом все было неясно. Ходили слухи, что в 1908 г. евреев (даже медалистов) принимать в Университет вообще не будут, так как в предыдущие либеральные годы их приняли слишком много, и для соблюдения процентной нормы (5%) процент будут исчислять не от количества поступающих на первый курс, а от общего числа на всех курсах (всем 63 евреям, принятым было в Московский Университет, велено было забрать свои документы). Пока решался этот вопрос, возник даже план поездки в Париж для обучения (к этому плану мы еще вернемся).

Но все кончилось неожиданно благополучно: в Петербурге полного запрета на прием евреев не установили, и Соломон Лурье с его золотой медалью и дополнительной пятеркой в аттестате был принят в Университет (кстати, фамилия «Лурье» появилась впервые в его университетском матрикуле: в Петербурге эта транскрипция считалась более правильной). Получилось довольно забавно: абитуриент, не сумевший написать достаточно удовлетворительного сочинения на экзаменах в Технологический институт, стал студентом историко-филологического факультета. Почему он не подал на математический факультет? Очевидно, потому, что в практическом смысле и тот и другой факультет был одинаково бесполезным, а самого его уже больше привлекала классическая (античная) филология. Математика, писал он в одном из первых петербургских писем, – «это действительно занимательная штука, но это не наука, а только замысловатая и очень интересная игра: наполнить человека с душой она не может».

Каковы были первые петербургские впечатления? В зрелом возрасте он любил перемену мест; еще гимназистом увлекался железнодорожными расписаниями и мог на память назвать все необ-

ходимые пересадки при любом путешествии по Российской империи (это называлось «шмендеферологией» – от французского «шмен де фер»). Большой город с далекими окраинами и сложными трамвайными и коночными маршрутами казался ему интересным; он много и охотно менял свои петербургские адреса – при обилии сдаваемых комнат и относительной их дешевизне это было легко делать. Но все-таки он был провинциалом, и его юношеские впечатления от Петербурга не соответствовали современным, да и тогдашним столичным вкусам. Из петербургской архитектуры он упоминал в письмах только дом Зингера на Невском и строящееся здание Азовско-Донского банка на Морской.

Несколько провинциальными были и первые студенческие впечатления. Историю античной литературы в Университете читал Ф. Ф. Зелинский – читал блестяще, декламируя греческих и латинских поэтов, но скептические столичные студенты относились к нему иронически: они утверждали, что Зелинский свои лекции репетирует перед зеркалом и каждый год пускает слезу в одних и тех же местах. Привыкший выносить свои суждения самостоятельно, Соломон Лурье, однако, сразу же разошелся с этой оценкой: «...я теперь не только не раскаиваюсь, что записался к нему, но вообще единственно прекрасное, что есть в Петербурге – это Зелинский... – писал он. – ...Быть когда-нибудь Зелинским – это, кажется, самое лучшее, что можно пожелать...»

Но эта провинциальность имела и другую сторону.

Соломон Лурье приехал в Петербург в те годы, когда окончательно определилась неудача революции 1905 г. и наступила реакция. По подсчетам современников, за четыре послереволюционных года в России было казнено 2,5 тысячи человек – в пять раз больше, чем за все сорок лет после судебной реформы (1864 – 1904 гг.).

Сейчас, семьдесят лет спустя, времена эти воспринимаются иначе. Что значат 2,5 тысячи рядом с жертвами последующих десятилетий? Язык сохранил крылатые слова Родичева о «столыпинских галстуках» и привычное название тюремных вагонов – «столыпинские», но в наше время это выражение вспоминают главным образом для того, чтобы отметить их несправедливость и гиперболичность. Вагоны, говорят, предназначались Столыпиным не для арестантов, но для крестьян-переселенцев, а слова о «столыпинских галстуках» Родичев взял назад, когда Столыпин вызвал его на дуэль. Логика довольно странная. Массовые казни, о которых писали Толстой в статье «Не могу молчать!» и Короленко в «Бытовом явлении», не перестают быть реальным фактом русской истории, даже если у Родичева не оказалось способностей дуэлянта.

Любой исследователь, имеющий дело с динамическими процессами и со статистикой, знает, что резкое изменение темпов роста часто характернее абсолютных цифр. Именно в первые десятилетия XX в. начался стремительный рост русской промышленности и появились первые черты русской «Новой Америки». Не следует ли считать и резкий скачок в темпах человекоубийства (казни, погромы и др.) одной из сторон того же процесса – индустриализации в условиях автократии?

Кажется, в 1962 г., когда С. Я. жил на даче в Тарусе, он познакомился с Н. Я. Мандельштам. После нескольких минут разговора с ним Н. Я. внезапно сказала: «Вы – поклонник Маяковского!» И попала пальцем в небо. Свидетель «серебряного века» русской поэзии (он и понятия не имел, что эти десятилетия будут именоваться «веком», да еще и «серебряным»), С. Я. очень плохо знал современную ему поэзию и ее разнообразных представителей – символистов, акмеистов и футуристов – по-провинциальному объединял под именем «декадентов». Любил он только упомянутого Сашу Черного, читал Н. Минского, Ф. Сологуба, в Петербурге оценил И. Анненского и Вяч. Иванова – но не как оригинальных поэтов, а как переводчиков античных авторов.

И все же замечание о Маяковском, видимо, имело какие-то основания. Б. Пастернак писал в автобиографических заметках: «Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. Иногда в период упадка главных центров глухие углы спасала задержавшаяся в них благодетельная старина. Так в царство танго и скейтинг-рингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустье еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным».¹

Как и сын кавказского лесничего, сын могилевского врача привез в столицу идеалы и надежды недавней революции, и отречение интеллигенции от этих идеалов он воспринимал как ренегатство. Высказаться об интеллигентских воззрениях того времени С. Я. Лурье получил возможность уже в 1916 г. в газетной рецензии на русский перевод Еврипида. «Гений Еврипида, – писал он, – родственен не только душе И. Ф. Анненского, но и вообще преобладающему духовному складу русского общества. Повышенная, несколько истерическая восприимчивость; “надрыв”, колебания между рационалистическим атеизмом и мистической верой в чудо, в освященные веками нелепости; борьба с общепринятыми религиозными верованиями наряду с любовью к исконной обрядности; переход от культа гордого “онтологического” самосознания

¹ Пастернак Б. Люди и положения // Новый мир. 1967. № 1. С. 228.

и веры в величие индивидуальной души к преклонению перед соборностью и традиционным укладом, перед “нищими духом”; культ “чистоты крови” наряду с восхвалением крайних демократических доктрин – не создают ли эти противоположности особый дух близости между Еврипидом и русской интеллигенцией?»² Но еще раньше (вероятно, в 1909 г.) он признавался в письме: «...я бы ни за что не хотел искать содержания жизни... в эгоистическом копании в самом себе, хотя я и очень хотел бы стать лучше, честнее. Мне кажется, что единственное, что действительно могло бы заполнить мою душу, – это партийная работа, но... во-первых, теперь ужасно тяжелое время, а во-вторых, я не знаю, как подступиться...»

Время действительно было чрезвычайно неблагоприятное для любой политической и общественной деятельности. Некоторое оживление общественной жизни С. Я. ощутил в конце 1910 г. (траурная демонстрация в память Льва Толстого), однако реакция оказалась достаточно сильной. В феврале 1911 г. была отменена установленная в 1905 г. университетская автономия. В знак протеста студенты объявили всеобщую забастовку. В свою очередь, власти ответили арестами студентов и введением полиции в Университет. «В Университете дела вот как обстоят, – писал С. Я., – в коридоре больше 100 человек городских с винтовками и околоточные: они в верхней одежде и в шапках, наносят снег своими сапогами. Студентов в коридоре масса. То здесь, то там разольют нестерпимо вонючую жидкость; арестуют всякого, кто подвернется под руку, по обвинениям в “содействии обструкции” или в “грубых ответах полиции”. Возражающих бьют. Арестуют также за шиканье читающим лекции профессорам, за срывание лекций и т. п. Всего арестовано за вчерашний день 410 человек. Лекции охраняются у входа городовыми. Вход в Университет только через главный вход и по предъявлениям матрикула. Читают только очень немногие профессора при очень малом количестве слушателей (человек в среднем по 10), классические лекции идут в полном порядке и при почти полном комплекте слушателей, но, конечно, я на них не хожу. Сегодня произошел такой случай: на лекцию Петражицкого стало стекаться сравнительно большое количество слушателей – человек 30–40. Обыкновенно у него бывает тысяча слушателей, и для него 30–40 человек – это совсем небольшое число. Но полиция этого знать не могла, и такое большое число слушателей ей показа-

² Сохранилась в архиве С. Я. Лурье как газетная вырезка без даты и наименования газеты (цит. по: *Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.; Л., 1929. С. 212–213.*)

лось подозрительным: не хотят ли гг. студенты устроить сходку? И вот полиция стала требовать у всех слушателей матрикулы: действительно ли они юристы? В это время вошел Петражицкий. Увидев полицию в аудитории, он заявил: “При таких условиях я читать не могу” – и ушел. Таким образом, полиция сорвала единственную многолюдную лекцию».

Но результаты этой забастовки были мало ободряющими. Добиться восстановления университетской автономии не удалось, и забастовка даже не была отменена, а как-то постепенно прекратилась. Пытаясь сохранить верность общественному долгу, С. Я. – единственный из классиков! – продолжал пропускать занятия, пока кто-то из профессоров не обратил его внимание на то, что бастует он почти в одиночестве, – забастовка кончилась.

Но если к политической работе подступиться было нелегко, то гораздо лучше обстояло дело с научными занятиями. Университет лишился автономии, но сохранил введенную в том же 1905 г. предметную систему, при которой студент обязан был только (в любом порядке) сдать определенный минимум научных дисциплин и пройти 3 семинария и 1 просеминарий. Он мог слушать любые лекции, которые ему были интересны, но не обязан был присутствовать ни на одной из них; он сам составлял свое расписание и определял срок пребывания в Университете. Для студента, серьезно интересующегося наукой, такая система была наиболее удобной.

Чрезвычайно высок был и научный уровень историко-филологического факультета Петербургского университета. Петербургская школа (представителями которой были, в частности, историки античности – Ф. Ф. Соколов, В. В. Латышев, С. А. Жебелёв и др.) была в первую очередь школой филологии – той науки, которая теперь именуется текстологией и источниковедением.

Из университетских лекторов наибольшее впечатление на Соломона Лурье произвел Ф. Ф. Зелинский, но учиться он стал не у него. После первых курсов обучения он начал посещать семинар И. И. Толстого, происходивший, по довольно распространенному обычаю, на дому у профессора («У Толстого заниматься очень весело – он угощает чаем с вкусными кренделями», – писал С. Я.), а затем был допущен к занятиям у учителя самого И. И. Толстого – С. А. Жебелёва.

И. И. Толстой и С. А. Жебелёв были очень разными людьми. Молодой аристократ, сын либерального петербургского городского головы, занимавшего в 1905 – 1906 гг. пост министра просвещения (именно при И. И. Толстом-старшем была нарушена процентная норма в университетах), Иван Иванович Толстой-младший был образцом прекрасно воспитанного человека, а его вежливость

даже в дореволюционное время казалась чрезвычайной. А. Н. Егунов, учившийся у И. И. Толстого несколько позже, излагал стиль разговора И. И. примерно так: «Сегодня прекрасная погода. А Вы как полагаете?»

Сергей Александрович Жебелёв, напротив, был резок и даже грубоват, но его независимость и пренебрежение к позе и моде по-своему импонировали Соломону Лурье и даже напоминали ему отца. «Профессор Жебелёв, папиного типа, в очках, небрежно одетый, сидит как-то бочком, положив ногу на ногу так, что одна подошва упирается в сиденье стула», – описывал он в письме первые впечатления о Жебелёве.

Но при всех различиях их характеров, принципы, которые исповедовали и старались внушить молодым классикам С. А. Жебелёв и И. И. Толстой, были сходны. Это были принципы петербургской исторической школы. Вот что написал И. И. Толстой на первом самостоятельном сочинении С. Я.: «Из Вашей работы я вынес очень благоприятное впечатление. Вы показали, что работать можете и в общем стоите, так сказать, “на правильном пути”. Этот “правильный путь” я усматриваю в том, что Вы, по возможности, стараетесь восходить к первоисточникам и понимаете ценность “документа”. Заметил я у Вас и склонность к обобщениям. Это очень ценное качество, но следует быть осторожным: обобщение ценно только тогда, когда оно вытекает из фактов. Поэтому лучше не торопиться с выводами, а изучать возможно полнее совокупность фактов: не искать в них подтверждения своей мысли, а приходиться к выводу после спокойного и беспристрастного анализа фактов...»

Было бы очень интересно проследить, как постепенно формировались в С. Я. Лурье черты историка. В дальнейшем изложении мы будем обращаться, главным образом, к основным идеям его работ, к их связям с более широкими проблемами общественной мысли. Интерес к таким проблемам, воспитанный в нем отцом, несомненно, ощущался уже с самого начала его научных занятий – этот интерес в значительной степени предохранял его от сугубого эмпиризма, внушаемого Жебелёвым («он звезд с неба не хватает» – это был в устах Жебелёва лучший комплимент ученому). Вопреки советам И. И. Толстого, он нередко искал в источниках подтверждения мысли, уже довольно рано возникавшей в его представлениях. Но будет жаль, если читатель сделает отсюда вывод, что синтез для него был важнее анализа, что он приспособлял материал источников к предвзятым идеям. Предварительная гипотеза никогда не заменяла С. Я. Лурье доказательства на источниках. Существование сложившейся историографической традиции

не только не подталкивало его мысль в заданном направлении (что бывает нередко), а скорее усиливало желание проверить и пересмотреть ее по источникам.

И вместе с тем источник не уводил С. Я. Лурье от интересовавших его вопросов современности, а, напротив, возвращал его к ним – несколько неожиданным образом. Первая его работа была посвящена надписи из беотийского городка Херонеи, в которой упоминался дом, полученный рабом-вольнотпущенником под залог. Это упоминание представлялось исследователям непонятным в контексте надписи, и они прибегали к конъектурам (исправлениям текста). С. Я. Лурье показал, что несообразности надписи будут устранены, если предположить, что упоминаемая в ней «отдача под залог» дома была в самом деле замаскированной покупкой: не только раб, но и вольнотпущенник – метэк не мог владеть в Греции недвижимым имуществом.³ Это объяснение (к которому Соломон Лурье пришел, посоветовавшись со своим отцом) было найдено молодым ученым благодаря тому, что подобная юридическая фикция – покупка под видом получения в залог – была хорошо знакома ему из быта черты оседлости, где владение недвижимой собственностью постоянно затруднялось его единоплеменникам.

Занятие беотийскими надписями было частью большой работы, предложенной С. А. Жебелёвым его ученику. Темой ее был Беотийский союз – политическое объединение, возникшее в Греции в IV–III вв. до н. э. Монография «Беотийский союз» представляла собой так называемое медальное сочинение (ежегодно в университете студентам присуждались золотые и серебряные медали за конкурсные научные работы на заданные темы). В 1913 г. за работу «Беотийский союз» Соломону Лурье была присуждена золотая медаль. В отзыве на эту работу официальный рецензент (кажется, им был М. И. Ростовцев) писал: «Точная и ясная постановка темы – первое основное достоинство рассматриваемого сочинения. Другое его существенное достоинство заключается в том, что вся работа автора построена на самом внимательном и вдумчивом изучении источников... Источниками для нее послужили прежде всего документальные данные, беотийские надписи... Автор доказал свое умение оперировать с надписями: он не снимает с них одни только сливки, он вдумывается в каждую фразу надписи... пробует даже восстановить фрагменты, и проба его в одном случае оказалась настолько удачной, что предложенные автором восстановления совпали с восстановлениями одного из корифеев грече-

³ Лурье С. Я. Херонейская надпись IG. VII. 3376 // ЖМНП. 1913. № 12. С. 514–522.

ской эпиграфики Ад. Вильгельма (статья последнего появилась уже после того, как предложено было восстановление надписи нашим автором. – Я. Л.)... Отчетливое усвоение источников, касающихся темы, историческое чутье при толковании как их, так и трудов новых ученых, здравый смысл в сфере анализа и синтеза – все это привело к тому, что в работе нашего автора мы имеем дело с настоящим ученым трудом... Принимая все это во внимание, было бы обидно, если бы труду автора суждено было остаться только в рукописи. А еще более было бы обидно, если бы, по тем или иным причинам, автору не удалось при нормальных условиях продолжать свои занятия по истории Греции, с первым опытом которых он выступил так успешно».⁴

Замечание о «тех или иных причинах» в отзыве не было случайным. Оно касалось основной проблемы, возникшей сразу же после того, как определились научные склонности и успехи Соломона Лурье. Что будет дальше? Для студента, получившего золотую медаль за сочинение, открывалась естественная возможность того, что мы сейчас называем аспирантурой, – «оставление при университете для приготовления к профессорскому званию». Формально не существовало запрета на оставление еврея при университете «для приготовления к профессорскому званию», но профессором или преподавателем университета он стать не мог. Не мог он быть и учителем гимназии. В чем же тогда был смысл обучения на историко-филологическом факультете? В первые студенческие годы можно было бы еще как-то отстранить этот вопрос, но чем дальше и чем успешнее шло овладение специальностью, тем более настоятельным становилось решение. Яков Анатольевич понимал это с самого начала. Несмотря на свои ограниченные средства, он предлагал сыну сразу же после окончания гимназии уехать за границу и учиться там.

Мысль об обучении в Париже высказывалась в письмах Соломона уже в 1908 г. Но где учиться и чему? В письмах его упоминается «École des ponts et des chaussées», французское учебное заведение типа Петербургского Путьского института. Получив инженерное образование за границей, русские евреи нередко находили затем работу в частных русских предприятиях. Но ни способностей, ни склонностей к инженерству Соломон Лурье, как мы уже писали, не обнаруживал. Предположим, он поступил бы в Сорбонну и получил бы французское гуманитарное образование (хотя это было далеко не просто при пассивном по преимуществу

⁴ Протоколы заседаний Совета Императорского Петербургского Университета за 1913 г. Пг., 1915. № 69. С. 33–35.

знании языка). И в этом случае дальнейшая работа в России оставалась для него невозможной. Остаться за границей навсегда? Кажется, он обдумывал и этот вариант. Но возникали многие препятствия: родным его языком был русский, в России жили все его родные и близкие и, что было самым главным, здесь жила его жена – Соня. На эмиграцию и разлуку с родителями она не пошла бы, а уехать без жены и, следовательно, расстаться с нею надолго или даже навсегда он не мог.

А между тем существовал путь, который сразу же открывал возможность жить в России и работать по специальности. Дискриминация евреев до революции была не расовой, а конфессиональной. Избавиться от нее было довольно просто – нужно было креститься.

Как и его отец, Соломон Лурье был атеистом: еврейская религия была ему так же чужда, как и христианская. И тем не менее он мучительно колебался. Якова Анатольевича эта нерешительность и нелогичность сына, по-видимому, раздражала. Сам он не стал креститься для того, чтобы стать ученым-биологом, и предпочел профессию врача, но для сына единственной альтернативой эмиграции считал крещение. Соломону Лурье решение этого вопроса не казалось столь простым. Об этом свидетельствуют, в частности, некоторые его письма тех лет. В одном и том же письме он приво-дил мнение своего двоюродного брата, что не существует «абсолютно никакой разницы между крещением и даванием взятки пристава, проживанием под чужим паспортом и т. д.», и тут же писал, что «крещение, во всяком случае, если не подлость, то гнуснейший из компромиссов».

Почему же «гнуснейший из компромиссов»? Ведь и в самом деле, этот чисто формальный, с точки зрения атеиста, не связанный с убеждениями акт ничем принципиально не отличался от тех обходов закона, которые евреи, жившие в Российской империи, вынуждены были совершать постоянно, давая взятки («великая хартия вольностей еврейского народа») или проживая без «правожительства» в закрытых для них городах. И только ли евреи? А в последующие годы российские граждане без различия национальностей стали прибегать ежедневно и ежечасно к куда более значительным компромиссам. И хотя крестившийся еврей своим поступком никому лично не приносил зла, все-таки он чувствовал себя дезертиром, ушедшим от тех, кому теперь было труднее, чем ему.

В 1913 г. Соломон Лурье был оставлен при Университете; в 1914–1915 гг. были опубликованы его книга «Беотийский союз» и ряд статей, написанных одновременно с нею. Однако работа над

магистерской диссертацией шла совсем не так успешно, как можно было ожидать, судя по началу. Диссертация его должна была быть посвящена проблемам античного права, но тема эта мало его увлекала.

Несомненно, однако, что не неудачность выбранной темы была главной причиной его смятенного состояния. Главным был душевный кризис – и кризис этот был связан все с тем же еврейским вопросом. Крестившись, еврей официально переставал быть евреем. Эту особенность национальной дискриминации царского времени охотно вспоминают сейчас люди, склонные к идеализации прошлого. Но, прежде всего, русские христиане совсем неохотно и далеко не радушно принимали в свою среду выкрестов, о чем свидетельствует поговорка, которую в чеховском «Иванове» добрейший старик Шабельский говорит несчастной Сарре: «Жид крещеный, конь леченый, вор прощенный – одна цена». А главное – не всегда евреи, вынужденные пойти на этот шаг, испытывали большую радость от включения в число приемышей или пасынков великого народа.

Соломон Лурье был принят в среду петербургских классических филологов, и, несомненно, наиболее любезные из его коллег не раз демонстрировали, что он совсем-совсем свой в этой среде. Именно тогда возникли, очевидно, стихи, о которых мы упоминали:

...Но зачем вам быть евреем?
Быть евреем – и публично
Это очень неприлично...

Но он всегда поступал неприлично, всегда обращал внимание на то, на что ему совсем не нужно было смотреть. Петербургские арийцы были, вероятно, вежливее могилевских, но они были еще более чужими.

Антисемитизм и шовинизм вообще постоянно бросались ему в глаза. Вот рассказ в одном из его писем о поездке из Могилева в Петербург:

«Ехал с нами в одном отделении китаец с женой и ребенком. Сперва его не трогали, но затем в Новоскольниковых села компания рабочих и начала всячески издеваться над ним: его передразнивали, толкали и т. д. Затем один из рабочих начал курить и пускать дым в лицо китайцу. Бедный китаец закашлялся (очевидно, он был больной) и выхаркнул на пол. Рабочий заявил, что если он еще раз плюнет в *русском* вагоне, то он побьет его. После этого рабочий опять пустил дым в лицо китайцу, тот закашлял и хоть и хотел проглотить мокроту, но не мог и сплюнул. Тогда рабочий ударил китаец по лицу. Тут я не мог удержаться и заявил рабочему, что если

он не перестанет приставать к пассажиру, я пожалуюсь кондуктору. К моему удивлению, мой протест вызвал возмущение всех пассажиров. Кричали, что в русском вагоне китаец позволяет себе лежать, когда русские стоят, да еще позволяет себе плевать на русского, а тот должен молчать, что китайца следовало схватить за ноги и выкинуть и т. п. А я-то кто? Конечно, не русский. Русский бы этого не сказал. Я сказал, что я еврей. Вот, вот, раздались голова, у нас в России все так: все места занимают китайцы, евреи, немцы, они лежат, а русский стой. Да еще они командуют и плюют на русских, а русские должны молчать. Недаром русских за границей называют дураками...»

Конечно, в академической среде все это выглядело иначе, однако ощущалось наверняка. Даже близкий товарищ С. Я. по Университету Петр Викторович Ернштедт, милый чудак, почти жюльверновский тип ученого, живущего в мире своих научных интересов, однажды сказал С. Я., желая, видимо, его утешить, что он понимает, что не все евреи такие злодеи, как Бейлис.

Дело Бейлиса, усиление антисемитизма в годы войны – все это вновь и вновь возвращало Соломона Лурье к проблеме, всегда занимавшей важнейшее место в его восприятии мира. Тема эта получила отражение и в несколько сентиментальной песне, сочиненной им, по-видимому, в те же годы:

Из страны, страны далекой,
Из конца земли в конец
Ходит странник одинокий,
Всюду чуждый и пришлец.

Ах, как долог этот путь,
Дайте нам уж отдохнуть,
Дайте нам уж отдохнуть...

Но чуть шаг он замедляет,
Собираясь отдыхать,
Злые люди прогоняют,
И бедняк идет опять.

Ах, как долог этот путь...

Эта проблема интересовала его несравненно больше, чем древности античного права. Что такое антисемитизм, и почему он возник? Он был историком Греции, а не востоковедом, но и история антисемитизма в значительной степени начиналась с античности – со времени встречи еврейства с греческим и римским миром. Именно этим он и решил заниматься. Несколько лет спустя

в предисловии к своей книге он так писал об обстоятельствах ее возникновения: «Настоящая работа была задумана в 1914–1915 гг., когда русское еврейство больше всего страдало от общественно-го антисемитизма, обострившегося вследствие новых наветов о роли евреев в европейской войне. Всякого мыслящего и чувствующего человека должен был заинтересовать вопрос о причинах этого исторического явления, крайне важного хотя бы уже вследствие своей многовековой давности. Для автора этой работы уже тогда было несомненно, что причина антисемитизма лежит в самих евреях, – иными словами, что антисемитизм – явление не случайное, что он коренится в разнице между всем духовным обликом еврея и не еврея». Далее он специально останавливался на роли своего отца в написании книги: «Работа обещала очень много, так как вместе со мной за работу взялся мой покойный отец, лучше меня научно вооруженный для нее и стоявший на диаметрально-противоположной точке зрения: ...еврейство существует потому, что существует случайно появившийся в мир антисемитизм, и будет существовать только пока он существует. Возможность обмениваться мыслями по каждому отдельному вопросу с человеком, стоящим на столь противоположной точке зрения, давала право надеяться, что работа выйдет вполне серьезной и обоснованной».⁵

Этот обмен мыслями, к счастью, частично сохранился: до нас дошло семь писем Я. А. и одно ответное письмо С. Я., посвященные подготавливаемой работе об античном антисемитизме;⁶ лучше владея древнееврейским материалом, чем его сын, Я. А. давал в них систематический конспект относящихся к теме известий Библии и Талмуда, своего рода «ключ» к этим текстам. Гораздо полнее, чем приведенное предисловие, отражали эти письма и разногласия между отцом и сыном. Они заключались вовсе не в том, что Я. А. считал антисемитизм «случайностью» или склонен был преуменьшать его значение в еврейской истории: «Пусть травля евреев всегда была дика и нелепа, факт тот, что они всегда действовали на других, как красный цвет на быка, и что там, где существует и усиливается антисемитизм, там растет еврейский национализм». Согласны были оба корреспондента и в том, что популярное в литературе XIX в. объяснение антисемитизма извечной ролью евреев, как «народа ростовщиков» (Зомбарт) и эксплуатато-

⁵ Лурье С. Антисемитизм в древнем мире. Попытки объяснения его в науке и его причины. Пг., 1922. С. 5–6.

⁶ Некоторые письма опубликованы Я. С. Лурье в сб.: *In memoriam*. М.; СПб.: Феникс, 1995. С. 211–233. — *Примеч. сост.*

ров, несостоятельно. «Эксплуатация притянута за хвост так же, как и ритуальные убийства», – писал Я. А.

Но если экономическая теория антисемитизма не давала объяснения этому явлению в целом, то в чем же тогда его основная причина? Формула «причина антисемитизма лежит в самих евреях» весьма широка и допускает весьма различные толкования; сам С. Я. в своей книге упоминал самые противоположные характеристики еврейства: одни авторы заявляли, что евреи – народ бескорыстных идеалистов и апостолов, другие – что они корыстолюбивы и кровожадны, третьи – что они иррациональны и соединяют в себе крайние противоположности, и т. д. После Первой мировой войны на смену «экономическому антисемитизму» пришел фашизм, признавший все прегрешения евреев порождением некоей дьявольской субстанции, заложенной в расовой природе еврейства. Это универсальное объяснение дало возможность свести воедино взаимоисключающие обвинения, которые выдвигались против еврейства: евреи эксплуатируют бедных и они же ведут их против богатых. Именно в таком сочетании противоположных тенденций и увидел Гитлер сущность адского «еврейского заговора» (уничтожение арийского мира с двух концов), и эту же концепцию приняли его последователи. Очевидно, что при такой постановке вопроса вообще не может быть речи о причинности в научном понимании. В своих «Размышлениях о еврейском вопросе» Ж.-П. Сартр справедливо заметил, что концепция еврейства в фашизме имеет, по существу, манихейский характер, т. е. основывается на представлении о некоем извечно существующем мировом зле, воплотившемся в определенном народе.

Соломону Лурье, конечно, такая манихейская постановка проблемы показалась бы абсурдной, независимо от того, определяла ли она еврейство, как Аримана или Ормузда – как извечное зло или извечное добро. Объяснения «духовному облику еврея» он искал в конкретной истории своего народа, в издавна начавшемся расселении его на чужбине – в диаспоре. «Диаспора и антисемитизм обуславливают уже со времен Эздры (чуть ли не, а может быть еще и раньше) основные настроения и тезисы иудаизма, а иудаизм и диаспора неизбежно влекут за собой антисемитизм», – писал Я. А. в одном из писем, и С. Я. принимал эту датировку.⁷

И отец и сын были согласны в том, что проблема еврейской «особости» начиналась с первого пленения; разногласия между

⁷ Лурье С. Антисемитизм в древнем мире. С. 115

ними начинались лишь при объяснении последующих событий. Для Я. А. Лурья проблема еврейства – это проблема народа, живущего в условиях неравноправия и нетерпимости. «Задача получается следующая, – писал Я. А., – имеется еврейская национальность в диаспоре, явление, далеко, пожалуй на две тысячи лет, опередившее свой век (явление, сделавшее евреев вечными борцами за веротерпимость – христианство, роль евреев при возникновении протестантизма)... Я ставлю вопрос: были ли действительно веротерпимыми греки и римляне? Никоем образом. Если докажем это, то выяснится источник антисемитизма». А отсюда вытекал и вывод: «Представь себе действительную полную веротерпимость по отношению не только к религиозной, но и всякой другой культурной группировке граждан, – и нет места антисемитизму, но и не будет места еврейству; еврейство – это союз самообороны».

Иначе представлял себе дальнейшую историю антисемитизма и еврейства Соломон Лурье. Соглашаясь, что «иудаизм, еврейский национализм – определенно защитного цвета» и что «в Вавилонском плену – этой колыбели еврейства – евреи уже натолкнулись на сильное недружелюбие, что в значительной степени обусловило направление их дальнейшей истории», он ставит вопрос: «Что такое возникло в евреях во время вавилонского плена, что оно вызывает недоумение и презрение во всех не-евреях?» Ответ на этот вопрос, предложенный в письме к отцу, является уже сжатой программой будущей книги: «Всякая нация, оказываясь в том положении, в каком оказались евреи в Вавилоне, исчезала в окружающей среде. Евреи не исчезли... Во имя неистребляемости своего племени они почти сознательно обрекли себя на непрекращающиеся несчастья: раствориться в окружающей среде всегда представляло непосредственную выгоду для каждого отдельного еврея... Обреченные на жизнь среди чужих, они развили в себе такие черты, которые, подвергая оскорблениям отдельного еврея, спасали еврейство как целое: безответно перенося надругательство, они шли с открытой душой к не-евреям... говорить им о своем еврействе и искать сочувствия... Еврейство, как комплекс глубоко сидевших в душе каждого религиозных и национальных представлений... ставило непроходимые преграды для действительного сближения евреев с не-евреями».

Итак, схема: «диаспора – антисемитизм – иудаизм», предложенная Я. А., получила у его сына несколько измененную форму: «диаспора – антисемитизм – еврейский характер – антисемитизм» и т. д. Это движение могло продолжаться до бесконечности, как некий *perpetuum mobile*.

Разногласия между С. Я. Лурье и его отцом заключались в том, что Я. А. вообще не склонен был считать еврейский вопрос совершенно уникальной проблемой в истории человечества и видел в антисемитизме частный случай шовинизма вообще (именно поэтому решением проблемы представлялась ему победа всеобщей терпимости). Его сын возражал против этого: «Ни шовинизм, ни нетерпимость никогда не являлись первопричиной антисемитизма, а только раздували его; твоя попытка сделать греков и римлян религиозно нетерпимыми беспочвенна: забудь только о евреях и помни, как охотно они терпели подле себя всякую другую религию», – писал С. Я. Однако эта аргументация не убедила Якова Анатольевича.

«Скажи, что греки и римляне были веротерпимы до известных узких пределов и что еврейская вера лежала далеко за этими пределами, и одно затруднение отпадет», – отвечал он.

В косвенной форме этот спор был потом продолжен и в книге. Но удалось ли С. Я. Лурье опровергнуть мнение своего первого оппонента?

В какой степени положение евреев отличалось от положения метэков вообще и еврейская психология от «обычной психологии» других метэков? Конечно, иудейский монотеизм не позволял евреям считать, что их бог побежден другими богами, и компромисс на религиозной почве представлял для них особые трудности; несомненно также, что положение евреев – народа с достаточно развитой культурной традицией – было иным, чем положение, скажем, метэков-фракийцев. Но уже в эллинистическую и римскую эпохи существовали и другие покоренные народы с древней культурой. Как воспринимали окружающий иноземный мир египтяне, если им приходилось жить не на своей земле, а в других областях эллинистической Греции и Рима, или сами греки, жившие на негреческих землях Римской державы?

Как бы ни подчеркивал С. Я. Лурье особое происхождение и специфические черты антисемитизма, явление это и для него оставалось частью общей проблемы шовинизма, «ксенофобии». Недаром уже его первая работа была посвящена метэку (но не иудею), правовое положение которого он смог понять, опираясь на живой опыт своих соплеменников; недаром и в жизни он остро ощущал связь между антисемитизмом и всеобщим шовинизмом «хозяев страны» (вспомним эпизод с китайцем).

Связь между антисемитизмом и национализмом и шовинизмом вообще достаточно ясно ощущалась и в те годы, когда была задумана книга С. Я. Лурье, – во время Первой мировой войны. Война эта явилась неожиданностью для русской левой интелли-

генции. Во время русско-японской войны позиции этой интеллигенции были почти единодушными: они считали войну преступной авантюрой царя и не разделяли казенного патриотизма. И после 1905 г. среди русской интеллигенции было распространено убеждение, что развязать войну в XX в. могут только реакционные силы и что западные демократии на это неспособны.

С. Я. Лурье часто вспоминал лекцию о вооруженном мире, с которой неоднократно выступал в предвоенные годы Павел Николаевич Милюков. Ссылаясь на английского пацифиста Н. Энджелла, Милюков доказывал, что «при настоящих условиях культуры материального расчета в войне и в завоевании быть не может». «Европейская война до такой степени противоречила бы современному состоянию взаимных европейских культурных связей и высокой сложности европейского народного хозяйства и международного обмена, что одна мысль о ней вызывает все более решительное осуждение общественного мнения передовых наций, — объяснял Милюков. — Произвол и каприз властителей, личные увлечения людей, стоящих у кормила правления, тем менее оказывают теперь влияния, тем менее оставляют места для риска случайных столкновений, чем более внешняя политика выходит из сферы кабинетных интриг и становится доступной контролю общественно-го мнения».

Началась война, и тот же Милюков, еще недавно заявлявший, что «границы между национальными государствами цивилизованной Европы достигли состояния почти полной устойчивости», заговорил о военных требованиях союзных держав — о «приобретении проливов и Константинополя», о «переустройстве Европы в естественных границах национальностей» и т. д.⁸ Милюков был не одинок. Войну, которая велась в союзе с Францией и Англией, поддержала почти вся имевшая голос общественность; выступая в Думе от имени еврейского населения, депутат Фридман заявил: «В настоящий час испытания, следуя раздавшемуся с высоты Престола призыву, мы, русские евреи, как один человек, встанем под русские знамена и положим все свои силы на отражение врага».⁹

⁸ Милюков П. Н. Вооруженный мир и ограничение вооружений. СПб., 1911. С. 81–83, 151–158. Книга Милюкова, как и его лекции, была частью деятельности русского «Общества мира», одним из организаторов которого он был, — издания Общества восходили к 1911–1913 гг. и прекратились в 1914 г. Ср.: Война и П. Н. Милюков. Речи П. Н. Милюкова в Государственной Думе. Пг., 1916. С. 12, 42.

⁹ Речь 27 июля (9 августа) 1914 г. Единственным депутатом Думы, обошедшимся без патриотических призывов, был социал-демократ меньшевик Хаустов, заявивший, что «настоящая война порождена политикой захватов, является войной, ответственность за которую несут правящие круги всех воюющих теперь стран».

В том же духе выступала и еврейская газета «Восход», печатавшая портреты евреев – георгиевских кавалеров.

В начале войны было широко распространено мнение, что царское правительство, призвавшее под свои знамена все народы страны, теперь, наконец, отменит национальные ограничения. Но уже русское наступление в Галиции сопровождалось погромами, а когда первые успехи русской армии сменились отступлением, русский национализм сразу же обернулся своей обычной стороной: черта оседлости, сократившаяся в объеме в результате немецкого наступления, незыблемо сохранялась: еврей-беженцы подвергались всевозможным издевательствам; поползли слухи о еврейском шпионаже, тайном «еврейском телеграфе» для сношения с немцами, сжигании евреями хлеба на корню, собирании золота в гробы для передачи неприятелю.

Это направление правительственной политики не удивляло Соломона Лурье. К войне он с первого же дня относился резко отрицательно; глубокое омерзение вызывала в нем и германофобия. Много лет спустя он вспоминал о широко распространявшихся антинемецких виршах, о том, как в кинематографах перед началом сеансов раздавались из зала выкрики, похожие на собачий лай: «Гимн! Гимн!», и таперы играли перед встававшей публикой «Боже, царя храни...», а затем гимны всех союзных держав, включая японский. Уже в первые месяцы наступления против Австро-Венгрии он сочинил гимн Николаю II:

О смелый витязь, ты разбил
Оковы рабства на Карпатах,
Как правый вождь, в убогих хатах
Евреев резал и душил.

Ты Палестину отберешь
У обнаглевшего султана
И там, в долине Иордана,
Черту и норму заведешь...

Не питая иллюзий по отношению к царской власти, он гораздо сильнее переживал разочарование в том «общественном мнении передовых наций», в котором недавно русская интеллигенция видела оплот мира. Европейская война и кризис европейской демократии, естественно, напоминали ему, историку античности, войну, приведшую к поражению афинской демократии, – Пелопоннесскую войну V в. до н. э.

Уже в студенческие годы он открыл для себя писателя, который в наибольшей степени соответствовал его литературным вкусам и остался его любимцем на всю жизнь, – Аристофана. Ему

был близок аристофановский юмор с каламбурами, недоговариванием особенно рискованных мест (прием «эк апросдокету», примером которого может служить известная песенка «В магазине Кнопа...»), нравился стих античной комедии, в котором ясно ощущалась музыка (он и сам всегда сочинял стихи на какой-нибудь мотивчик), фантастичность, близкая к сказке. Любовь к Аристофану помогла ему даже на экзамене у Ф. Ф. Зелинского, вызывавшем первоначально некоторые опасения: Зелинский не любил учеников Жебелёва и имел, как говорили, некоторые предубеждения против евреев. Но Соломону Лурье достался Аристофан, и он сразу же воспрянул духом: заговорил об аристофановских «темных местах», упомянул, в частности, о разных терминах для обозначения проституток у Аристофана. «Вы совершенно правы, – воскликнул Зелинский. – Но у Аристофана упоминается и еще одна категория проституток, а именно...» И оба, забыв об экзамене, погрузились в увлекательную беседу.

В военные годы Аристофан стал особенно близок Соломону Лурье из-за его пацифизма, соединявшегося в афинском комедиографе с преданностью демократическому строю.

В 1915 г. отмечался двадцатипятилетний юбилей научной деятельности С. А. Жебелёва; его ученику поручили доклад на юбилейном заседании. С. Я. Лурье избрал темой вопросы войны у Аристофана, и его выступление, как много раз впоследствии, произвело впечатление чудовищной бестактности. В разгар войны, перед исполненной патриотизма аудиторией, молодой человек весьма сомнительного происхождения рассказывал о способах уклонения от воинской повинности, описанных Аристофаном, о ненависти этого писателя к войне и военным. Сам С. А. Жебелёв, кажется, не ощущал неловкости – он совершенно не разбирался в политике. Но вместе с Жебелёвым на заседании присутствовал Михаил Иванович Ростовцев. М. И. Ростовцев был либералом и симпатизировал молодому ученому, но, как и его товарищ по кадетской партии, П. Н. Милюков, занимал сугубо патриотические позиции в войне. Он был глубоко возмущен этим докладом.

О напечатании такой работы в академическом журнале не могло быть и речи. И С. Я. Лурье обратился в единственный пацифистский журнал, выходивший (с огромными цензурными пропусками) в тогдашнем Петрограде: в «Летопись» Максима Горького. Горького как писателя он мало ценил (меньше, чем Короленко и Л. Андреева); хорошо ощущал непоэтичность его стихов. Он даже пародировал «Песню о Соколе»:

А заяц лопнул и разорвался,
Но не убился, а рассмеялся...

Но к общественной позиции Горького он относился в предреволюционные годы с полным уважением. Алексей Максимович принял его на своей квартире на Кронверкском проспекте; статья ему понравилась, но он спросил (со своим обычным оканьем): «Это, конечно, памфлет?» Несколько обиженный автор ответил, что отнюдь нет, все цитаты и факты подлинные. «Ну, хорошо, – сказал Горький, – но мы бы и памфлет напечатали».

И действительно, статья, появившаяся в июне 1916 г. в «Летописи», соответствовала всему духу журнала, хотя оставалась научной и благодаря этому цензурной. Удивительно актуальными оказывались, например, упоминания о тех аргументах, которыми оправдывалась Пелопоннесская война: «Излюбленным приемом руководителей общественного мнения была ссылка на то, что мир с реакционными спартамцами угрожает самому существованию демократии... Правительства обеих борющихся коалиций, как многократно указывал Фукидид, уверяли своих граждан, что борьба идет не только за правое дело, но также и за свободу и независимость. Несмотря на то что деморализующее влияние войны для всех было очевидно, находились досужие моралисты, уверявшие, что война порождает в душе человека высокие чувства; не было недостатка и в продажных поэтах, высоким стилем воспевавших войну».

Однако «узкий шовинизм» и «пошрое самовозвеличение» обнаруживали не только официальные круги, но, «что позорнее всего, и афинская литература. Так, Еврипид в своей “Андромахе”... ведет последовательную травлю спартанцев, не пощадив даже прославленных своей добродетелью спартанок... В этой обстановке Аристофану, чтобы выступить с принципиальным осуждением войны и с требованием мира в категорической форме – нужно было много гражданского мужества». Как и другие противники войны, Аристофан считал, что «война, в сущности, ведется не народом, а правительством и только правительством в его собственных интересах...». Правительство воспользовалось «вспышкой патриотизма для того, чтобы убедить народ, что войну затеяли и раздувают одни только спартанцы, что афиняне в положении обиженных и обороняющихся... В ответ на это Аристофан неустанно доказывал, что и афиняне и спартанцы одинаково виновны и в том, что война началась, и в том, что она не прекращается... Война не только преступна, она еще и бессмысленна, так как решительно ничего не разрешает...».

Но, совпадая с «Летописью» по своему пацифистскому духу, статья С. Я. Лурье отличалась одним свойством, вовсе не характерным для этого журнала: она была глубоко пессимистической.

Автор пытался истолковать ту мысль, которая лежит в основе повествования «объективнейшего из историков», писавшего о Пелопоннесской войне, – Фукидида: «При своем знании жизни, он слишком хорошо чувствовал, что его идеалы совершенно чужды окружавшей его действительности, и это породило ту леденящую грусть, которой овеяно все его творчество». И кончалась статья также весьма пессимистическими словами: «Было ясно, что, несмотря на общее утомление, война вспыхнет снова. В ней было что-то роковое; политические деятели терялись и опускали руки».¹⁰

Пессимистические настроения, вызванные мировой войной и кризисом европейской демократии, отразились и в большом философском стихотворении, написанном С. Я. в те годы, – кажется, единственном стихотворении, сочиненном не как песенка, эпиграмма или пародия, а «всерьез»:

Бессильные, ничтожные – мы все
Невольники рассчитанной стихии,
Гнетут наш дух законы мировые,
Мы вертимся, как белка в колесе...

Его исторический детерминизм был не гегельянско-марксистским, а скорее восходил к концепции крупнейшего историка античности Эдуарда Мейера. Концепция Мейера была циклической: он говорил о периодах подъема (V в. до н. э., Возрождение, XIX в.) и упадка в истории человечества. Эти воззрения противопоставлялись в стихотворении взглядам сторонников прогресса, утверждавших, что гибель античного мира – не пример для нашего времени:

Теперь не то; теперь у нас прогресс –
Он нас везет на поезде – экспресс
Прямехонько в эдем социализма.

Этим оптимистам автор и указывал на «нынешнюю войну» как ясный предвестник гибели новой культуры:

Спасайте вещи! Уносите прочь,
Уже опять грядет Средневековье,
Вновь наступает мировая ночь,
Тяжелое и долгое зимовье...

К общим бедам присоединилось и семейное несчастье – болезнь отца. Яков Анатольевич заразился, оперируя глаз больной,

¹⁰ Лурье С. Вопросы войны и мира 2300 лет тому назад // *Летопись. 1916.* № 6 С. 184–202.

у которой был сифилис. Вечно занятый, Я. А. забывал про антисептику; на указательном пальце у него была трещина от ляписа, он то заклеивал ее, то забывал это сделать. Некоторое время спустя после произведенной им операции он пил чай у своего брата Айзика, врача-терапевта. Брат заметил опухоль на пальце и немедленно увел его для осмотра; он же первый поставил диагноз. Когда болезнь определилась, Я. А. ездил в Москву посоветоваться с тамошними светилами. Сохранилось его письмо брату оттуда: «В сущности, когда врач обращается к знаменитостям, они являются только консультантами, а решать приходится самому. Тяжело».

Начало 1917 г. не сулило ничего доброго. С. Я. не раз вспомнил свой разговор с друзьями в феврале этого года. Кто-то из знакомых обратил внимание на то, что на заводах беспокойно, повсеместно возникают забастовки, растут очереди за хлебом и вместе с ними общее недовольство. Но Соломон Лурье был настроен оптимистически: он не ждал ни скорого окончания войны, ни революции в России.

Через несколько дней режим, просуществовавший не менее четырех столетий, выдержавший множество испытаний и казавшийся незыблемым, пал. Всю свою жизнь Соломон Лурье вспоминал ту солнечную, необычно раннюю для Петербурга весну, когда произошла революция.

Много лет спустя, в сентябре 1964 г., когда С. Я. был тяжело болен и его собирались увезти в больницу, из которой ему уже не пришлось вернуться, зашел разговор о счастливых и несчастливых днях его жизни. Самый лучший день он назвал без колебания: 27 февраля 1917 года.

РЕВОЛЮЦИЯ

Людям нашего времени трудно представить себе, чем была Февральская революция для большей части русской интеллигенции, да и для всей страны, кроме убежденных монархистов, явно немногочисленных в 1917 г. В исторических книгах о Феврале говорят как-то скороговоркой – здесь он только вступление к будущей, подлинной революции, нечто стихийное, незрелое и не вполне серьезное. Уже через несколько лет после Октября юбилей Февральской революции перестали отмечать; в последующие годы это был почти запретный праздник, признаваемый только фрондирующими интеллигентами и репрессированными эсерами и меньшевиками – в тюрьмах, лагерях и ссылках.

Уйдет во мрак печальная заря,
Уйдет этап в белеющие дали,
Как будто не было на свете Февраля,
Как будто Николая не свергали,–

написал в 1928 г. молодой социал-демократ, отправляясь из Ленинграда в ссылку.

Мало уделяя внимания тем авторам, для кого Февраль был светлым воспоминанием, в Советском Союзе охотно печатали мемуары монархистов (например, Шульгина), для которых февральские дни были днями массового сумасшествия, беспорядка, нелепой болтовни на митингах.

Ощущение какого-то сумбура, радостных толп на улицах, бесконечных речей оставалось и в воспоминаниях таких людей, как С. Я., – но для них это был прежде всего праздник, время всеобщей радости. Сняты запреты, можно говорить со всеми обо всем, и люди говорят, не боясь последствий и искренне веря, что отныне будущее зависит от них самих.

Поразительно быстрая и почти бескровная, Февральская революция уничтожила основные устои старого режима. Были открыты двери тюрем, перестали существовать полиция, охранка, жандармерия. С. Я. ходил по улицам Петрограда, видел, как горели здания полицейских участков и Окружного суда на Литейном (говорили, что их подожгли провокаторы, чтобы уничтожить списки секретных сотрудников). Вместе с полицией (ее заменила ми-

лица, организованная студентами и никому не внушающая страха) исчезла полицейская прописка; люди могли свободно ездить, куда им вздумается. Перестали существовать и еврейские ограничения, игравшие столь важную роль в судьбе С. Я. Это казалось настолько невероятным, что С. Я. в первые же дни предпринял довольно наивную попытку проверки: пошел на прием к новому градоначальнику и спросил, может ли к нему приехать сестра, не имеющая «правожителства» (фигура вполне мифическая – в действительности сестра С. Я. была студенткой и училась в Петрограде). Градоначальник развел руками: формально прежние законы еще не были отменены, но кто же ей теперь может запретить?

Уже свершившиеся перемены позволяли надеяться, что и другие проблемы, еще стоявшие перед страной, могут быть благополучно разрешены. Что будет с войной? В отношении к войне С. Я. расходился со многими из своих братьев – интеллигентов, приветствующих революцию. Для патриотически настроенных граждан революция была нужна, в частности, и даже главным образом для того, чтобы устранить негодных руководителей и помочь армии выиграть войну; С. Я. принадлежал к числу тех, кто надеялся, что революция покончит с войной. Нота Милюкова, заявившего о неизбежности русской военной программы, глубоко его разочаровала, и он был доволен, когда следовавшие за этим демонстрации протеста привели к выходу Милюкова из первого Временного правительства.

С такими настроениями весной 1917 г. С. Я. приехал в родной Могилев. Здесь тоже многое переменилось. Несмотря на свое положение губернского города, а в военные годы – ставки верховного главнокомандующего, Могилев в очень малой степени испытал те изменения, которые произошли в русской общественной жизни и печати после 1905 г. В 1906 г., как мы уже упоминали, в городе появилась левая (кадетская) газета «Могилевский Голос», редактором которой был друг Якова Анатольевича – либеральный помещик Ю. Ю. Бехли; однако в начале 1907 г. она была закрыта, и единственным, в сущности, печатным органом в городе стал правый «Могилевский Вестник». С конца апреля 1917 г. в городе появилась новая газета, под несколько громоздким названием «Могилевская газета. Свобода, равенство и братство», представлявшая собой «орган совета рабочих и солдатских депутатов и демократических групп». Редактором ее стал ветеран могилевской демократической журналистики Ю. Ю. Бехли, а членом редакции – Соломон Лурье, выступавший на страницах газеты под псевдонимом «З. Р.» (Залман Ратнер, по фамилии матери).

Политические взгляды С. Я. определились еще до революции. Уже в одном из своих ранних писем он упоминал о «партийной работе», как о деле, которым он более всего хотел бы заниматься, но замечание это не вполне ясно. Какую именно партийную работу он имел в виду? В юношеские годы в Могилеве он входил в марксистский кружок, но ортодоксальным марксистом не стал. Этому несколько неожиданным образом воспрепятствовали его материалистические взгляды. Что будет движущей силой производства при социализме, если отпадет экономическое принуждение? Эсеровская идея «энтузиазма трудящихся» (заимствованная потом их счастливыми соперниками вместе с аграрной программой) казалась ему романтической, но неубедительной. Наиболее действенным фактором коллективного производства он считал кооперацию – создание производственных и торговых объединений (естественно, вполне независимых от государства), которые были бы материально заинтересованы в результатах своего труда. Вопросами же кооперации занималась до революции прежде всего партия трудовиков, связанная с эсерами (фракция трудовиков в Думе в значительной степени представляла эсеров, до 1917 г. остававшихся нелегальной партией), но имевшая свою самостоятельную программу. На могилевском фоне С. Я. (входивший, по-видимому, в партию трудовиков еще до революции) оказывался довольно активной политической фигурой. Именно поэтому, очевидно, он и был избран в Могилевский совет рабочих депутатов – организацию довольно странную в городе, где промышленности не было и рабочий класс в основном состоял из еврейских кустарей.

Первое, с чего начал З. Р. свою журналистскую деятельность, и была защита идеи советов. «У многих трусливых обывателей при одном упоминании имени Советов рабочих и солдатских депутатов сейчас же возникает мысль о двоевластии, междоусобии и о крушении нового строя, благодаря “бестактности этих антигосударственных организаций, неизвестно по какому праву присвоивших себе право мешаться в государственные дела”. При этом совершенно упускается из виду, что и Временное Правительство – учреждение чисто революционное, со строго юридической точки зрения не имеющее права на существование; что с этой точки зрения Советы рабочих и солдатских депутатов, как учреждения представительные, хотя и выбранные по несовершенной системе, имеют больше права на государственное бытие», – писал он в № 1 газеты (от 21 апр.). Несомненные симпатии автора вызывала и пацифистская позиция Петроградского совета, провозглашенная им «программа мира без захватов и контрибуций». Автор подчеркивал, что «Совет рабочих и солдатских депутатов почти никогда

и нигде не пытался присвоить себе функции исполнительной власти, а лишь осуществлял право «представительного учреждения» оказывать давление на власть. Покинувший Петроград в апреле З. Р., по-видимому, не обратил должного внимания на напечатанные 7 числа этого месяца в газете «Правда» тезисы, где Советы объявлялись «единственной возможной формой революционного правительства» и выдвигался лозунг: «Не парламентская республика, а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху».

Советы, впрочем, привлекали С. Я. не только как временная форма народного представительства (до Учредительного собрания). Уже в ходе работы над «Античным антисемитизмом» он пришел к весьма важной для него мысли – о существовании общности между людьми и гражданских связей, выходящих за пределы государственных и областных границ. Мысль о том, что наряду с областной и национальной автономией может существовать и «автономия *персональная*», уже высказывалась в начале XX в. – в Австро-Венгрии, где чересполосица национальных групп (чехи и немцы, венгры и словаки, и т. д.) порождала планы создания представительных органов, не связанных с местом проживания. Интерес к этим планам (еще до революции) был у С. Я., очевидно, вызван размышлениями над еврейским вопросом; после февраля 1917 г. еврейский вопрос перестал казаться ему острым и актуальным. Однако интерес к персональной автономии у него сохранился. В Советах его особенно привлекало именно то, что они избирались не по территориальному, а по социально-профессиональному признаку – принцип, которого не знали другие представительные учреждения. Недостатки избирательной процедуры в Советах (открытое голосование, неравномерность представительства) могли быть устранены; сама же система персональной автономии, осуществляемой через Советы или какие-нибудь иные внутритерриториальные учреждения, казалась ему весьма заманчивой.

Именно с этой идеей он и попытался выступить на единственном партийном съезде, в котором ему довелось участвовать, – на 1-м объединительном съезде народно-социалистической и трудовой партии в конце июня 1917 г. Сущность выступления С. Я., согласно краткому газетному отчету, заключалась в предложении дополнить резолюцию по национальному вопросу пунктом «об определении прав национальных меньшинств», разграничив областную автономию и «национальное самоопределение». Он указывал, что в пределах автономных областей возникнет гнет больших наций над меньшими. В связи с этим оратор остановился и на проблеме «персональной автономии». Выступление не имело успеха:

отвечая «т. Лурье», один из вождей «энесов» (народно-социалистической партии) Мякотин заявил, что проект персональной автономии выдвигался одной только Австрией; Россия эта идея незнакома. По совету Мякотина съезд решил «никаких решений по вопросу персональной автономии не выносить».¹

Не только своеобразный подход к вопросам национальной автономии отделял С. Я. от его товарищей – энесов. Иным было и отношение к войне. После революции народные социалисты, как и большинство демократических партий, стали решительными оборонцами; «братанье» русских солдат с немецкими, возникшее в те месяцы на разных участках фронта, всегда вызывало осуждение в энесовских, как и во многих других газетах, – они усматривали в этом только коварную затею немецкого генерального штаба. Вполне допуская, что немецкое командование могло в ряде случаев использовать такие встречи солдат для своих военных целей, С. Я. все же видел в братании прежде всего проявление человеческих чувств среди всеобщего взаимного истребления – стихийное стремление людей к миру.

Не вполне обычной для его среды была и позиция С. Я. во время событий июля – августа 1917 г. Как и многие его современники, он считал выступление 3 июля в Петрограде вовсе не мирной демонстрацией, а попыткой государственного переворота, но крен вправо, наметившийся после этой неудавшейся попытки, внушал ему серьезные опасения. О настроениях после 3 июля вспоминал в своих мемуарах Эренбург, рассказывавший, как пограничный офицер, пропускавший в Россию возвращавшихся из-за границы эмигрантов царского времени, злорадно заявил им: «Опоздали! Кончилось ваше царствие. Напрасно едете...» В Могилеве – ставке верховного главнокомандующего генерала Л. Г. Корнилова – правая опасность после 3 июля ощущалась особенно сильно. Это предопределило и судьбу «Могилевской газеты»: уже 11 июля было объявлено, что она прекращается из-за «отсутствия средств» и подписчикам будет вместо нее выдаваться орган губернского земства – «Могилевская жизнь». Новая газета явно сочувствовала Корнилову и поддержала его, когда месяц спустя он потребовал установления диктатуры и выступил против Временного правительства.

Выступление Корнилова еще яснее обнаружило расхождения между старыми либеральными друзьями Якова Анатольевича и его сыном. Все они считали верховного главнокомандующего

¹ Народное слово 1917. № 16. 22 июня.

единственным возможным спасителем от большевистской опасности; С. Я., напротив, видел главное зло в самом Корнилове и его сподвижниках. У себя в ставке корниловцы не стеснялись: политика их имела не только военно-патриотический, но и откровенно монархический характер; новые судебные-следственные власти начали даже подымать дела по 103-й статье старого законодательства: об оскорблении величества. Довольно умеренный по своему политическому направлению могилевский Совет внезапно стал подпольной организацией, противостоящей Корнилову внутри ставки.

Позиция С. Я. в июле – августе 1917 г. может сегодня показаться нелепой и близорукой. Рассматривая события 1917 г. ретроспективно, мы обычно видим в них одну непрерывную линию – от Февраля к Октябрю; неизбежным последствием революции кажется ссегодняшним интеллигентам революционная диктатура. Но рассуждения *post factum* всегда отличаются обманчивой легкостью. У людей, живших в 1917 г., был свой опыт: они помнили реакцию после 1905 г., и те из них, кто сочувствовал революции, боялись прежде всего повторения знакомых им событий. К их большому облегчению мятеж окончился неудачей – армия не пошла за Корниловым, и когда, после ареста мятежного генерала, в ставку приехал А. Ф. Керенский, могилевский Совет передал ему обильный материал о монархистской деятельности корниловцев. Но материал этот уже не понадобился – надвигались новые, куда более грозные события.

Для С. Я. осень 1917 г. была не только временем напряженной политической деятельности. 13 сентября 1917 г. умер его отец. Последние дни Я. А. были невыносимо тяжелыми. Как врач, он предвидел надвигавшееся помутнение сознания и до последней возможности проверял себя – эти эксперименты превращались в настоящее самоистязание. Он диктовал дочери, посвятившей себя уходу за отцом, автобиографические и научные заметки, пытался заниматься высшей математикой, решать задачи; все это постепенно становилось невозможным. Дочь нашла у него яд, который он приготовил, чтобы избавиться от самого худшего, и убрала его – впоследствии она не раз упрекала себя за этот поступок. Перед смертью у него началось раздвоение личности – он просил убрать от него больного Якова, забывал русский язык и переходил на идиш, кричал бессмысленно-страшные слова «Гвалт араела фуй!».

В воспоминаниях М. Д. Бонч-Бруевича, царского генерала, перешедшего после Октября (не без влияния своего брата Владимира – первого управделами Совнаркома) на сторону большевиков, есть такая сцена. В сентябре 1917 г. Бонч-Бруевич приехал в став-

ку, где царило, по его словам, паническое настроение. Как-то рано утром новый главковерх Духонин срочно вызвал Бонча из гостиницы с сообщением, что толпа идет громить ставку. «Поспешно одевшись, я вышел из гостиницы и очутился в огромной толпе, захлестнувшей Театральную площадь и улицу, ведущую к ставке. Понять, в чем дело, было трудно – толпа шумела, волновалась, бурлила. Присмотревшись, я увидел, что на улицу высыпала преимущественно еврейская беднота...» Убедившись в том, что толпа шла к еврейскому кладбищу, Бонч-Бруевич поспешил успокоить Духонина, объяснив, что «это местные евреи хоронят своего раввина». Но он ошибался. Человек, на похороны которого съехалось, по воспоминаниям Бонча, «много евреев, даже из отдаленных городишек и местечек»,² не был раввином. Он был убежденным атеистом, и у него не было даже талеса – предмета, без которого нельзя совершить погребение на еврейском кладбище. Талес для похорон доктора Лурья был великодушно подарен Гисиным – главой могилевских сионистов и постоянным идеологическим противником Якова Анатольевича.

После смерти отца С. Я. не остался в Могилеве – он вернулся в Петроград, как раз накануне Октября. Предвестия надвигающихся событий ощущались уже в ставке. В упомянутой книге М. Д. Бонч-Бруевич в качестве курьезного примера панических слухов, ходивших в ставке, упоминал разговоры о расквартированном в городе «георгиевском» батальоне (батальоне, сформированном еще до революции из солдат, награжденных крестами) как о возможном вдохновителе «якобы подготавливаемого в городе еврейского погрома» и вместе с тем «большевистском» по настроениям. Но такое парадоксальное сочетание отнюдь не было фантазией офицеров ставки. Погромно-антисемитские настроения в «георгиевском батальоне» действительно были, но в июне – июле они сочетались с ура-патриотическим духом, а осенью солдаты того же батальона, как и вся русская армия, хотели одного – мира; и когда С. Я., выступая от имени Совета, попытался им объяснить, что мира, даже сепаратного, можно достигнуть только в результате трудных переговоров, эти солдаты (не без влияния большевички-агитаторши, которой они великодушно прощали ее еврейство) его едва не убили.

Октябрьский переворот не оставил у С. Я. особенно четких воспоминаний. Как и многие, он пытался пройти на Дворцовую площадь, но она была оцеплена красногвардейцами. Запомнилась

² *Бонч-Бруевич М. Д.* Вся власть советам. М., 1964. С. 188–189.

ему отвратительная, типично петербургская осенняя погода; и в этом отношении «их революция» в его воспоминаниях отличалась от «нашей» – солнечной, Февральской.

Новую власть сначала не принимали всерьез. С. Я. по возвращении в Петроград стал работать, как и многие молодые историки левых воззрений, в Архиве революции, образовавшемся на основе богатейших фондов охранного отделения и полиции, и его новые товарищи по работе обсуждали, сколько дней продержатся большевики у власти. «Нет, господа, – говорил скептический П. Е. Щёголев, возглавлявший Архив, – это история на недели, а может быть, и месяцы».

Главным было то, что и новая власть признавала себя временной («Временное рабоче-крестьянское правительство») и с негодованием опровергала контрреволюционные слухи, будто большевики не будут считаться с Учредительным собранием.³ Избирательные списки были уже приготовлены, и выборы, действительно, были проведены довольно быстро – в середине ноября. Избирательная кампания в Петрограде поразила С. Я. тем, что своеобразное сочетание большевистской пропаганды с антисемитизмом, обнаруженное им в могилевском «георгиевском батальоне», проявлялось и здесь: в Охтинском районе, где он жил и голосовал, сторонники новой власти уверяли избирателей, что Керенский – сврей. Давление на избирателей было явным, но не слишком настойчивым. «У тебя какой список?» – спрашивали красногвардейцы у входа в избирательный участок какого-то рабочего. – «№ 1» (это был список блока социалистических партий, за который голосовал и С. Я.). «Это – буржуйский список, – объявляли агитаторы и отбирали бюллетень (бюллетени всех партий доставлялись избирателям заранее). – Возьми рабочий список – № 4 (большевистский)». «У вас какой список?» – спросили и у С. Я. «Не ваше дело», – ответил он. Пропустили: явный буржуй, пусть и голосует за буржуев. С одним из представителей нового порядка С. Я. был знаком лично: в одной с ним квартире жил большевистский комиссар Охты. Увидев у соседа над столом демонстративно повешенный портрет Керенского, комиссар решил нанести ему тяжелейший моральный удар: повесил в квартирной уборной портрет Николая II и был очень удивлен, когда сосед не обиделся.

И вот наступил, после ряда проволочек, день, которого русская левая интеллигенция ждала много десятилетий. 5 января (по

³ Ср., например, в «Правде»: Учредительное собрание и революция – 25 ноября (12 ноября) 1917 г.; Самодержавие народа – 14 декабря (1 декабря). Учредительное собрание и продолжение войны – 21 декабря (8 декабря).

введенному новой властью, но еще непривычному календарю это было 18 января) 1918 г. собралось Учредительное собрание, выбранное по самой демократической в тогдашнем мире системе – всеми гражданами, без каких-либо ограничений, при участии женщин и солдат действующей армии, на основе пропорционального представительства (потому и голосовали за списки). «Социалистический блок», который поддерживал С. Я. (энесы, меньшевики-оборонцы, приверженцы Керенского и Брешко-Брешковской, отколовшиеся от эсеров), не имел успеха и получил лишь несколько депутатских мест, но гораздо важнее было поражение, понесенное большевиками, несмотря на то что власть во время выборов была в их руках. Срочное заимствование в «Декрете о земле», вопреки прежней аграрной программе, эсеровского принципа социализации земли, не помогло: абсолютное большинство населения страны проголосовало за эсеров. Лишь небольшая часть уже избранных эсеровских депутатов примкнула к образовавшейся в то время партии левых эсеров, входившей в Совет народных комиссаров; вместе с большевиками они составляли не более трети собрания.

С. Я. был на первом и единственном заседании Учредительного собрания. Сделать это было нелегко. Собрание охранялось караулом, возглавляемым знаменитым матросом Железниковым; места в ложах для публики распределялись советскими организациями среди своих; только на хоры, наряду с пробольшевистской публикой, могли проникнуть и некоторые лица, сочувствовавшие большинству Собрания. Наиболее странное впечатление произвел на С. Я. тот великий исторический деятель, которого ему довелось увидеть один раз в жизни. По его воспоминаниям, Ленин *лежал* во время заседания на полу в проходе. Воспоминание это настолько экстраординарно, что можно было бы предположить в данном случае какую-то ошибку памяти или фантазию. Но обратившись к горьковской газете «Новая жизнь» (одной из немногих, сумевших послать на заседание своего корреспондента), мы читаем там: «Члены Совнаркома во главе с Лениным явились в Таврический дворец и заняли свои места в правительственной ложе. Но Ленин недолго оставался в ложе. В начале речи Чернова он разлегся на полу в проходе и остался в таком положении во все время речи Чернова...» В той же газете описывается и общая обстановка заседания: «Публика во время заседания вмешивалась в прения... Некоторые проявляли виртуозность свиста. Председателю Учредительного собрания Чернову приходилось очень часто призывать к порядку публику и грозить принятием мер, но публика продолжала свою политику, прекрасно сознавая, что у Чернова нет ника-

кой реальной возможности осуществить свои угрозы. ...Самым критическим моментом заседания Учредительного собрания необходимо признать появление на эстраде у председательского места матроса Железнякова, потребовавшего немедленного прекращения заседания Учредительного собрания ввиду того, что караул устал...»⁴

Участвовал С. Я. и в демонстрации в защиту Учредительного собрания, которая была разогнана и обстреляна большевистскими военными частями. Горький писал об этой демонстрации в статье «9 января – 5 января»: «5 января 1918 г. безоружная петербургская демократия – рабочие, служащие – мирно манифестировала в честь Учредительного собрания... “Правда” лжет, когда она пишет, что манифестация 5 января была организована буржуями, банкирами и т. д. и что к Таврическому дворцу шли именно “буржуи”, “калединцы”. “Правда” знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знаменами российской социал-демократической партии к Таврическому дворцу шли рабочие Васильевского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала “Правда”, она не скроет этого факта...»⁵

9 января, в день двенадцатилетия «Кровавого воскресенья», состоялись похороны жертв 5 января, и на этих похоронах С. Я. также присутствовал. На этот раз власти побоялись исторических ассоциаций, и по участникам похорон не стреляли.

После разгона Учредительного собрания «временное рабоче-крестьянское правительство» перестало быть временным. Власть чувствовала себя все более уверенной. Зимой сотрудники Архива революции сделали интересную находку: архивные материалы подтвердили выдвигавшееся еще до революции подозрение, что известный юрист проф. М. Рейснер был связан с охранкой. М. Рейснер был отцом большевистской журналистки Ларисы Рейснер и сам занял после Октября роль виднейшего специалиста по советскому праву; сотрудники Архива сочли поэтому нужным известить власти о сделанной ими находке. Ни малейшего впечатления это известие не произвело и никаких последствий не имело. Постепенно закрывались все независимые органы печати; к лету 1918 г. их почти уже не осталось.

Так было в Петрограде. Но на родине С. Я., в Могилеве, положение было иным. По Брестскому миру вся Украина и большая

⁴ Новая жизнь. 1918. 7 (20) янв.

⁵ Там же. 9 (22) янв.

часть Белоруссии оставались под немецкой оккупацией; в Белоруссии граница проходила как раз по Днепру: Могилев оказывался под немцами, его левобережный пригород – Луполово – в составе РСФСР. Но проезд в оккупированные районы не вызывал трудностей. Летом 1918 г. С. Я. вновь приехал в Могилев, где проживала его семья (мать, сестра, два брата) и семья жены.

В Могилеве он снова обратился к журналистике – основал газету «Эхо». О своем редакторстве в этой газете он вспоминал неоднократно.

Ему, по-видимому, принадлежали стихи, отражавшие разговоры с деятелями соседнего, луполовского Совета, с которыми могилевцам постоянно приходилось общаться:

Я с миной самой скромной,
Не чуждой раболепства,
Явился в день приемный
В салон «его совдепства»....
Он молвил энергично:
«Меня ты не умаслишь!
Не важен ты мне лично,
В тебе я вижу класс лишь.
А класс пусть ждет расправы
И быстрой, и суровой,
Погибнет он без славы, –
Дорогу жизни новой!
Так вот альтернатива:
Себе могилу вырой,
Иль без задержек, живо
Себя ты деклассируй!

Восприятие новых властей, правивших по ту сторону Днепра, как видим, еще довольно юмористическое. Но основные вопросы, встававшие перед редактором новой газеты, были весьма острыми. Власть, которой его наиболее оптимистические товарищи сулили несколько дней существования, а более осторожный П. Е. Щёголев – месяцы, оказывалась реальностью. Опыт, накопленный за год, требовал пересмотра прежних позиций. Этому и была посвящена первая программная передовая статья газеты «Эхо». «Являясь органом местной интеллигенции, “Эхо”, естественно, будет хранить верность лучшим традициям русской интеллигенции, но вместе с тем уделит должное внимание и их пересмотру. Уроки революции стоили очень дорого, и их необходимо учесть. Надо воспользоваться опытом пережитых разочарований, отрешившись от предвзятых оценок и освященных време-

нем формул». ⁶ О каких «освященных временем формулах» здесь шла речь? Ставилась ли под сомнение сама революционная и демократическая программа предшествующих лет?

С упоминания о тех интеллигентах, которых пережитый опыт побудил разочароваться в революции, начинается серия статей, напечатанных по материалам бывшего Архива Департамента полиции и подписанных С. Я. Лурье его собственным именем. Демонстративным было уже название этой серии статей: «В доброе старое время». «В последнее время на почве разочарования революцией – не только в среде ретроградов, но и среди бывших либеральных деятелей – раздаются голоса в защиту старого романовского режима. Утверждают, что этот строй, при всех его несовершенствах, был наиболее подходящим к русской культурно-бытовой действительности, что он держался бы еще бесконечно долго, если бы ему не пришлось пасть жертвой чисто внешних осложнений: войн, зарубежных влияний и т. д.».

Отвечая на этот вопрос, автор обращался к истории того учреждения, которое сами представители старого режима считали главной опорой своего строя и которое действительно можно было считать образцовым для предреволюционной России: в отличие от других учреждений, учреждения политического сыска были меньше всего поражены бюрократией; подлинные способности и успехи имели здесь несравненно большее значение, чем служебный ранг; протекция и т. д. И тем не менее учреждение это отражало гниение режима в целом. «...После 1907 г. революционное движение едва тлело. Жандармам необходимы были “ликвидации” революционных организаций, а этих организаций в большинстве городов не было. При таких условиях создавать “революционное движение” становилось необходимым для самих жандармов... В результате – в каждой губернии официально числились комитеты всех революционных партий – начиная анархистами-коммунистами и кончая с.-д. меньшевиками, причем многие из них только и существовали в бумагах жандармских управлений. Значительная часть остальных состояла из детей, подростков и психических больных под руководством опытного провокатора; они создавались и ликвидировались только для того, чтобы провокатор и его руководитель получили перевод в крупный центр и повышение жалования». «Каков же был результат всей бурной деятельности секретных агентов для старого режима? На истерзанном в 1905 г. мучительными родами нового строя теле России стали возникать,

⁶ Эхо. 1918. № 1. 10 июля.

благодаря усилиям агентуры, эфемерные революционные организации. Конечно, их “ликвидировали” так же легко, как и создавали, но в результате все же на задетых движением частях государства оставался след, невыгодный для старого строя. Таким образом, вся эта Сизифова работа только расшатывала и без того колеблющиеся основы романовского режима».

Роль провокаторов в предреволюционных подпольных организациях (в том числе, естественно, и в большевистских) была велика. Между новыми силами, пришедшими к власти, и старой системой обнаруживалась, таким образом, несмотря на прежнюю вражду, некоторая, весьма существенная, связь.⁷

Тема связи между тем, что считалось старым и что – новым, еще определеннее становилась в неподписанной редакторской передовице «Черные и красные». Уже начало этой статьи, открывающейся, как и статьи о материалах департамента полиции, иронической формулой «в доброе старое время», указывает на ее автора. «В доброе старое время, во времена самодержавия, политическая самостоятельность русских граждан находилась под сугубо правительственной опекой. Открыто можно было принадлежать только к партиям, получившим эпитет “партий последнего министерского циркуляра”, и к “союзу русского народа”... Октябрьский переворот, передав власть в руки большевиков, вместе с этим широко открыл двери к этой власти деятелям старого режима. “Комиссародержавие” незамедлительно стало на испытанный путь “самодержавия”... И вновь история повторилась. Вновь возможна открытая принадлежность только к “правительственной” партии коммунистов и терпится существование левых эсеров... Все остальные политические партии зачисляются в ряды “врагов народа”, а социалисты-небольшевики объявляются “социал-предателями”... И в то же самое время, когда большевики, под знаменем “коммунизма”, творят свое черное дело, удобряя в человеческих сердцах почву для восторженной встречи всякого, кто принесет спокойствие, в это самое время черносотенцы не тратят времени даром. Мы видим, как на Дон, Кубань, Украину непрерывной вереницей тянутся самые махровые черносотенцы... Не только умеренные социалисты, не только кадеты, но даже октябрист М. В. Родзянко там “не ко двору”. Даже он “слишком либерален”, даже он нетерпим, и ему предложено покинуть Донскую область. Так в причудливой комбинации перемешались политические антитипы – черные и красные, и совместными усилиями, направ-

⁷ Там же. 26, 28, 30 июля; 1, 2 авг.

ленными, правда, к различным целям, этот черно-красный союз ведет страну к реставрации».⁸

Существовала ли в России 1918 г. какая-либо третья сила – помимо диктатуры «красных» и «черных» (которых вскоре стали именовать «белыми»)? Единственной законной властью страны, отражавшей волю большинства народа, было в глазах С. Я. Учредительное собрание. Разогнанное в Петрограде 5 января, оно еще не признало своего уничтожения, и с весны 1918 г. значительная часть членов Собрания по предварительной договоренности стала съезжаться в Самару. 6 июня 1918 г. был образован Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), претендовавший на роль Временного правительства страны; военной опорой Комуча стали солдаты чешского легиона (образованного еще перед революцией из чешских военнопленных, желавших отделения своей родины от Австро-Венгрии), восставшие против советской власти и занявшие Самару. В Самаре оказались и многие коллеги С. Я. из университета: Петроградский университет должны были эвакуировать в Самару еще до июня 1918 г., и часть профессоров успела туда прибыть. После переворота эта группа петербургской профессуры решила основать в Самаре новое учебное заведение – Самарский университет; ректором его стал известный филолог-славист академик В. Н. Перетц.

Формально С. Я. все еще был связан с Университетом, но уехать летом 1918 г. в Самару он не смог, он находился в это время в Могилеве. В октябре 1918 г. оккупация Могилева немцами кончилась: за месяц до надвигающегося поражения Германия выразила готовность смягчить условия Брестского мира и вывела свои войска из Белоруссии. Где был в это время С. Я. – неясно, но уже с середины октября у газеты «Эхо» появляется новый редактор; видимо, С. Я. вернулся в Петроград. Он мог бы сразу же поехать и в Самару, ибо в начале апреля 1918 г. она была взята красными, однако это же обстоятельство лишало бывшую столицу Комуча (отступившего на восток) ее особой притягательности.

Конец 1918 г. С. Я. провел в Петрограде. Это была та знаменитая голодная зима, с четверкой и осьмушкой хлеба по карточкам, которая долго оставалась в памяти жителей города и была вытеснена из нее только блокадой 1941 – 1944 гг. По инициативе Горького, постепенно переходившего от позиции обличителя новой власти к роли ходатая за интеллигенцию, был создан Дом ученых, где научным работникам выдавали «академический паек» – пшено.

⁸ Эхо. 1918. 3 июля.

В песне, написанной С. Я. на мотив «Атамана Чуркина» («Среди лесов дремучих»), этот быт описывался так:

В пальтишках обветшалых
Ученые идут
И на плечах усталых
Пайки они несут.
Та пища непростая:
Пшено то таково,
Что и свинья иная
Не станет есть его...

Административным главой Дома ученых был некий бывший содержатель ресторана Родэ, дореволюционный приятель Горького. Человек он был грубый, и профессора в «обветшалых пальтишках» никакого уважения с его стороны не вызывали. Однажды, когда очередь, безуспешно ожидавшая очередного пайка, стала роптать по поводу такого обращения с учеными, он рявкнул: «Какие вы ученые? Вы не ученые, а моченые». Очередь обиделась, но стоявший в ней высокий худой мужчина философически заметил: «А знаете, может быть, он и прав». Худой мужчина оказался Александром Блоком, и эта фраза не увеличила симпатий С. Я. к поэту, которого он терпеть не мог за выпады против Учредительного собрания в «Двенадцати».

На пороге 1919 г. С. Я. с женой решились, наконец, покинуть Петроград и переехать в Самару. Первые впечатления голодных жителей бывшей столицы были, естественно, связаны с едой: белые бублики здесь продавались без карточек и в неограниченном количестве. Коллеги по Петрограду приняли С. Я. в свою среду, и он был избран профессором Самарского университета (это стало теперь чисто должностным наименованием – ученые степени и звания были отменены революцией).

Положение Самары, как и всей страны, было весьма неопределенным. Когда власти Комуча, отступая из города, предложили В. Н. Перетцу уйти с ними, он отказался это сделать, но отнюдь не из политических соображений: эвакуировать могли только группу профессоров, а не весь университет, а покидать студентов было, с точки зрения ректора, не порядочно. Но надолго ли пришли красные? Мировая война кончилась, и у бывших союзников России были теперь развязаны руки; положение советской власти представлялось весьма уязвимым. Симпатии большинства университетской профессуры были, несомненно, на стороне тех сил, которые отступили на восток, и возвращения их ждали в 1919 г. неоднократно. Однако слухи, доходившие с востока, были далеко

не радостными для той левой интеллигенции, к которой принадлежал С. Я. Уже в конце 1918 г. Комуч заключил соглашение с возникшим в Сибири местным правительством; была создана директория, все меньше считавшаяся с бывшими членами Учредительного собрания, а в декабре диктатором на всей территории, включая Урал и Сибирь, стал адмирал Колчак, распустивший Комуч. Учредительное собрание, разогнанное в начале 1918 г. в Петрограде, окончательно перестало существовать. Тем самым белая власть на востоке оказывалась в глазах С. Я. столь же лишенной своего правового основания, как та власть «красных» и «черных», о которой он писал летом 1918 г. Из-за линии фронта доходили слухи о монархической и черносотенно-погромной идеологии в колчаковском тылу; председатель Учредительного собрания Чернов перешел линию фронта и вернулся в Советскую Россию.

Политическая обстановка в России не сулила ничего хорошего; тем больше было оснований для С. Я. обратиться к его собственному делу – науке. Античностью он не переставал заниматься и в 1917–1918 гг.; особый его интерес вызывало творчество греческого философа конца V в. до н. э. Антифонта-софиста, отрывок из чрезвычайно интересного сочинения которого был найден при раскопках в Оксирихе и опубликован уже во время войны. Антифонт многими чертами отличался от наиболее любимых и изученных филологами философов античности – Платона и Сократа; вместе с тем он оказывался крайним политическим радикалом, почти анархистом и противником рабства. «Будучи холоден ко всей сократике, и в частности испытывая чувство резкой отчужденности к тонкостям платоновских силлогизмов, я счел себя в большей мере, чем другие, пригодным для изучения и конгениального понимания Антифонта. При первом же знакомстве с остатками Антифонтова наследия я наткнулся на прямые заимствования из Демокрита и был чрезвычайно обрадован, что могу в эпоху расцвета и на афинской почве иметь дело с кристально-ясным, чуждым всякой туманности и мистики материалистом и к тому же последователем великого абдерита», – писал С. Я. несколько лет спустя.⁹ В Самаре С. Я. смог продолжать свои занятия, обратившись, в частности, к евангелиям, которые интересовали его в связи с темой античного антисемитизма (так и не нашедшей еще реального воплощения) и антифонтовского анархизма. В Самаре же началась и его деятельность как преподавателя высшего учеб-

⁹ Лурье С. Я. Антифонт, творец древнейшей анархической системы. М., 1925. С. 5.

ного заведения; педагогические способности обнаружили у С. Я., как мы знаем, с юности, а теперь он впервые получил возможность учить науке.

В Самаре поселились не только С. Я. с женой, но также его мать и младший брат Иона. Брат Анатолий был военным врачом и чуть ли не с 1914 г. находился на фронтах – сначала германской, потом – гражданской войны; в 1918 г. он поехал к родне жены в Сибирь и в 1919 г. оказался в армии Колчака. Сестра вышла в Могилеве замуж за чешского (австрийского) пленного механика Роберта Копржива. В 1919 г. сестра с мужем находилась в Киеве, где пережила смену множества властей.

В 1919 г. или начале 1920 г. произошло чудовищное по нелепости, но довольно обычное для тех лет происшествие. Иона Лурье, юноша призывного возраста, поступил в самарскую школу зубных врачей, дававшую отсрочку от призыва в армию. Спустя некоторое время он был арестован за дезертирство «путем поступления в зубоврачебную школу». С. Я. поехал в Москву – хлопотать. Дело принимало серьезный оборот: кроме обвинения в дезертирстве Ионе предъявили еще обвинение в воровстве. У молодого человека была обнаружена обширная библиотека; это показалось подозрительным. Это была вывезенная из Могилева научная библиотека (по биологии, медицине и др.) Я. А. Лурья, но самарские власти ни о каком докторе Лурья не слыхали. Соответствующий трибунал по совокупности приговорил юношу к высшей мере наказания – расстрелу.

В Москве С. Я. обратился к члену ВЦИК Д. Б. Рязанову, которого знал по делам Архива революции. Давид Борисович Рязанов был единственным из «сильных мира сего», о котором С. Я. сохранил уважительное и благодарное воспоминание. Общепризнанный в мировом марксистском движении знаток трудов Маркса и Энгельса (С. Я. говорил, что Давид Борисович знал Маркса и Энгельса, как ученые из его соплеменников – священное писание), Рязанов до революции не был большевиком; он не раз выступал с резкой критикой Ленина. К большевикам он пришел в 1917 г. с «межрайонцами», и причиной этого были его интернационализм и убеждение, что только мировая социалистическая революция может покончить с войнами. В январе 1918 г. Рязанов, единственный из ВЦИК, проголосовал против роспуска Учредительного собрания (он предлагал передать решение этого вопроса Съезду Советов); почти на каждом съезде он выступал с протестами против террора и нарушений рабочей демократии (даже с заявлениями о выходе из партии). Ленин не забыл прежних споров и во многих выступлениях отзывался о Рязанове весьма саркастически; но

партийный *enfant terrible* (или «седовласое бэбэ») как создатель и глава Института Маркса и Энгельса нужен был партии; в свою очередь Рязанов не считал возможным уйти, пока не будет осуществлена великая цель Института – издание по-немецки и по-русски полного собрания сочинений основоположников марксизма. «Я не большевик, я не меньшевик и не ленинист. Я марксист и как марксист я коммунист», – заявил Д. Б. Рязанов в 1924 г. на заседании Коммунистической академии.¹⁰

На XIV съезде Д. Б. Рязанов чрезвычайно ехидно отозвался насчет теоретических рассуждений Сталина (хотя в спорах между ним и оппозицией не участвовал); не раз выступавший против кровавых расправ, чинимых Троцким во время гражданской войны (именно в связи с деятельностью Троцкого в Петрограде Рязанов заявил в 1918 г. о выходе из партии), директор Института Маркса-Энгельса после 1928 г., когда Троцкий был сослан в Алма-Ату, привлек его к участию в редактировании Собрания сочинений и, следовательно, обеспечил работой. Ничего этого Сталин не забыл. Во время процесса «Союзного бюро меньшевиков» против Рязанова были даны показания (грубо сфабрикованные, как признали потом оставшиеся в живых жертвы процесса), будто он прятал в ИМЭ меньшевистские материалы. Рязанов был отстранен от руководства созданным им Институтом (только после этого ИМЭ был слит с Институтом Ленина и превращен в ИМЭЛ), сослан, а в 30-х годах уничтожен.

Узнав от С. Я. об аресте его брата, Д. Б. Рязанов сразу же принял участие в судьбе неизвестного ему юноши (как и в судьбе множества других лиц, за которых он хлопотал); решением ВЦИК приговор был отменен; постановление это было передано в Самару телеграфом. Туда же намеревался выехать и С. Я., но в Москве он получил известие о том, что его жена, находившаяся в то время в Могилеве у родителей, заболела тифом. Немедленно он отправился в Могилев и вскоре заболел сам. Когда же он выздоровел и вернулся в Самару, младшего брата там не оказалось. Возымела ли телеграмма ВЦИК действие? По полученным С. Я. сведениям, Иона Лурье был выпущен из тюрьмы и вернулся на некоторое время домой; возможно, что он сделал попытку пробраться в Сибирь, к брату Анатолию, или в Среднюю Азию (кажется, у него был вполне фантастический план бежать в Индию). Верно это или нет – неизвестно; каких-либо определенных известий о младшем брате С. Я. так никогда и не получил. И в то же самое время (или

¹⁰ Вестник Коммунистической Академии. М., 1924. Кн. 8. С. 392.

во время другого отъезда С. Я. из Самары) погибла и его мать. Относительное благополучие в волжских районах страны кончилось; в Самаре свирепствовал голод и сопутствовавший ему тиф. В отсутствие сыновей Мира Соломоновна попала в больницу и там умерла – как потом рассказывали, больница была так переполнена, что ее, еще живую, положили в морг. Не пережил гражданскую войну и другой брат С. Я. – Анатолий. После разгрома Колчака он был мобилизован в Красную Армию; тесть Анатолия Яковлевича, тоже военный врач, заболел тифом; ухаживая за ним, А. Я. заразился и умер. Из всей семьи Якова Анатольевича в 1920 г. остались только двое – Соломон и Богдана (по-прежнему в Киеве).

В середине 1920 г. С. Я. вернулся из Самары в Петроград: созданный в обстановке гражданской войны, Самарский университет оказался непрочным и вскоре перестал существовать.

Но вернуться в Питере к прежней научной работе было не так просто. На первых порах пришлось начать с работы, не казавшейся С. Я. особенно интересной: он поступил переводчиком (с немецкого языка, который знал наиболее свободно) в отдел информации Коминтерна (Исполнительный комитет Коминтерна, как и его глава Зиновьев, находились в Петрограде). Мало привлекательная сама по себе, работа в отделе информации свела зато С. Я. со многими интересными людьми: среди его коллег-переводчиков были Юрий Николаевич Тынянов (с которым С. Я. был связан и семейными – через сестру жены – и товарищескими узами еще в студенческие годы), молодой филолог-классик Яков Маркович Боровский и другие.

Последним эпизодом гражданской войны был Кронштадтский мятеж весной 1921 г. Кронштадтские события, естественно, побудили С. Я. и его товарищей по работе вновь поставить перед собой вопрос об отношении к власти. И тут обнаружилось любопытное обстоятельство: из всех интеллигентов, работавших в информационном отделе, С. Я. оказался наиболее верным заветам Февраля и наименее терпимым к их гонителям. Коллеги его, в общем, были людьми той же среды, что и он, и едва ли они были неискренни; но у них уже явственно ощущалась пугавшая С. Я. еще в 1918 г. готовность принять «всякого, кто принесет спокойствие» измученной войной стране.

Взгляды, которые С. Я. пронес и сохранил за прошедшие четыре года, лучше всего, пожалуй, отражает сочиненная им стихотворная комедия в стиле Аристофана «Первые люди на луне» (она сохранялась в течение многих лет, но в 1949 г. была уничтожена). Название, взятое из Уэллса, не случайно; Уэллса он всегда любил,

ясно ощущая глубокий смысл уэллсовских «анти-утопий»; Уэллс упоминался и в первых стихах комедии. Сюжет комедии таков: два героя, недовольные советским строем, бежали из РСФСР на Луну, похитив государственный аэроплан («научно-фантастическая» сторона его не интересовала совершенно, и он не задумался сделать аэроплан средством путешествия на Луну). Главные персонажи комедии – «механик-самоучка» Крестьянченко и некий Интеллигентский. Подлинный герой, собственно, Крестьянченко (дань приверженности к трудовикам!), а Интеллигентский, встретившись на Луне с трудностями, предаёт товарища.

В дальнейшем на Луне появляются и другие гости с Земли. Среди них агитпропщик, прославляющий Маркса:

С точностью прямо почти математической
Судьбы народов он нам изобразил,
С верностью прямо почти фотографической
Все предсказал он нам и все нам разъяснил...

Ему отвечает меньшевичка-интернационалистка:

Правда, что Маркс был отцом социализма,
Но коммунистов совсем терпеть не мог,
Если б воскрес он и увидел коммунистов,
Он бы от горя опять в могилу слег...

Там же «антропопитек» (питекантроп) Фоссиль, он же член Союза русского народа:

Я – Фоссиль, я ископаемый
И пещерный человек,
Всею Европой изучаемый
Древний антропопитек.
Я людским питаюсь мясом,
Кровь горячую я пью,
Запиваю кровь я квасом,
Песнь нестройно я пою:
Я – древний антропопитек
Старых правил человек...

В соответствии с аристофановскими традициями комедия включала и элементы литературной пародии: здесь фигурировали Маяковский, Игорь Северянин. Главная коллизия пьесы заключалась в том, что на Луне оказывался такой же режим, как на Земле, но просуществовавший уже много лет. В стране полная разруха:

День-деньской как зверь мотайся,
От работы надрывайся,

Об одном лишь все старайся,
Чтоб набить себе живот...
Коль попили да поели
И притом не заболели –
Мы и рады. Неужели
Это время не пройдет? –

поет один из селенитов.

Герой Крестьянченко вступает в спор с диктатором Луны Люмбухарио. Это классический аристофановский агон; Люмбухарио отстаивает казарменный социализм; Крестьянченко – эволюционный, основанный на добровольной кооперации. Побеждает в споре, естественно, Крестьянченко. Селениты поют:

Удивительно // убедительно,
Начертал он путь // пролетария,
Больше, кажется, // не отважится
Вновь его лягнуть // Люмбухарио.

На Луне устанавливается демократическая республика. Далее следует, опять-таки в соответствии с Аристофаном, парабаза – песни торжества.

При всей своей наивности (которая, в какой-то степени, является данью стилизации под Аристофана) комедия эта верно отражает воззрения С. Я., его верность идеалам весны 1917 года.

Но итогом прошедших лет, конечно, были не «Первые люди на Луне». Поэтом С. Я. себя никогда всерьез не считал. Итогом пережитого были научные труды, и прежде всего три книги, завершившие этот период его жизни: «Антисемитизм в древнем мире», опубликованная в 1922 г., «Антифонт – творец древнейшей анархической системы» и «Предтечи анархизма в древнем мире», изданные в 1925 и 1926 гг., но отражавшие работу, начавшуюся по крайней мере с 1918 г.

«Антисемитизм в древнем мире» был опубликован в издательстве «Былое».

С момента, когда книга об античном антисемитизме была задумана, до времени ее публикации прошло семь лет – не так уж много для научного труда, посвященного древности, – но как изменилось значение этой темы теперь, в 1922 г.! В предисловии автор попытался поэтому объяснить, почему сюжет, который, казалось бы, канул в вечность вместе с другими признаками «старого режима» в 1917 г., показался ему опять актуальным: «Ход событий показал, что весенние настроения 1917 года были пустой иллюзией, и блестяще подтвердил верность сделанных мною прежних выво-

дов о причинах и происхождении антисемитизма: несмотря на полное отсутствие официальных еврейских ограничений, антисемитизм вспыхнул с новой силой и достиг такого расцвета, какого нельзя было и представить себе при старом режиме. В частности, он тяжело отразился и на моей личной жизни...»¹¹

Сейчас трудно судить, насколько серьезными были конкретные обстоятельства, о которых писал автор. Конечно, антисемитизм в России, существовавший веками, не только не исчез, но и не ослабел после революции. Гражданская война была ознаменована погромами, превосходившими все, что происходило прежде. При этом антисемитизм теперь проник в среду, где его прежде, по крайней мере, стеснялись открыто обнаруживать. Официальный интернационализм вызывал националистическую реакцию у части русских интеллигентов; многие из них с недовольством отмечали обилие евреев среди новой администрации. Вернувшись в Петроград, С. Я. убедился, что его *alma mater* не склонна вновь принять его в свою среду. Педагогическую работу по специальности он получил лишь в 1921 г. – и не в Университете, а в организованном в это время 1-м Высшем Педагогическом Институте (Институт им. Герцена). Более того – его собственный учитель, С. А. Жебелёв, ставший (при существовавшем еще ограниченном университетском самоуправлении) директором Библиотеки Университета, отказал своему ученику в праве пользования книгами этой библиотеки. Доброжелатели передали С. Я. и фразу, сказанную Сергеем Александровичем: «Все мы виноваты в революции. Вот и я тоже – оставил еврея при Университете». На низшем уровне эти настроения С. Я. обнаружил даже на экзамене в Институте им. Герцена. Он спросил студентку об основных языковых группах, о том, кто такие семиты и хамиты. Студентка покраснела и сказала, что отвечать не будет. Экзаменатор удивился и настаивал на ответе. «Ну, хорошо, я скажу, – ответила она с мужеством отчаяния. – Вы думаете, что вы – семиты, а мы хамиты. А мы думаем, что мы – семиты, а хамиты – вы».

Антисемитизм, конечно, не умер, он имел куда более богатое будущее, чем можно было предполагать в 1922 г. Но существовал он в те годы в совсем ином «контексте», иных условиях и при иной расстановке сил, чем в 1915 г. Вот этого автор явно не понял. Книгу свою он построил весьма эффектно и вызывающе, но эффект этот оказался странноватым, особенно в годы появления кни-

¹¹ Лурье С. Антисемитизм в древнем мире. Попытки объяснения его в науке и его причины. Пг., 1922. С. 6.

ги. Она была оформлена как антисемитская. Уже эпиграфом к ней служили три антисемитских высказывания античных авторов, в том числе пророчеств «Еврейской Сивиллы»:

Будут суша и море наполнены вами повсюду,
Все ненавидеть вас будут за ваши привычки и нравы...

Еще более ошарашивали структура и оглавление книги. Уже в заглавии (на титульном листе) и в оглавлении автор противопоставлял «попытки объяснения» антисемитизма в науке «его причинам». В число «попыток» входили объяснения, звучавшие довольно нейтрально и солидно: еврейская религия, экономические отношения, политические соображения и др.; а «причинами» объявлялись: «еврейское нахальство», «еврейская низость», еврейская сплоченность. Да и кончалась книга не выводом, а стихами Рутилия Намациана, приведенными и в эпиграфе:

Пусть бы несущее ужас оружие Помпея и Тита
Не покоряло совсем нам иудейской страны!
Вырвав из почвы, заразу по белому свету пустили, –
И победитель с тех пор стонет под игом раба.

Эффектный прием, своеобразный фокус, задуманный автором, заключался в том, чтобы побудить читателя (в том числе и читателя-антисемита) заинтересоваться заголовком и оглавлением и прочитать книгу. Вот тут-то читатель и убедится, что учено звучавшие «экономические» и подобные им объяснения («нация ростовщиков»), это, в сущности, клевета, идущая еще из древних антисемитских источников. С. Я. Лурье детально разобрал всю аргументацию Зомбарта и других теоретиков «экономического антисемитизма», убедительно показав, что она совершенно произвольна и не подтверждается источниками. Историографической легендой оказалось утверждение об особой роли ростовщичества в жизни древнего еврейства и о преобладании евреев среди античных ростовщиков, о коммерческой недобросовестности евреев и т.д. Что же касается «еврейской низости», то за ней скрывалось то долготерпение, которое через христианство стало считаться общечеловеческой заповедью – непротивлением злу.

Важнейшей особенностью еврейского характера, сложившегося в диаспоре, С. Я. Лурье считал отказ от рефлексивной реакции на нанесенные им обиды. «Инстинкт национального самосохранения приучил их вовсе не реагировать на менее тяжелые обиды, а на более тяжелые реагировать не рефлексом, а разумом... Но с точки зрения античной морали, такой способ реагировать на обиду считался недостойным свободного человека. Таким образом, ре-

зультатом этой национальной особенности явилось чувство гадливости и презрения к евреям, их третируют, как “паршивых жидов”. Евреи, со своей стороны, эту естественно возникшую черту, не нуждающуюся ни в осуждении, ни в порицании, не преминули возвести в высшую добродетель. Христианский принцип “ударившему в правую щеку, подставь левую” – не что иное, как вышедшая из еврейских недр утрировка этой специфической национальной особенности, уже евреями возведенной в ранг добродетели.¹²

Но эффект, задуманный автором, не сработал или, по крайней мере, был осознан лишь тем незначительным меньшинством читателей, которым как раз не нужны были эффекты. Ибо молодой автор не знал еще, что множество любителей «умной» литературы, добывающих и обсуждающих ее, научных книг, в сущности, не читает. Они знакомятся именно с оглавлением и заголовками, заглядывают внутрь, прочитывают стихотворные цитаты (особенно такие выразительные, какие подобрал С. Я.), а мнение о книге составляют по слухам. Господствующая идеология того времени довольно энергично боролась с антисемитизмом, как и с любой разновидностью шовинизма. Антисемитизм становился одной из форм оппозиции власти. Как должна была быть воспринята книга, вышедшая в неофициальном издательстве, со столь заманчивым эпиграфом и концовкой?

Наиболее благожелательной была рецензия известного эллиниста и византиниста В. Н. Бенешевича (впоследствии репрессированного и погибшего в заключении). Русский ученый, весьма далекий от специально еврейских проблем, он, однако, отлично понял условность и пародийность наименований действительных «причин антисемитизма», данных в заголовках части книги («еврейское нахальство», «еврейская низость» и т. д.); он справедливо заметил, что задача этой части – «показать необоснованность выпадов против своеобразия действительно присущих еврейству особенностей, лишь благодаря злостному искажению врагов еврейского народа принимающих одиозный в глазах других народов оттенок». В. Н. Бенешевич выразил надежду, что «автор находится на пути к тому, чтобы так же самоотверженно вступить в борьбу с болезнью средствами науки, как это сделал его отец на посту врача против другой заразной болезни». «Но первым залогом успеха работы будет сомнение автора в правильности также и предлагаемого им объяснения причин антисемитизма», – добавлял рецензент. «Пусть же автор в своей принадлежности к еврейскому пле-

¹² Лурье С. Я. Антисемитизм в древнем мире. С. 25–52, 118–119.

мени видит не только какую-то гарантию верности наметившихся у него объяснений, а только одно из сильнейших побуждений к дальнейшей энергичной работе по тому же вопросу, и пусть попробует проверить свои тезисы через сопоставление их с чрезвычайно любопытной, но, правда, очень уж парадоксально выраженной точкой зрения своего покойного отца...»¹³

По-иному оценил книгу П. Ф. Преображенский – историк античности, москвич, работавший в Самаре одновременно с С. Я. В рецензии в официальном журнале «Печать и революция» он отнесся к книге, как к курьезу. Автор, по его словам, принадлежал к «той, ныне почти исчезающей школе классических филологов, которые, обладая весьма малой социологической или теоретической в области истории подготовкой, брались за разработку тем исторического характера». Но наиболее острой тематики книги он не касался, ограничившись снисходительным пожеланием автору избавиться от чувства национальной «придавленности и ущемленности».¹⁴ Еще более враждебен был филолог-классик Бикерман, еврей, эмигрировавший из России в Германию, – книгу он оценивал резко отрицательно, но основную тему ее по существу не обсуждал.¹⁵

Устные отзывы были определеннее. Автору передавали, например, слова одного из авторитетных профессоров-античников: «Первая честная книга об антисемитизме, написанная евреем». А десятилетие спустя П. Ф. Преображенский, член партии, нередко ездивший в зарубежные командировки (после 1937 г. он, как и многие люди этой категории, погиб), передал С. Я. через третьих лиц, что о его книге одобрительно отзывался не то Геббельс, не то Розенберг; было ли это слухом, пущенным из недоброжелательства, или же соответствовало действительности, осталось неизвестным. Во всяком случае, уже после Второй мировой войны русский эмигрант Андрей Дикий, опубликовав книгу «Евреи в России и в СССР», полностью поместил в качестве приложения к ней 2-ю часть «Антисемитизма в древнем мире». Дикий – крайний антисемит, доходящий до идеи геноцида (с головлевской оговоркой: убить надо всех «от люльки до бороды», но русский народ по своей доброте этого не сделает),¹⁶ однако, выпуская книгу

¹³ *Анналы*. 1923. № 3. С. 246–248.

¹⁴ *Печать и революция*. 1923. Кн. 3 С 196–197.

¹⁵ *Philologische Wochenschrift*. Leipzig, 1926. Jg. 46, N 33/34. 14. Aug. Sp. 903–910; ср. ответ С. Лурье и новое возражение Бикермана: *Ibid.* N 52. 25. Dez. Sp. 1438–1440.

¹⁶ *Дикий А.* Евреи в России и в СССР. Исторический очерк. Нью-Йорк, 1967. С. 218.

на Западе после войны, он считает себя обязанным отречься от некоторых догматов старого черносотенства и фашизма: например, знаменитые «протоколы сионских мудрецов» (о планах захвата мира евреями) он признает подделкой. Но заменой этих протоколов оказывается у него книга Лурье: «Внимательно и вдумчиво прочитав обширную выдержку из его книги, напечатанную в ч. II настоящего очерка, многое из того, что раньше приписывалось “темным силам” и “мудрецам Сиона”, станет ясным и легко объяснимым».¹⁷ В чем же заключается эта тайна «мудрецов Сиона», открытая Диким в книге Лурье? Оказывается, в том, что, по словам С. Я. Лурье, евреи в античности в ходе политической борьбы в диаспоре симпатизировали и по возможности содействовали стороне, «более сочувственно относящейся к евреям».¹⁸ Но ведь в США, где живет Дикий, любое национальное меньшинство прямо и открыто поддерживает те политические силы, которые выражают этому меньшинству сочувствие и обещают помощь, – все это отлично знают, и ни один кандидат в президенты или в Конгресс не может не считаться с этим обстоятельством. Однако для «пещерного человека» из «Первых людей на Луне» склонность национального меньшинства отстаивать свои интересы и поддерживать дружественные, а не враждебные ему силы среди «хозяев страны» – это адская «тайна Сиона».

Было бы, конечно, напрасным трудом спорить с А. Диким: это объект не для полемики, а скорее для исследования, вроде того, какое предпринял когда-то С. Я. Лурье. Но, к сожалению, попытка «ампутировать» «Антисемитизм в древнем мире» предпринималась и совсем иными людьми.

В 1923 г. в Берлине издательством З. Гржебина было предпринято переиздание книги.¹⁹ С. Я. не только не был привлечен к этому изданию, но даже никогда его не видел. А между тем в издании оказались важные купюры: издатели исключили из книги оглавление (очевидно, из-за его эпатирующего характера) и титульный лист, заключавший в себе противопоставление «попыток объяснения» антисемитизма в науке и его причины, а также антисемитские эпитафии. Вместе с титульным листом выпало, что особенно огорчительно, и посвящение книги – «памяти отца и учителя». В 1976 г. именно гржебинское «усеченное» издание было перепечатано в Тель-Авиве.

¹⁷ Дикий А. Евреи в России и в СССР. Исторический очерк. Нью-Йорк, 1967. С. 31.

¹⁸ Лурье С. Я. Антисемитизм в древнем мире. Пг., 1922. С. 120.

¹⁹ Лурье С. Я. Антисемитизм в древнем мире. Берлин; СПб.; М.: Изд-во Гржебина, 1923. 316 с. — *Примеч. сост.*

Все эти досадные обстоятельства – одобрение заведомых врагов автора и непонимание со стороны тех, кто мог бы ему сочувствовать, – в какой-то степени, очевидно, вызваны недостатками в построении и изложении работы С. Я. Лурье. С. Я. всегда был «королем бестактности»; но бестактности его имели различное значение. Когда С. Я. на юбилее Жебелёва в 1915 г. выступил с пацифистским докладом, он понимал, что шокирует свою аудиторию, и сознательно шел на это; так он поступал не раз и впоследствии. Но публикация в 1922 г. «Антисемитизма» с его эпиграфами и оглавлением была не просто эпатажем – книга произвела впечатление, которого явно не хотел сам автор.

Конечно, С. Я. не был писателем; книга его была научным исследованием, в котором автор вовсе не обязан был излагать свою конкретную программу и что-либо предлагать на будущее. Но и сам С. Я. отлично понимал, что помимо научного, книга имеет и публицистический смысл – об этом свидетельствовало уже предисловие к ней. В чем же этот смысл заключался?

Прежде всего, необходимо еще раз подчеркнуть, что концепция еврейского национального характера, данная в ней, не имела оценочного смысла – отрицательного или положительного. Не было, в частности, у автора идеи, получившей популярность в 70-х годах нашего века, – о национальной (в данном случае еврейской) ответственности за то, что произошло с Россией после 1917 г. И дело было не только в том, что, как мы знаем, вся основная концепция книги сложилась еще до революции. Как современник и живой свидетель событий гражданской войны, С. Я. отлично помнил, что евреями были не только Троцкий, Свердлов и Урицкий, но и убивший его Канегиссер, и Фанни Каплан, и многие вожди эсеров, и меньшевиков, и кадетов. Конечно, «еврейский комиссар» был достаточно видной фигурой в 1918–1920 гг., и в «Первых людях на Луне» был выведен и такой персонаж – «Андрей Петров, рожденный Тохесзон» (его потом съедат антропопитек Фоссиль). Но было ли «комиссаро-державие» специфически еврейским или специфически инородческим явлением (как часто представляется русским авторам)? С. Я. этого не ощущал, и его точка зрения наблюдателя-«инородца» была, во всяком случае, не более субъективной, чем взгляд русских свидетелей. На всю жизнь запомнилась ему сцена на станции Ночка (где-то между Самарой и Москвой), когда «заградительный отряд» сбрасывал с поезда и начисто обирал несчастных «мешочников» – после чего некоторые из них в отчаянии ложились на рельсы. Но евреев среди руководителей и бойцов отряда он не заметил – они показались ему чистейшими великороссами. И даже те евреи, с которыми приходилось сталкиваться как с представителями новой

власти и армии, отнюдь не были евреями по своим идеалам и убеждениям.

Основной смысл книги «Антисемитизм в древнем мире» заключался в утверждении факта национальной общности, не сводимой к территориальному или языковому единству. Своеобразие еврейского национального характера, как его понимал автор, делало, по его мнению, неосуществимой ассимиляцию даже при отсутствии официальных ограничений (на такую ассимиляцию, как мы помним, надеялся его отец). Отсюда та идея персональной автономии как особой формы национального самоопределения, с которой он выступил в 1917 г. на съезде энесов; та же идея (со ссылкой на теории, разрабатывавшиеся в Австро-Венгрии) упоминалась им в «Антифонте».²⁰ В 1917 г. вождем энесов Мякотин не понял сущности этой идеи, отметив, что в России «ее разрабатывали только еврейские политические партии». Мякотин имел в виду, очевидно, программу «культурно-национальной автономии» Бунда, но ошибочно отождествлял ее с идеей персональной автономии. Для Бунда решающим моментом при определении национальной общности был язык (идиш) – на обязательном и даже принудительном развитии еврейской культуры на идиш настаивали, в частности, бундовцы, вступившие в РКП(б).

Между тем общность, о которой писал С. Я. Лурье, не определялась ни территориальными границами, ни языком (ни ивритом, ни идиш): это была *общность самосознания*. Такая идея казалась действительно несколько странной и утопической в начале XX в. в России появились писатели, ощущавшие себя евреями, но писавшие по-русски: С. Юшкевич, И. Бабель и другие. В наше время эта тенденция проявляется у целого ряда национальностей Советского Союза: писатели – представители этих народов – полностью или частично переходят на русский язык, но пишут о своем народе и сохраняют свое национальное самосознание. Идея внеязыковой и внесоциальной национальной общности, не понятая большинством читателей и казавшаяся П. Ф. Преображенскому порождением социологической безграмотности филолога С. Я. Лурье, сейчас, более полувека спустя, обретает новый смысл и, во всяком случае, заслуживает нового рассмотрения.

Если «Антисемитизм в древнем мире» посвящен был в первую очередь национальному вопросу, то остальные две книги касались бо-

²⁰ Лурье С. Я. Антифонт. С. 153.

лее широких, общечеловеческих проблем. Важнейшей из этих тем была, пожалуй, история социалистических и анархических учений. Вопрос этот имел в годы Первой мировой войны и революции, как и в наше время, не только академическое значение. Люди всегда обращались к истории для получения ответов на интересующие их вопросы современности. Еще в 1912 г. консервативный немецкий историк Пельман выдвигал против современной ему социал-демократии в качестве устрашающего примера «античную социал-демократию».²¹ После войны и революции подобные ссылки на то, что «это уже было», стали особенно популярными среди немецкой и русской интеллигенции. Содержащийся в памятнике второго тысячелетия до н. э. «Речениях Ипувера» (Ипусера) рассказ о всеобщих бедствиях в Египте был истолкован немецким египтологом Эрманом, а вслед за ним русским ученым Тураевым²² как картина, «напоминающая нашу современность» и отражающая «грандиозный социальный переворот», ибо «гибель культуры вообще лучше всего объясняется социальным переворотом» (концепцию Тураева усвоил и его ученик В. В. Струве, но он довольно скоро догадался перейти от пессимистической характеристики этого переворота к оптимистической).

С. Я. возражал прежде всего против использования типичных мифологических мотивов памятника в качестве свидетельства о конкретных исторических событиях. Он показывал, что система «перевернутых общественных отношений» в «Речениях Ипувера» строится по обычному фольклорному шаблону («верхнее» стало «нижним», бедняки – богачами, лысые покрылись волосами, и т. д.), который можно обнаружить, например, в индокитайских (вьетнамских) преданиях о нашествии французов в XIX в., вовсе не совершивших там, как известно, социальной революции. «...В минуты тяжелых государственных кризисов нередко бывшие обладатели власти и богатства уходят со сцены – на их место приходят так называемые “выскочки”, удачники из простонародья и иностранцев... Гибель Древнего царства сопровождалась, конечно, ужасающим развалом; немало представителей старой знати разорилось и опустилось; немало способных и ловких удачников из простонародья и инородцев стали богачами и влиятельными людьми. Бывали, вероятно, и случаи, когда гибнущие от голода народные массы взламывали государственные зернохранилища... Кое-какие воспоминания об этом времени должны были сохраниться и через 300 лет после этих событий, когда, по мнению Эрмана, наш

²¹ Лурье С. Я. Предтечи анархизма в древнем мире. М., 1926. С. 44.

²² Там же. С. 23, 34.

памятник был написан, – особенно отчетливыми, по условиям того времени, они быть не могли. Но наш папирус рисует законченное систематическое переворачивание всех общественных отношений вверх дном. ...В действительности же, такого рода “социальный переворот” дикий абсурд: многочисленные народные массы, поделив между собой имущество горсти знати, не могли стать богачами, их положение могло улучшиться только незначительно. Вывод ясен: автор пожелал описать бывшие задолго, может быть, за 300 лет до него, тяжелые пертурбации, о которых до него дошли, по-видимому, только смутные слухи, обильно приправленные легендой...»

Каково же было, по мнению С. Я. Лурье, историческое значение «Речений Ипувера»? Как и большинство рассказов о прошлом, этот памятник свидетельствовал скорее о своем времени (начало Среднего царства), чем о той эпохе, о которой повествовал (конец Древнего царства). Какие-то бунтовщические речи, направленные против существующих порядков, несомненно, раздавались и в эпоху Среднего царства в Египте, и экспрессивный рассказ Ипувера должен был опровергнуть и запугать тех, «кто не изведал этого» и кому «это кажется прекрасным».²³

Таким образом, от вопроса о стихийных революциях автор, естественно, переходил к проблеме поисков социальной справедливости – к смыслу и значению существовавших уже в античности различных социальных учений. При этом он сразу же отмечал необходимость разграничивать социалистические и анархические учения. Различие между этими понятиями заключается, как известно, в разном отношении к государству и государственному аппарату. «Социализм» Платона строился именно на всемогуществе государства – идеалом его был казарменный строй древней Спарты. Но наряду с этой «социалистической доктриной» (которую С. Я., вопреки Пельману, категорически отказывался отождествлять с подлинной социал-демократией) античность знала другие учения, направленные против всемогущества государства,²⁴ – и вот к этим-то «предтечам анархизма в древнем мире» и обращался С. Я. в своих обеих книгах. Наиболее ярким явлением в этом ряду оказывались Антифонт, как создатель «стройной анархической системы» в Греции конца V в. до н. э., и анархизм раннего христианства.²⁵ Протест античных анархистов против государственного

²³ Лурье С. Я. Предтечи анархизма в древнем мире. С. 32–44.

²⁴ Там же. С. 10–13.

²⁵ Наблюдения С. Я. Лурье над анархическими и антигосударственными чертами в христианстве заслуживают особого внимания в связи с усилившимся

аппарата во многих отношениях был наивен, примитивен и связан с пережитками первобытного коммунизма. Но не представляет ли он все же известного интереса для нас, когда мы задумываемся над историческими путями развития человеческого общества?

Связь истории с современностью – тема, проходящая через все работы С. Я., написанные в эти годы. Тема античного анархизма связывалась в его представлениях с проблемами XX века с разных точек зрения. Очень знаменательной казалась ему судьба христианства – возникшее как революционное учение, направленное против античного государства, христианство стало затем (пережив важные изменения), государственной религией Римской державы. В книгах об античном анархизме С. Я. не раз возвращался к темам статьи, опубликованной в 1915 г. в “Летописи”, – о кризисе античной демократии в результате Пелопоннесской войны. Как и Пелопоннесская война, Первая мировая война XX в. привела к отходу от демократической идеологии (там, где она существовала) и победе диктаторских режимов. Что же может быть им противопоставлено? Вопрос этот занимал С. Я. Лурье в начале 1920-х гг., и он важен для нас и сегодня, в 1970-х гг. Национализация многих отраслей хозяйства, взятие государством на себя функций социального обеспечения – необ-

в конце XX в. интересом к проблемам взаимоотношений христианства и социализма. В сочинениях на эту тему конструируются как бы две линии: светлое христианство и противостоящий ему мрачный социалистический «культ смерти», основанный на трех принципах: 1) могучее тоталитарное государство, сосредоточившее в своих руках всю собственность (в число примеров попадают и страны Древнего Востока, но уже не в связи с «социальной революцией», а с неограниченной властью фараонов); 2) атеизм и 3) разрушение семьи. Но уже история нашего времени обнаруживает несостоятельность этого построения: тоталитарные диктатуры XX в. могут придерживаться не только атеистической, но столь же широко — религиозной идеологии (фашистский конкордат с папой, «исламский социализм» и т. д.); с укреплением тоталитарного строя происходит не ослабление, а укрепление семейного начала (запреты или ограничения разводов, борьба с «моральным разложением» и т. д.). Еще более сомнительна позиция «тоталитарный социализм — религия» в историческом плане. Деспотии Древнего Востока были тесно связаны с религиозным культом; свободолюбие и борьба против жестокого семейного уклада — черты как раз антигосударственных учений древности. Очень любопытно в связи с этим, что именно в христианстве, которое некоторым нынешним авторам представляется главной опорой семейных устоев против безнравственности, обнаруживаются идеи уничтожения семьи. С. Я. Лурье привел ряд евангельских текстов, призывающих к разрушению семейных уз («Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей... тот не может быть моим учеником» — Лк., XIV, 26; Марк, X, 29; Матф., XIX, 29). Ср.: *Лурье С. Я.* Предтечи анархизма в древнем мире. С. 230–231, 240.

ходимый путь общественного развития, и в той или иной форме по нему пошло большинство стран мира. Но что же дальше? Облегчает ли дальнейшая централизация и национализация человеческую жизнь или, напротив, грозит серьезными опасностями? Вопрос о децентрализации хозяйства и государства, о синдикалистском пути развития в различных формах вновь и вновь встает перед людьми, думающими над возможными путями развития человеческого общества.

Именно такие размышления привели С. Я. в 1920-х гг. к несколько неожиданному для него сотрудничеству с анархистским издательством «Голос труда», где были опубликованы книги «Антифонт» и «Предтечи анархизма в древнем мире» (впрочем, это издательство было едва ли не последним независимым издательством, сохранившимся в то время). Анархистом С. Я. никогда не был, и издательство в предисловии к «Предтечам анархизма» сошло даже необходимым оговорить, что «теоретические положения автора книги не разделяются редакцией».²⁶ Но мысль о возможности и желательности создания форм самоуправления, не связанных с государственными рамками, привлекала его уже давно. В «Антифонте» С. Я. писал, что в проектах конституирования «экстерриториальных национальных общин», выдвигавшихся в Австро-Венгрии, «важно, конечно, то, что здесь государство впервые отрывается от территории». Но «почему признаком однородности людей должна служить национальность, а не профессия, не интересы и убеждения, склад, характер и т. д.»? Идеалом представлялось ему преобразование современных государств в «федеративный союз свободно организующихся небольших автономных общин, по возможности, однородного состава. Но это и есть те “кружки друзей”, к организации которых призывал Антифонт».²⁷

Таковы были размышления, к которым привели историка античности пережитые им события. Осмысление «уроков революции», сделанное С. Я., отличалось, по-видимому, от осмысления их многими из его современников. В его неприятии совершившегося не было черт консерватизма и горечи по поводу гибели «великой державы», не было и ужаса по поводу эгалитарных тенденций «социального переворота». Подлинной опасностью казалось ему не ослабление, а крайнее усиление общественных уз, все яснее проступавший облик грозного Левиафана – государства.

²⁶ Лурье С. Я. Предтечи анархизма в древнем мире. С. 3.

²⁷ Лурье С. Я. Антифонт. С. 153–155.

ГОДЫ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»

В 1920-х гг. Большой проспект Петроградской стороны был одной из самых оживленных улиц Питера. Шел нэп; на Большом появились многочисленные магазины – кооперативные (в обычном словоупотреблении это стало означать магазины, принадлежащие государству) и частные. Мелкие торговцы стояли прямо на тротуарах; стены домов были обклеены разнообразнейшими объявлениями. Одно из них привлекало вниманиe; оно было написано стихами:

Терзают нервы и тянут жилы,
В могилу сводят тупые пилы.
Часами пилишь, встав спозаранку,
А пригостишь одну вязанку.
Коль в день по кубу пилить хотите,
К специалисту пилу несите...

Далее следовал призыв: «Обращайтесь к мастеру, проживающему по адресу: Большой проспект, д. 10, кв. 40». Мастером, правившим пилой, был Роберт Копржива, шурин С. Я. Лурье, переехавший из Киева с женой и дочерью, а автором стихов, как можно догадаться, – сам Соломон Яковлевич, всегда имевший склонность к подобной непритязательной версификации.

Дом 10 по Большому проспекту, недалеко от Тучкова моста, был обычным для этой улицы пятиэтажным доходным домом. Находившаяся на пятом этаже квартира 40 имела семь комнат и принадлежала до революции некоему Льву Яковлевичу Лурье, однофамильцу С. Я., который был с ним знаком и, покидая в начале 20-х годов голодный Питер, оставил квартиру Соломону Яковлевичу. Конечно, жить в семи комнатах С. Я. не собирався, да и не смог бы: комнаты эти надо было отапливать (парового отопления в доме не было). Но разрешалось так называемое «самоуплотнение»; соседям по квартире С. Я. мог приглашать по собственному выбору.

С середины 20-х в квартире жили преимущественно родственники – сестра С. Я. с мужем, потом родные жены.

Вероятно, это были счастливые годы его жизни – во всяком случае, один из ее светлых периодов. Правда, надежды 1917 года не осу-

ществились – чем далее, тем яснее это становилось. Но оставалась возможность заниматься наукой – в те годы достаточно широкая.

С 1923 г. С. Я. снова стал преподавать в Университете – на факультете, который именовался то ФОН'ом (факультетом общественных наук), то ЯМФАК'ом (факультетом языкознания и материальной культуры), то еще как-то.

Эти годы можно считать временем, когда С. Я. как ученый достиг зрелости. Именно в 1920-х гг. он стал известен в мировой классической филологии как Salomo Luria – эту, более правильную, транскрипцию своей фамилии он сохранял во всех трудах, издававшихся на иностранных языках.

Главным содержанием его жизни была, конечно, работа. С. Я. отличался поразительной работоспособностью, но обнаружить какую-либо систему в его занятиях было трудно: он мог писать утром, днем, вечером и даже ночью. Выписки делал в тетрадях, на отдельных листах и на карточках, но систематической картотеки у него, по-видимому, не было. Постоянно что-нибудь напевал – особенно во время работы.

Часто его песни были чистой заумью, или, как он выражался, «глоссолалией»:

Растампирам, фирам, бирам,
Растампирам, бирам....

Иногда шансонетки, преимущественно дурачки-игривые:

Не плачь, не бойся, дочь,
Как всякая жена,
Иллюзии в эту ночь
Ты потерять должна...

Во время работы он был обычно в хорошем настроении; впрочем, нередко приходил в раздражение и даже в несколько аффектированное отчаянье (особенно при потерях книг или бумаг), но быстро отходил.

Научная среда, в которую попал С. Я. Лурье перед революцией, претерпела некоторые изменения. После Гражданской войны классическая филология и изучение античной истории в России понесли значительный урон: в эмиграцию отправились два важнейших представителя науки об античности – М. И. Ростовцев и Ф. Ф. Зелинский. Из оставшихся наиболее авторитетным был С. А. Жебелёв, хотя и уступавший этим двоим по своим научным талантам, но все же серьезный ученый. В 1927 г. С. А. Жебелёв был выбран академиком, хотя избрание его натолкнулось на неожиданное и энергичное противодействие. Противниками С. А. Жебе-

лёва выступали востоковеды Ф. И. Щербатский и П. Коковцов; активно поддержал их более молодой В. В. Струве. Энергично вступился за С. А. его коллега М. И. Ростовцев, пребывавший в эмиграции, но продолжавший оставаться академиком.

Несмотря на охлаждение, произошедшее между ними в первые послереволюционные годы, С. Я. сохранил уважение к своему учителю. Постепенно в среде ленинградских древних историков обозначились две противостоящие друг другу группы. К одной из них принадлежали ученики Жебелёва – И. И. Толстой, С. Я. Лурье, П. В. Ернштедт; группу эту объединяли, в частности, семинары, происходившие на квартире И. И. Толстого, в которых участвовали также жена И. И. – С. В. Меликова-Толстая (получившая классическое образование в Германии) и более молодые филологи – И. М. Троцкий, Я. М. Боровский, А. И. Доватур, А. Н. Егунов. В 1928 г. С. А. Жебелёв, С. Я. и еще несколько друзей и учеников И. И. Толстого издали сборник статей, посвященный 25-летию научной деятельности Ивана Ивановича.¹ К другой группе принадлежали востоковед В. В. Струве, возглавлявший кафедру древней истории в университете, и античники О. О. Крюгер, Б. Л. Богаевский, А. И. Малейн. Первоначально, по-видимому, антагонизм между этими группами мало отличался от нередкого в ученой среде недружелюбия или соперничества между разными научными коллективами и школами. Но уже с 1928 года различие между двумя группами получило не только академический, но и политический оттенок. В Праге вышел в свет очередной том авторитетнейшего зарубежного научного сборника «*Seminarium Kondakovianum*». Том был посвящен памяти известного археолога Я. И. Смирнова, умершего за 10 лет до этого. В сборнике участвовал ряд эмигрантов, в их числе М. И. Ростовцев, а из советских ученых – С. А. Жебелёв. В написанном им некрологе Я. И. Смирнова С. А. Жебелёв заметил, что Смирнов, умерший в 1918 г., благодаря этому не пережил последовавшие далее «годы лихолетья». Разразился скандал. Состоялись специальные заседания ленинградской секции научных работников профсоюза работников просвещения (ее возглавлял Н. Я. Марр) и ее московской секции; аналогичные собрания прошли в Академии материальной культуры, в Педагогическом институте им. Герцена. На заседаниях выражали возмущение тем, что до сих пор в составе Академии состоят эмигранты П. Б. Струве и М. И. Ростовцев; клеймили С. А. Жебелёва; упоминались, кроме участия в Кондаковском сборнике, и другие его прегрешения (он,

¹ АΣΠΑΣΜΟΣ. Сборник в честь И. И. Толстого, Л., 1928.— *Примеч. сост.*

например, состоя в администрации Библиотеки Академии наук, отказался явиться на вызов в местком и заявил: «Пусть местком сам ко мне придет»). Изгнав Жебелёва из своих рядов, секция научных работников внесла предложение исключить его из числа академиков. И С. А. капитулировал. В газетах было опубликовано его заявление: «Признаю ошибочным мое участие в сборнике Кондаковского семинария, так как в нем приняли участие столь антисоветские люди, как М. И. Ростовцев. Я – советский работник, сознательно принявший революцию и работающий на советское строительство в Союзе уже 11 лет... С того времени, как М. И. Ростовцев покинул нас и занял враждебную антисоветскую позицию, наши пути разошлись и он перестал мне быть соратником и другом...»² Покаяние С. А. Жебелёва предотвратило его исключение из Академии, но сам он хорошо понимал его нравственный смысл – ведь всего за год до этого М. И. Ростовцев заступился за Сергея Александровича и помог его избранию в Академию. Среди бумаг С. А. Жебелёва сохранился любопытнейший документ – «Автонекролог», но не такой пародийный, какой впоследствии сочинил его ученик С. Я. Лурье (знавший «Автонекролог» Жебелёва), а вполне серьёзный, предназначенный для прочтения после его смерти. В нем С. А. упоминал о том, что он публично отрекся от своего друга, «отрекся, конечно, вынужденно, в силу сложившихся, но несколько не оправдывающих меня обстоятельств и соображений, не делающих чести моему мужеству и являющихся в моих глазах одним из мрачных эпизодов моей жизни».³

Капитуляция отнюдь не привела к полной академической реабилитации Жебелёва – в последующие годы дело его вновь и вновь упоминалось при очередных политических кампаниях и чистках «буржуазной профессуры».

Постоянным объектом проверок был также ученик Жебелёва и учитель С. Я. – И. И. Толстой. По тогдашним нормам он был особенно одиозной фигурой – «бывший граф», лишенный вследствие этого избирательских прав. Само по себе это лишение, вероятно, не очень ущемляло Ивана Ивановича, но оно было удобным поводом для придинок при любой чистке. И. И. Толстого вызывали в общественные организации и настойчиво осведомлялись, не эксплуатировал ли он крестьян в своем поместье. «У нас не было по-

² Научный работник. 1928. № 12. С. 111–114. [Подробно о деле Жебелёва см. статью И. В. Тункиной «“Дело” академика Жебелёва» (Древний Мир и мы. СПб., 2000. Т. 2. С. 116–181).— *Примеч. сост.*]

³ Об «Автонекрологе» С. А. Жебелёва упоминал Д. П. Каллистов (см.. ВДИ. 1968 № 3. С. 152–158). [Теперь он опубликован И. В. Тункиной и Э. Д. Фроловым, – см.: ВДИ. 1993. № 2. С. 177.— *Примеч. сост.*]

местья! – оправдывался Иван Иванович. – Только дача, небольшая дача под Петербургом!»

В этой обстановке размежевание между двумя группами античных историков – учениками С. А. Жебелёва и сподвижниками В. В. Струве – обрело особый смысл. Правда, если ученики Жебелёва не внушали политического доверия, то и их противники тоже отнюдь не казались безупречными. О Б. Л. Богаевском, например, рассказывали, что во время гражданской войны он служил у белых и был автором антисемитских листовок, распространявшихся в армии Колчака; В. В. Струве принадлежал к той же немецкой аристократической фамилии, что и вреднейший эмигрант – П. Б. Струве. Хотя Василий Васильевич уверял, что в действительности он вовсе не Струве, а усыновленный бароном сын трагически погибшего железнодорожника, но это как-то не вызывало полного доверия. Однако недостатки происхождения и биографии можно было возместить политической сознательностью.

Далеко не вся профессура была уже готова к коренной перестройке своей идеологии и научной методологии – тем более ценились те, кто проявлял такую готовность. «Принять причастие буйвола», – так, по словам Генриха Бёлля, именовали немецкие сектанты-нонконформисты десять лет спустя склонность многих своих соотечественников приспособиться к господствующей идеологии и стать частью официальной системы. Василия Васильевича Струве и его друзей отличало от учеников Жебелёва именно то обстоятельство, что они уже в конце 20-х годов приняли это «причастие буйвола».

Чтобы понять сущность возникавших отношений, надо пояснить, что вплоть до конца 20-х годов Академия наук сохраняла известную автономию по отношению к власти; в высших учебных заведениях партийная идеология излагалась в основном в наиболее актуальных курсах – диамата и истмата, политэкономии, ленинизма. Уже с начала 20-х годов беспартийным гуманитарным институтам стали противопоставляться специально марксистские учреждения. В числе их в Ленинграде были Академия материальной культуры и Яфетидологический институт, возглавляемые академиком Марром, и Институт марксизма (ЛИМ), преобразованный затем в Ленинградское отделение Коммунистической академии (ЛОКА), в свою очередь включавшее ряд институтов (в том числе свой Институт истории). Характерные особенности того официального марксизма, который оформлялся и пропагандировался в этих заведениях, складывались постепенно. Прежде всего, важнейшей чертой его были воинствующая партийность, представление о том, что всякая наука, не только гуманитарная, но и естественная, – классовая. В марксизме прежде всего ценили не материализм, а диалектику –

единство противоположностей, «отрицание отрицания», «скачок из царства необходимости в царство свободы». Диалектика настойчиво противопоставлялась формальной логике, особенно в тех случаях, когда последняя (как, например, в вопросе о достаточном развитии производительных сил, необходимом для революции) становилась на пути политической практики.

В. В. Струве и его сподвижники оказались в числе активных сотрудников и участников работы этих новообразованных учреждений. Особенно усердно они подчеркивали свое глубокое сочувствие яфетидологии, или «новому учению о языке», провозглашенному Н. Я. Марром. Кавказовед и лингвист Николай Яковлевич Марр, несомненно, был яркой и своеобразной фигурой в послереволюционной науке. Автор ряда исследований по средневековой грузинской и армянской литературе, он еще до революции был избран в Академию наук. Исходным моментом его языковедческих теорий были черты сходства, которые он усматривал между картвельской (грузинской) и семитической группой языков. Сходство это Н. Я. Марр подчеркнул, дав исследованной им группе языков имя третьего (наряду с Симом и Хамом) сына Ноя – Яфета. Дальнейшие разыскания Н. Я. Марра заключались в поисках параллелизма между языками различных семей, в установлении черт сходства в структурах этих языков, семантических явлениях и т. д. И наконец, третья стадия, собственно яфетидологическая, наступила тогда, когда творец «нового учения о языке» отказался вообще от учения о языковых семьях: индоевропейской, тюркской, семитической и т. д. Но чем же объясняются в таком случае совпадения в словарном составе языков? Н. Я. Марр утверждал, что в основе всех языков лежат общие четыре элемента – слова «сал», «бер», «ион», «рош». Дальнейшие совпадения между языками объясняются не принадлежностью к тем или иным языковым семьям, а «стадиальной» близостью: яфетические языки – это языки доклассового общества, сохранившие свои основы в народе, индоевропейские – языки господствующего класса. «...Массы говорят языком иного мышления, да и иной формации, все равно, русские ли это по национальности трудящиеся, или они иной национальности», – заявлял Н. Я. Марр.⁴

Человек страстный и фанатически приверженный своим новым идеям, Н. Я. Марр излагал их не только письменно, но и устно – в лекциях, предназначенных для студентов. Странный русский язык с невероятным синтаксисом, резкий восточный акцент (он был сы-

⁴ *Марр Н. Я.* К реформе языка и грамоты // *Русский язык в советской школе.* М., 1930. № 4. С. 46.

ном шотландца и грузинки, выросшим в Грузии) сочетались у него с колоссальным темпераментом – студенты уверяли, что брызги слюны лектора долетали до первых рядов, и избегали садиться спереди. Но эти пустые места стали занимать лица почтенного возраста – такие как В. В. Струве, Б. Л. Богаевский и другие, приходившие внимать «новому учению о языке» из уст его создателя.

Вопросы «лингвистической палеонтологии», как именовал ее Н. Я. Марр, интересовали и С. Я. Лурье. Но марровское «новое учение о языке» представлялось ему совершенно неубедительным. В программе университетского курса, который он читал в то время, он отмечал произвольность построений Марра на последней стадии его теории и «возможность связать два любых слова» на основе внешнего сходства.⁵

А между тем признание или непризнание «нового учения о языке» переставало быть чисто научным делом. Уже в 1928 г. в Коммунистической академии были проведены заседания, на которых яфетидология была объявлена «основой марксистской лингвистики». Ректор университета Державин осудил «враждебное отношение к трудам Н. Я. Марра, которое имеется сейчас в некоторых авторитетных академических кругах»; с горячей поддержкой Марра выступил и В. В. Струве.⁶

Научные вопросы обретали все более определенный политический смысл. Сам Н. Я. Марр, придерживавшийся до революции довольно правых воззрений (ему доверялось даже цензурование грузинских изданий, недоступных русским цензорам), вступил теперь в ряды ВКП(б). Еще яснее черты приспособленчества обнаруживались в деятельности Н. С. Державина. В прошлом член Союза русского народа, он стал после революции ректором Университета, главой группы «левой профессуры», а впоследствии – и членом партии. Рассказывали, что когда Державин уволил из университета аспирантку кафедры русской литературы Никольскую на том основании, что ее отец был видным монархистом, руководитель Никольской В. Н. Перетц послал ректору краткую записку: «Дорогой Николай Севастьянович, какая-то сволочь уволила из Университета Никольскую, дочь Вашего товарища по Союзу русского народа. Надеюсь, что Вы ей поможете...» Никольская была восстановлена.

В. В. Струве и его соратники держались той же линии, что и Н. Я. Марр и Н. С. Державин. Правда, В. В. Струве был менее ак-

⁵ Программа курса социальной палеонтологии.

⁶ Яфетическая теория и марксизм: Доклад С. И. Ковалёва в исторической секции ЛИМ'а и прения // Проблемы марксизма. Статьи и исследования. Л., 1928.

тивен в этом отношении, чем Б. Л. Богаевский, стремившийся компенсировать свое опасное прошлое активными политическими выступлениями и прямыми доносами. В конце 20-х годов Богаевский был одним из основных деятелей университетской администрации: жалуясь на «невероятное количество обязанностей», которые несут профессора-активисты, университетская газета перечисляла должности Богаевского: «проректор учебной части, член деканата ямфака, зав. кабинетом археологии, зав. кабинетом древнего мира, председатель цикла древнего мира, председатель цикла истории религии» и т. д.⁷

Усиление политического веса В. В. Струве и его друзей не предвещало для С. Я. Лурье ничего доброго. В пародийном «Авто-некрологе», который упоминался во введении, говорилось, в частности, что уже в 20-х годах, «по почину В. В. Струве, С. И. Ковалёва и Б. Л. Богаевского, С. Я. Лурье почти ежегодно удалялся из Университета, но вследствие политической близорукости московских ученых снова восстанавливался на работе».

Но намечавшиеся служебные неприятности еще не мешали активной научной работе. С. Я. в эти годы много печатался – в Докладах и Известиях Академии наук, «Еврейской старине» и особенно широко – за границей. Начиная с 1924 г. его статьи стали появляться в западных изданиях – немецких и итальянских – ежегодно; за последующее десятилетие он напечатал за границей около трех десятков работ. Все они были написаны по-немецки. Исходил он при этом из самых простых, практических соображений: центром мировой классической филологии была отнюдь не Россия, а прежде всего – Германия; для того чтобы общаться с иностранными коллегами, необходимо было пользоваться понятным для них языком. Русского же языка большинство классических филологов не знало – «*Rossica non leguntur*» (по-русски не читаем).

Основные направления научных интересов С. Я. определились еще в предреволюционные годы. Это были: эпиграфика, исследование античной литературы в связи с политической историей Греции, изучение фрагментов Антифонта и близких к нему философов и проблемы истории еврейства и раннего христианства. Всем этим исследованиям было свойственно то, что сейчас мы бы определили как текстологический характер: С. Я. Лурье всегда привлекала задача восстановления и реконструкции текстов, не полностью сохранившихся, – будь то цитаты из древних памятников в более поздней традиции, папирусы или надписи. Здесь сказыва-

⁷ Студенческая правда. 1929. № 6 (25/26). 26 марта.

лись те особенности умственного склада С. Я., которые в юные годы влекли его к математике.

Значительное число античных надписей дошло до нас во фрагментарном виде: чтобы понять их, нужно прибегать к так называемым конъектурам – дополнениям текста. Но дополнения эти вовсе не произвольны: строки в надписи писались чаще всего так, что под каждой буквой одной строки стояла буква следующей строки – поэтому количество их довольно строго определено. Дополнение надписей было как бы своеобразным решением задачи: оно требовало и изобретательности и вместе с тем строгой умственной дисциплины. С. Я. исследовал и дополнил несколько важных надписей VI в. до н. э.; дополнения его были приняты наиболее авторитетным научным изданием – «*Inscriptiones Graecae*» – и включены в переиздание этих надписей; около 1926 г. международная редакция серии «*Supplementum Epigraphicum Graecum*» ввела в свой состав С. Я. Лурье как представителя русской науки.

Особенно интересовали С. Я. древнейшие надписи, для датировки которых (часто фрагментарных) палеографические данные (шрифты) оказывались недостаточно надежными. В 1927 г. в статье, опубликованной в журнале «*Hermes*»,⁸ С. Я. предложил систему датировки аттических надписей VI–V вв. по их формулярам (расположение вводных и заключительных текстов, упоминание архонтов и секретарей совета). Эта статья С. Я. вызвала одобрение ученого, имя которого было известно каждому филологу. В 1927 г. У. Виламовиц-Мёллендорф обратился к С. Я. с письмом, в котором писал, что прежняя датировка ряда надписей всегда вызывала у него «глубокое недоверие», но прежде он вынужден был «держаться это недоверие про себя»: «Нужно было специальное освещение вопроса, и Вы меня теперь вполне убедили. Это подлинный успех. Желаю Вам дальнейших удач».⁹ Виламовиц был признанным главой мировой классической филологии, и для филолога его письмо значило то же, что для католика – личное послание римского папы. Но С. Я. Лурье не был бы «королем бестактности», если бы не испортил эту приятную историю. Спустя два года он написал статью с полемикой против самого Виламовица – по поводу

⁸ *Luria S. Zur Geschichte der Präscripte in den attischen Vorenklidischen Volksbeschlüssen // Hermes. 1927. Bd 62, N. 3; ср. изложение этой работы в статье: Лурье С. Я. Древнейшие аттические надписи // Вспомогательные исторические дисциплины. М.; Л., 1937. С. 73–76.*

⁹ Письмо от 27 июля 1927 г. (опубликовано без заключительных слов в статье: *Лурье С. Я. Древнейшие аттические надписи // Вспомогательные исторические дисциплины. М.; Л., 1937, примеч. на с. 75).*

толкования одного места из Еврипида, в котором С. Я. видел отражение идей софиста Антифонта. Статью эту он перед публикацией послал Виламовицу – и на этот раз не вызвал у него «особой радости». Сперва, писал Виламовиц, он вообще не собирался читать присланную рукопись, так как у него уже нет времени для чтения подобных статей, но «как старый человек» он хочет дать «более молодому» совет – не выступать с полемикой: «Тот, кто имеет такие дарования (*solche Begabung*), может приносить пользу, но для этого он должен проявлять умение хладнокровно критиковать себя самого (*dann muss er kühle Selbstkritik üben*)».¹⁰

В те же годы было написано сочинение С. Я. Лурье совсем другого жанра – его первая книга для детей «Письмо греческого мальчика».

Дружба с детьми дошкольного, реже – школьного возраста проходит через всю жизнь С. Я. Лурье. Это было не просто проявлением его доброты, одной из тех симпатичных черт, о которых охотно пишут в посмертных биографиях. Здесь сказывались и слабые стороны его характера. В какой-то степени общение с детьми было для него легче общения со взрослыми. Мы уже упоминали о его юношеской застенчивости; он далеко не преодолел ее и в свои зрелые годы. Совершенно не умел он вести так называемых светских разговоров; разговаривать на непрофессиональные темы мог только с небольшим числом давних и близких знакомых. С детьми таких проблем не возникало – им он рассказывал сказки (которых знал великое множество), мог начинать разговор прямо с шутки, говорил заведомые и смешные глупости, нарушал обычные воспитательные «табу».

Нарушение словесных «табу» характерно и для его стихов, прямо предназначенных для детей. Одно из них, совершенно дурацкое, неизменно пользуется успехом у всех слушателей «чуковского» возраста:

У Петра, Петра, Петра
Задница была остра,
Только он на стул садится,
Как уж в нем дыра светится,
Только ляжет на кровать,
Как уж в ней дыра опять.
Он на улицу идет,
Колет ж... весь народ.
Все кричали: «Вот дурак!»
К ж... сделали колпак.

¹⁰ Письмо от 29 мая 1929 г. Ср.: *Luria S. Noch einmal über Antiphon in Euripides Alexandros // Hermes. 1929. Bd 64, H. 4.*

Первый рассказ для детей, получивший потом название «Письма греческого мальчика», был задуман для журнала «Ёж», начавшего выходить в Ленинграде в 1928 г. Сын С. Я. научился уже в те годы читать, и С. Я., как всегда, очень заинтересованно и активно стал участвовать в его занятиях. «Ёж» был любимым чтением и для сына и для отца. Для этого журнала С. Я. и захотел написать очерк или статью о найденном в Египте необычном папирусе из Оксиринах – письме греческого мальчика отцу, не взявшему его с собой в путешествие. Письмо было, очевидно, доставлено адресату (автор письма жил вне Оксиринах), но каковы были его последствия, мы, естественно, не знаем. В письме С. Я. заинтересовало вот что: обычно быт древних греков представлялся весьма патриархальным – с крепким семейным укладом, телесными наказаниями, безусловным послушанием детей родителям. Но автор письма, которого С. Я. назвал Феончиком (в письме «Теонат», или «Феонат», – уменьшительное от «Феон»), совсем не соответствовал таким представлениям: он никак не мог считаться покорным и почтительным ребенком. Все его письмо состоит из упреков отцу за обман и тайный отъезд: «Если не хочешь меня повезти с собой в Александрию, не напишу тебе письма, и говорить не буду с тобой, и не скажу “будь здоров” тебе больше!» Если отец не пришлет за ним, он угрожает голодовкой. Мальчик даже несколько гордится своей репутацией трудного ребенка: «И мама моя сказала Архелаю: он сводит меня с ума! убери его!» Но именно эти черты Феончика импонировали С. Я. с его принципиальным антидидактизмом – как и то обстоятельство, что Феон для своего времени и среды (он был египетским греком I–II вв. н. э.) писал достаточно грамотно, не хуже взрослых, и был, очевидно, живым и способным мальчиком.

«Из этого письма мы видим, что и в те времена детям жилось не так уж плохо и что и тогда уже были дети, которые держали в страхе своих родителей...» – замечал С. Я. в первом, предназначенном для журнала, наброске статьи.

«Ёж» издавался в детской секции Госиздата, во главе которой стоял С. Я. Маршак. Там сразу же заинтересовались Феончиком. Заинтересовался им и С. Я. Маршак, забраковавший, однако, имя героя: «Феончик», по его мнению, звучало не как имя греческого мальчика, а как еврейская фамилия. Он предложил посвятить письму Феона не журнальный рассказ, а особую детскую книгу. Историю написания этой книги вспоминала тридцать лет спустя Л. К. Чуковская. «Поначалу автор полагал, что если он создает книгу для детей, да еще не какую-нибудь, а художественную, стало быть, он должен попытаться писать беллетристически, изобретая настроения и позы героев. Беллетристика не удавалась, ибо для

нее материала не было; оставались претензии на беллетристику. Редактор повел его по другому пути – по пути демонстрирования методов исследовательской работы...» – рассказывает она.¹¹ С. Я., читавший эти воспоминания, находил их неточными.

В действительности авторский рассказ о Феончике с самого начала не строился беллетристически – здесь рассказывалось (и притом гораздо точнее, чем в будущей книге) об оксиринхских папирусах, приводился пересказ и перевод письма. Мысль о беллетризации возникла, очевидно, позже – уже при написании книги. Беллетризация эта присутствует и в той сюжетной линии, которая была подсказана редакцией: придуман мифический американский профессор Найт, подаривший автору папирус; это и служит поводом к прочтению и осмыслению письма – процедуре, которую с некоторой долей преувеличения можно назвать исследовательской работой. Но С. Я. не захотел отказаться от сюжетного вымысла и в изложении истории Феона – он закончил все-таки его историю, рассказав о горьком разочаровании мальчика, так и не получившего ответа на свое письмо.¹² Тем самым симпатия к герою, возникшая у автора, передавалась и читателю. Так был достигнут компромисс между беллетризованным повествованием о науке и рассказом о самом Феоне.

«Письмо греческого мальчика» имело успех – это была единственная книга С. Я., которая переиздавалась при его жизни. Во втором издании, подготовленном уже без помощи Маршака и его редакции, сюжет, связанный с Феоном, был значительно расширен: мальчик отправлялся в конце концов в Александрию, становился свидетелем восстания в городе и т. д.¹³ Автор ввел в книгу кое-какие свои заветные идеи: он придумал Феону воспитателя – еврея-космополита Аполлония-Ионафана; восстание в Александрии описывал тоже как межнациональное (одним из вождей его оказался тот же Ионафан). Но «претензия на беллетристику» оказалась, действительно, не вполне удачной, и в последующих изданиях С. Я. вернулся к первому варианту книги, введя лишь небольшие вставки из второго издания.

Колесания между беллетризированной наукой и сюжетным вымыслом были характерны и для более поздних детских книг С. Я.

¹¹ Чуковская Л. К. В лаборатории редактора. 2-е изд. М., 1963. С. 289–290.

¹² Лурье С. Я. Письмо греческого мальчика. Л., 1930.

¹³ Лурье С. Я. Письмо греческого мальчика. 2-е изд. Л., 1936. 3-е издание – 1940 г. – в основном совпадает с изданием 1930 г. В 1958 г., уже после космополитической кампании 1949 г. и отъезда С. Я. из Ленинграда, Детгиз предпринял новое издание, не уведомив автора и даже исказив его имя и отчество; по протесту С. Я. Лурье ему любезно ответили, что считали его давно умершим. В 1957 г. авторизованная переделка книги была издана на украинском языке (Лист гречского хлопчика. Київ, 1957).

Конечно, он не был писателем и его опыты написания «настоящей беллетристики» – с сюжетными поворотами, прямой речью героев и т. д. – были порой наивными. Но к сюжетному повествованию его вели не ошибочные представления о своих литературных дарованиях, а те черты, которые сближали его с читателями этих книг, – желание узнать, «что было дальше», досказать до конца интересную историю.

Однако главной работой, написанием которой С. Я. занимался с середины 20-х годов, была книга, вышедшая в свет в 1929 г. под названием «История античной общественной мысли». Ряд положений этой книги, сокращенных и обойденных в печатном издании, был изложен более пространно и откровенно в специальном курсе под несколько необычным названием «Социальная палеонтология», прочитанном в Университете в 1925/26 г. Гораздо определеннее высказывалась в этом курсе, в частности, философско-историческая позиция автора.

Мировоззрение С. Я. Лурье в значительной степени сложилось еще в юношеские годы, под сильным влиянием его отца. Мировоззрение это может быть определено как естественно-научный материализм. Отношение его к диалектическому материализму, который становился в те годы официально предписанной идеологией, было довольно сложным. С. Я. плохо знал марксистскую литературу – довольно внимательно штудировал он лишь «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса – книгу, которую Д. Б. Рязанов поручил рецензировать ему для русского научного издания. Рецензия «Энгельс и античность», написанная в 1923 г., оказалась отрицательной – в связи с этим она, естественно, никогда не печатана не была. С. Я. отмечал целый ряд ошибок и устаревших положений в книге, вызванных незнанием Энгельса с принципами уже складывавшегося в то время в немецкой науке источниковедения (*Quellenforschung*) (принятие легендарных известий о Тезее, характеристика Солона, Писистрата), и приходил к выводу, что «наука о классической древности давно перешагнула» через книгу Энгельса. Вместе с тем некоторые черты труда Энгельса, как и вообще исторического материализма, импонировали ему: «перенесение центра тяжести исторического исследования на экономические отношения, создание единого объективного стержня для группировки исторических фактов», вообще детерминизм и материализм.

Вопрос об отношении к историческому материализму был на- сущно важен для С. Я. Лурье в связи с тем, что мировоззрение это наиболее последовательно противостояло другому направлению, значительно усиливавшемуся в западной историографии после Пер-

вой мировой войны и революции в России и Германии, – историческому идеализму. «Два направления, с которыми нам практически придется чаще всего встречаться, – субъективизм и идеализм, с одной стороны, и марксизм – с другой», – замечал С. Я. в курсе социальной палеонтологии. На позиции идеализма встал в своей «Истории античности» Эдуард Мейер; от поисков исторических законов Мейер, как отмечал С. Я., перешел к решительному противопоставлению истории естественным наукам и заявлению, что историческое развитие «не знает никаких законов и не может их знать...».¹⁴ В противовес этому взгляду Мейера С. Я. Лурье исходил из того, что «обобщения и законы есть неотъемлемый атрибут настоящей науки», что «необходимость прибегать к субъективным предпосылкам не есть постоянная особенность истории, а временная печальная необходимость».¹⁵ Отмечая, что идеализм «в такой же мере непроверяем, как и недоказуем», и признавая право любого исследователя отвергать причинность и подходить с идеалистической и телеологической точки зрения не только к истории, но и к любой науке, хотя бы к астрономии, С. Я. возражал только «против нетерпимости этих исследователей, налагающих запрещения на работы тех ученых, которые хотели бы изучать исторический материал по методу наук в обычном смысле этого слова – точных наук».¹⁶

«Мы примыкаем к взгляду, по которому “великих исторических деятелей”, творцов истории, никогда не существовало; общественное развитие движется по своим, не считающимся с волей отдельных лиц законам. Поскольку историческое движение представляет собою сумму бесконечно большого числа отдельных бесконечно малых по своему результату индивидуальных психических толчков, постольку только те из этих толчков, направление которых совпадает с этим движением, являются действительными двигателями исторического развития...» – писал С. Я. Лурье несколько лет спустя в «Истории античной общественной мысли». Идеи детерминизма были усвоены им из трудов Дарвина (которым увлекался и его отец) и известного английского этнолога Дж. Фрэзера. Портреты Дарвина и Фрэзера всегда стояли у С. Я. на столе.

К историческому материализму С. Я. подходил прежде всего как дарвинист: один из вариантов его курса даже начинался с из-

¹⁴ Meyer E. Geschichte des Altertums Bd 1, H. 1. S. 174, – цит. по: *Кавтский К.* Материалистическое понимание истории. М.; Л., 1930. Т. 2. С. 656–657. Ср.: Лурье С. Я. Социальная палеонтология. Курс 1925–26 гг. Л. 53, 92 (рукопись).

¹⁵ Лурье С. Я. Социальная палеонтология. Л. 103.

¹⁶ Там же. Л. 55. Ср.: Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.; Л., 1929. С. 6–7.

ложения теории Дарвина (в той форме, в какой она была известна автору-историку в 20-х годах) и тех проблем, которые возникали в биологии начала XX в., – споров между неodarвинистами и неоламаркистами, вопроса о роли рудиментов в развитии и психике животных. И именно в этой связи в курсе и ставился вопрос об отношении дарвинизма к марксизму. Чтобы уяснить взаимоотношения между этими концепциями, С. Я. предлагал различать «два основных элемента в марксизме: набросанную им схему прошлого, его историческую часть, так называемый исторический, или экономический, материализм, и картину будущего, социализм, его, так сказать, эсхатологическую часть... Поскольку речь идет только об историческом материализме, теснейшая связь этого учения с теорией Дарвина не может подлежать ни малейшему сомнению... Другое дело – взаимоотношения между дарвинизмом и социалистическим идеалом...».¹⁷ Отмечая, что претензии так называемого социального дарвинизма на опровержение социализма несостоятельны (поскольку «якобы дарвинистические доводы против социализма одинаково могут быть применены и для аргументации за сохранение рабства, против демократии и даже вообще против существования закона»), С. Я. признавал, однако: «Если социалистический идеал вполне уживается с дарвинизмом, то, тем не менее, он никак не является неизбежным выводом из последнего...». Соглашаясь, таким образом, с материалистическими основами марксизма, С. Я. отвергал в нем то, что он определял как черты «веры», «так сказать, религиозные элементы». В отличие от марксизма, дарвинизм не предлагает никаких конкретных советов человечеству: «Дарвинизм дает нам объяснение того, что было, но пока не владеет средствами для предугадания будущего...»¹⁸

Своеобразие научного мировоззрения С. Я. Лурье сказывалось, в частности, в той попытке объяснения гибели древнегреческой демократии, которую он предложил в курсе «Социальной палеонтологии» и в «Истории античной общественной мысли». Основанная на конкретном материале античной истории, концепция его в значительной степени отражала те пессимистические настроения, которые возникли у С. Я. под влиянием Первой мировой войны. Логика эволюционного развития демократических стран, столь заманчиво выглядевшая в предвоенных лекциях П. Н. Миллюкова, оказалась несостоятельной. Последующие события еще больше содействовали возрождению настроений 1914–1917 гг., о которых мы рассказывали во второй главе этой книги:

¹⁷ Лурье С. Я. Социальная палеонтология. Л. 57.

¹⁸ Там же. Л. 62, 109.

Спасайте вещи, унесите прочь,
Уже опять грядет средневековье...

Отвергая идеалистическую концепцию Эдуарда Мейера, С. Я., однако, во многом принимал ту общую характеристику античного общества и его места в мировой истории, которую давал этот крупнейший историк античности. Согласно Э. Мейеру, «средневековый строй и крепостная зависимость не только являются следствием тех условий, которые имели место в период развития древности с ее рабовладельческим хозяйством, но и предшествуют ему; они, так сказать, охватывают его с двух сторон... В данном случае мы имеем дело не с единым последовательным процессом, а с двумя параллельными процессами... Если крепостные отношения аристократической эпохи древности, гомеровского периода, соответствуют хозяйственным отношениям христианского средневековья, то рабство последующего периода стоит на равной линии с свободным трудом нового времени и вышло из тех же моментов, что и последний».¹⁹

Принимая мейеровскую параллель античности и нового времени, С. Я. не приходил, однако, к циклической концепции исторического процесса. «Историческое развитие, – писал он, – не может быть графически представлено ни в виде круга, ни в виде винтовой линии, “уходящей ввысь”, а скорее в виде зигзагообразной линии, у которой мы можем констатировать ряд сходных друг с другом подъемов и понижений, но общее направление которой нам совершенно неизвестно».²⁰

Периодическое повторение сходных подъемов и понижений должно было иметь какую-то причину. Соглашаясь с Эдуардом Мейером, что «древний мир погиб не вследствие какого-либо внешнего переворота, а вследствие внутреннего разложения совершенно выработанной и, по своему существу, вполне созревшей культуры»,²¹ С. Я. находил это утверждение верным, но слишком общим.

Кризис греческой полисной демократии С. Я. Лурье объяснял, исходя из важнейшего принципа разработанной им «социальной палеонтологии» – принципа «рудиментарно-традиционного» приспособления общественной психики к новым условиям жизни. Он стремился связать свое понимание истории с дарвиновской теорией эволюции и происхождения человека. Возможно ли такое сочетание? Философам-идеалистам всегда представлялось, что дарвинизм находится

¹⁹ Мейер Э. Рабство в древности. Пг., 1923. С. 25–26.

²⁰ Лурье С. Я. Социальная палеонтология. Л. 88.

²¹ Мейер Э. Экономическое развитие древнего мира. С. 10–11. Ср.: Там же. С. 75–77.

в непримиримом противоречии с сознательным отношением к миру, присущим человеку, с принципами человеческой этики. Хорошо известна острота Владимира Соловьёва по поводу удивительной логики интеллигентов-материалистов: «Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга». Конечно, уже в самом этом навязывании материалистам «странного силлогизма» заключена некоторая передержка: о всеобщем должествовании можно говорить лишь в том случае, если верить, что человек обязан своим происхождением всеблагому и всемогущему божеству; материалист вынужден решать вопрос о своем долге индивидуально – сам для себя. Но парадокс может быть сформулирован иначе: если человек – лишь один из представителей животного мира, то откуда взялись у него альтруистические склонности? Перед нами старая кантовская проблема происхождения «категорического императива» – совести. Этому вопросу и посвящена была, в сущности, работа философа и социолога, которого считали во всем мире наиболее авторитетным истолкователем марксизма, – Карла Каутского.

С сочинениями К. Каутского С. Я. познакомился еще до революции и, в особенности, во время написания книг об античном анархизме. Уже Энгельс в речи над могилой Маркса связывал его с Дарвином, но по-настоящему вопрос об отношении дарвинизма к марксизму был поставлен именно Каутским. Этому вопросу была посвящена специальная работа Каутского «Этика и материалистическое понимание истории». Говоря о наблюдении Дарвина, что «альтруистические чувства не являются особенностью человеческой природы, что они встречаются и в животном мире», Каутский относил это наблюдение к числу «величайших и плодотворных открытий человеческого ума, позволяющих развить и новую картину познания». «Борьбу за существование» со всей природой в совокупности Каутский рассматривал как предпосылку целесообразности, существующей в органическом мире. Говоря о ряде животных инстинктов (инстинкт самосохранения, размножения и т. д.), Каутский выделял «один род инстинктов, имеющих огромное значение для нашей темы: это социальные инстинкты». «Животный инстинкт – вот что такое нравственный закон... Отсюда – и его сила, и его настоятельность, которой мы подчиняемся без рассуждения», – писал Каутский. «Не наша познавательная способность, а наши инстинкты порождают, вместе с нравственным законом, и нравственные суждения, а также чувство долга и совесть».²²

²² Каутский К. Этика и материалистическое понимание истории / Пер. под ред. Ф. Дана. СПб., 1906. С. 51, 61–62, 67 (ссылки на эту книгу содержатся в «Истории античной общественной мысли»).

Перефразируя слова В. Соловьёва, мы можем сказать, что человек имеет склонность любить ближнего потому, что происходит от многих поколений обезьян, живших стадами и выработавших в трудных условиях борьбы за существование необходимые социальные инстинкты. Обобщая свои наблюдения в труде 1927 г., Каутский писал: «Я стремился настолько расширить область материалистического понимания истории, чтобы она вступила в соприкосновение с областью биологии... Я думаю, что общий закон, которому подчинено как человеческое развитие, так и развитие животного и растительного царства, состоит в том, что всякое изменение как обществ, так и видов может быть сведено к изменениям в окружающей среде... Этот закон имеет всеобщее значение, различными же являются те способы приспособления, которые имеют место у различных групп растений, животных и людей».²³

«Способы приспособления человеческого общества к окружающей среде» и были главной темой курса «Социальной палеонтологии». Объяснения крушения античной демократии С. Я. искал в трагической коллизии между реальными общественными условиями в Греции V в. и рудиментарно-традиционным способом приспособления общественной психики к этим условиям. Ссылаясь на французского естествоиспытателя Фабра, он отмечал, что и в животном мире «самые тонкие и усовершенствованные способы приспособления в борьбе за существование при резком изменении внешних условий являются вредным рудиментом... Этот вредный для животного вида способ приспособления, исходящий из несуществующих уже предпосылок... мы называем рудиментарно-традиционным способом приспособления...».²⁴

Основой античной этики был, по определению Ф. Ф. Зелинского, принятому С. Я. Лурье, филономизм – принцип, по которому объектом нравственного чувства является государственная община, полис в противоположность более позднему онтономизму, считающему объектом нравственности человеческую личность. Филономическая психология препятствовала предоставлению гражданских прав жителям иных городов-государств; она побуждала греков цепляться за все более призрачную независимость своих карликовых государств и «автаркию» (самодовление); она поддерживала презрение к свободному наемному труду и убеждение, что общество может жить только за счет труда рабов. Для решения острых обще-

²³ Каутский К. Материалистическое понимание истории. М.; Л., 1930. Т. 2. С. 63.

²⁴ Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.; Л., 1929. С. 11–12.

ственных нужд афинская демократия прибегала к методам, восходившим к старинным трафаретам: к хлебным раздачам и иным формам подкармливания свободной бедноты. «Все это были рудименты, пережитки...» – писал С. Я. в заключительной главе «Истории античной общественной мысли», подводя итоги картине, нарисованной им в курсе социальной палеонтологии и в книге. «И все же их было слишком много, и сидели они слишком глубоко, чтобы их можно было преодолеть. Эти утопленники тащили за собой в пучину живых; греческое общество чувствовало неизбежность гибели и беспомощно билось в предсмертной агонии».²⁵

Крушение античной демократии в конце V в. С. Я. Лурье объяснял косностью общественной психики, социальными рудиментами, «тащившими в пучину» людей античности. Следует отметить, однако, что общая концепция «Истории античной общественной мысли» не отличалась той логической цельностью, какая была присуща предыдущим книгам С. Я. Лурье – «Антисемитизму», «Антифонту» и «Предтечам анархизма». Если общественная психология все же является производной от экономических условий, хотя и отстает от них, то общая линия ее развития должна (с известными поправочными коэффициентами) отражать эту общую линию. Характерно в связи с этим, что в «Истории общественной мысли» нет данного в курсе социальной палеонтологии противопоставления «зигзагообразной линии» с подъемами и понижениями (синусоиды), нарисованной автором, марксистской спирали (винтовой линии), «уходящей ввысь». Но именно этот отказ от схемы «синусоиды» порождал некоторую непоследовательность или неясность построения книги, отмеченную одним из первых ее читателей – историком античной философии И. А. Боричевским.

Иван Адамович Боричевский – мало известная и в значительной степени загадочная фигура в истории русской философии революционной и послереволюционной эпохи. Убежденный материалист, резко критиковавший Н. О. Лосского (и столь же резко осужденный в эмигрантских сочинениях этого философа), И. А. Боричевский вовсе не принадлежал к числу патентованных марксистов из официальных институтов и Коммунистической академии. Страстный поклонник Эпикура и вместе с тем вегетарианец, он был человеком «не от мира сего»; строил свои собственные теории, которые именовались в официальных кругах «боричевщиной» и осуждались едва ли не так же строго, как идеализм. Сущность его взглядов сводилась к признанию несовместимости материализма с какой бы то ни было

²⁵ Там же. С. 392.

философией: приняв постулат о реальности материи, материалист тем самым должен отказаться от всякой метафизики, всяких философских спекуляций; вслед за К. А. Тимирязевым он считал, что «наука сама себе философия».²⁶ Жил И. А. Боричевский в Детском Селе (Пушкине), пробавлялся случайными заработками и умер, кажется, тоже там, во время оккупации Пушкина немцами. Мнение свое об «Истории общественной мысли» И. А. Боричевский изложил в маленькой открытке, написанной на вокзале по дороге в Детское Село. Отметив то, что показалось ему в книге «превосходным», – нарисованную автором «внутреннюю драму Эллады», «драму повседневную, скучную даже – но зато настоящую», он выделил главный недостаток книги: «Общественные рудименты из временного тормоза преобразовались у Вас в тормозы безусловные».²⁷ Это, пожалуй, было справедливо. Легко заметить также, что и самое понятие общественных рудиментов у автора двоилось – это и биологические рудименты (скажем, воинственность, как черта мужских особей, возникшая в борьбе за самку), и собственно социальные пережитки (филономическая «полисная» психология, консервативная юридическая фикция).

Однако последствия, которые имел выход книги в свет, отнюдь не определялись ее логическими и научными недостатками. Судьба книги и ее автора оказывалась связанной с куда более широкими явлениями, ставшими особенно отчетливыми в момент выхода книги в свет.

«История античной общественной мысли» была опубликована в 1929 г.; предметом обсуждения она стала в начале следующего года. В историю нашей страны 1929 год вошел под наименованием «года Великого перелома». «Великий перелом» происходил, впрочем, не только в течение 1929 г. И охватывал он не только промышленность, не только сельское хозяйство, но и духовную жизнь страны. Грандиозные планы индустриализации требовали энтузиазма и борьбы с врагами этого великого дела. Первым веянием новой эпохи были процессы вредителей, начавшиеся с так называемого шахтинского дела 1928 г. (потом последовали другие аналогичные процессы – Промпартии и т. д.). Но основой «великого перелома» была прежде всего сплошная коллективизация.

²⁶ *Боричевский И. А.*: 1) Введение в философию науки. Пг., 1922. С. 100–101; 2) Древняя и современная философия науки в ее предельных понятиях. М.; Л., 1925. Ч. 1. С. 88–94. Ср.: *Балмель Гр.* На философском фронте после октября. М.; Л., 1929. С. 123; *Чагин Б. А., Клушин В. И.* Борьба за исторический материализм в СССР. Л., 1975. С. 146.

²⁷ Письмо Боричевского от 25 января 1930 г.

Летние месяцы С. Я. с семьей проводил обычно в Белоруссии, под Могилевом. У местных крестьян коллективизация сразу же получила традиционное историческое наименование «пригон»: так в Белоруссии в XIX в. именовали крепостное право. Исконно нищие, белорусские деревни не испытали такого всеобъемлющего разорения, как земли соседней Украины. Огромные толпы украинцев, которых здесь звали почему-то «пупырями», шли через Белоруссию на север и безуспешно просили милостыню у местных, тоже достаточно голодных, крестьян.

Эмоциональное восприятие этих событий было у С. Я. определенным и недвусмысленным – оно получило выражение в стихах, которые могут быть определены как «вариации на тему мата». Но, как историк, он стремился и к рациональному, социологическому их осмыслению. Оно также сложилось у него достаточно рано – в конце 20-х годов. Опыт древней истории, в особенности истории древнего Востока, говорил ему о том, что огосударствление всего хозяйства не есть еще его обобществление.²⁸ Систему, складывающуюся на его глазах, он рассматривал не как социализм, а как государственственный капитализм.

Каковы были источники его взглядов? Русские меньшевики, по-видимому, не предлагали такого определения. Наиболее близкий источник этих взглядов, очевидно, тот самый автор, к которому С. Я. обращался в своем курсе социальной палеонтологии, – К. Каутский. «Длительное существование диктатуры в качестве нормального государственного состояния является доказательством большой слабости пролетариата, а тем самым, доказательством его временной неспособности заменить капиталистическое производство социалистическим», – писал Каутский.

Прямо ссылаясь на то, что «случилось в России в 1917 г.», Каутский предсказывал, что такая экспроприация буржуазии «при данных условиях не может привести к организации социалистического производства», а должна закончиться – в той или иной форме – возвратом к капиталистической системе. «Если подобный режим не желает отказаться от крупного производства в промышленности, что было бы явным банкротством не только в экономическом, но и в военном отношении, ему остается выбор между государственным капитализмом и капитализмом частным».²⁹ Это было написано еще в 1927 г. в книге, доступной С. Я.

²⁸ Ср.: *Лурье С. Я.* История античной общественной мысли. М.; Л., 1929. Примеч. на с. 288–289.

²⁹ *Каутский К.* Материалистическое понимание истории. М.; Л., 1930. Т. 2. С. 469

и в немецком оригинале, и затем в русском переводе (перевод второго тома книги, где содержатся приведенные строчки, вышел в свет в СССР в 1930 г.). Чтение и получение иностранных изданий (кроме эмигрантской литературы) было тогда еще довольно свободным; таким образом, С. Я. имел полную возможность познакомиться с мнением Каутского. В 1927 г. Каутский, как мы видели, еще не мог предсказать, какая из двух форм капитализма имеет больше шансов на будущее.

До 1929 г. будущее страны казалось неясным и русским наблюдателям. 1920-е г. были как раз временем внутрипартийных споров о возможности построения социализма в одной стране; «сменовеховцы» говорили о неизбежности восстановления буржуазных отношений в России; меньшевики надеялись на то, что нэп приведет не только к либерализации экономики, но и к установлению хотя бы ограниченной политической демократии. С. Я. мало интересовался партийной дискуссией тех лет, но эти споры не могли не привлечь его внимания. Трудно отделаться от мысли, что кое-какие общие рассуждения в «Истории античной общественной мысли» относятся не только к античности. Говоря об «аграрной революции в Афинах» в VI в. до н. э., породившей диктатуру Писистрата, который, «повинуясь воле взбешенного, разъяренного атического крестьянства, нанес старой земельной аристократии смертельный удар»,³⁰ С. Я. Лурье, конечно, имел в виду прежде всего реальные факты античной истории. «Историк должен начать с чисто филологического изучения материала, не думая ни о каких обобщениях...» – подчеркивал он в книге.

К своей концепции истории VII–VI вв до н. э. он пришел в результате исследования источников – эпиграфического материала, литературных памятников (Архилох, Алкей), «Афинской политики» Аристотеля. Но восстанавливая древнейшую историю Афин, С. Я. не мог (да и не хотел) отказываться при этом от поисков «недостаточно известных нам, но вполне точных законов», которые имеют силу не только в прошлом, но и в настоящем. «Реформы Писистрата имели... вряд ли желательный для него результат: создание в Аттике могущественного класса зажиточных крестьян». В результате «железная диктатура» Писистрата уже при его детях стала препятствием к развитию страны – «тогда как для свободной торговли в крупном масштабе необходимо было прочный закон, гарантирующий неприкосновенность собственности и независимый суд»; поскольку Писистратиды не удовлетворили этих настоятельных тре-

³⁰ Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.; Л., 1929. С. 116–117.

бований времени, их свержение после выступления Гармония и Аристокитона оказалось исторически оправданным.³¹

«По нашему мнению, – писал С. Я., – задача политического деятеля должна состоять не в том, чтобы задаваться несбыточным стремлением “вести за собой” массы, а в том, чтобы в твердом сознании закономерности исторических событий стараться угадывать задолго вперед стремления этих масс и идти за ними».³² И в этом случае мы не можем не вспомнить Каутского. Подчеркивая, что всякий общественный переворот бесперспективен, пока новые «материальные условия» не созреют «в недрах старого общества», немецкий марксист писал: «Познание этой истины является серьезной преградой для всякого утопизма. Непонятно, как могут существовать сторонники исторического материализма, которые игнорируют в своей практике это фундаментальное положение». Легко заметить, что это было как раз предостережением против того, что С. Я. определял как попытки «вести за собой массы». «Если... новые отношения не созрели, они не могут удержаться, – писал Каутский, – ...они превратятся в источник мучений и распадутся, несмотря на все декреты и всякого рода терроризм, которым захотят заменить отсутствие исторических предпосылок для новых производственных отношений».³³

Итогом революции 1917 г. было уничтожение помещичьего землевладения и наделение крестьян землей; по известному замечанию Д. Б. Рязанова, проблема была «решена по-мужицки, по-солдатски». Середина 20-х годов действительно была временем наибольшего развития крестьянского хозяйства. Но мечтать о возможности отмены «железной диктатуры» и о «народном правлении» можно было только до 1929 г., когда «История античной общественной мысли» вышла в свет. С началом коллективизации и индустриализации становилось ясным, какая из двух альтернатив, намеченных Каутским, оказывалась более реальной.

«Великий перелом» не мог не сказаться и на той гуманитарной среде, к которой принадлежал С. Я. Лурье. Классового врага искали не только в промышленности. По всем учебным заведениям проходили «перевыборы профессоров»; руководил «перевыборами» А. Я. Вышинский – будущий прокурор, ведавший тогда вузовскими делами. Сам Вышинский самокритично признавал достигнутые им результаты чистки далеко не достаточными («в большинстве случаев перевыборы проводились кабинетным поряд-

³¹ Там же. С. 115–118.

³² Там же. С. 116.

³³ *Каутский К.* Материалистическое понимание истории. М.; Л., 1930. Т. 2. С. 624–625.

ком»),³⁴ но об их масштабах свидетельствовал уход целого ряда профессоров университета, объявленных «немарксистами». В 1929 г. произошел знаменитый «академический инцидент», когда Академия (едва ли не единственное в то время учреждение, где еще практиковалось тайное голосование) из числа нескольких предложенных ей кандидатов-марксистов забаллотировала трех. Поднялась широчайшая кампания – на этот раз требовали не исключения одного академика, как в случае с Жебелёвым, а преобразования всей Академии, чистки ее рядов, замены состава. И Академия в целом поступила так же, как перед этим С. А. Жебелёв, – капитулировала. Забаллотированные кандидаты были вновь поставлены на голосование и избраны (один из них вскоре умер, другой несколько лет спустя погиб как «враг народа»). С этого времени и на много лет избрание в Академию официальных кандидатов – подобных Лысенко или Корнейчуку – стало чисто автоматическим актом.

За «академическим инцидентом» последовало «платоновское дело». Был арестован академик С. Ф. Платонов – один из виднейших русских историков. В прошлом – монархист, С. Ф. Платонов держался в 20-х годах весьма лояльно и занимал ряд административных должностей в Академии наук (был, в частности, директором Пушкинского Дома). Поводом для ареста было хранение каких-то недозволенных материалов в Пушкинском Доме. Но целью было уничтожение целого пласта старой профессуры. Дело Платонова стало толчком для целой волны арестов среди историков. Примерно в то же время был сослан виднейший историк совсем иного, чем Платонов, направления – Е. В. Тарле (близкий до революции к социал-демократам). Неизвестно, были ли формально связаны дела Платонова и Тарле – но уже год спустя на специальном заседании ленинградского отделения Комакадемии вредительство Платонова и Тарле на историческом фронте обсуждалось как единое дело.³⁵

Волна репрессий не миновала и античников. В числе арестованных в 1929–30 гг. был эллинист и византинист В. Н. Бенешевич; С. А. Жебелёв избежал ареста, однако на уже упомянутом заседании Комакадемии Тарле ставилось в вину и то, что он блокировался с «махровым черносотенцем Жебелёвым» и в 1928 г. «единственный отказывался голосовать против Жебелёва». Среди лиц, занимавшихся классической филологией в 20-х годах, был

³⁴ Ленинградский студент (орган бюро Пролетстуда – пролетарского студенчества). 1929. № 2. 7 нояб.

³⁵ Проблемы марксизма. 1931. № 3. С. 86–126. (Отчет о докладах Г. Зайделя и М. Цвибака и прениях). Более полный отчет об этом заседании был опубликован в специальном сборнике: Классовый враг на историческом фронте (Л., 1931).

А. Миханков, человек, по-видимому, очень талантливый, но психически ненормальный. Вместе с другими филологами – А. Н. Болдыревым, А. И. Доватуром и А. Н. Егуновым – он составлял небольшой научный кружок, подписывавший свои коллективные труды анаграммой АБДЕМ. Вскоре Миханков был арестован: среди его бумаг был найден совершенно фантастический список составленного им кабинета министров (в качестве министра двора был включен И. И. Толстой – с пометкой: «хотя и жидо-масон, но знаком с придворным церемониалом»). Невменяемость Миханкова была очевидна; он и прежде состоял на психиатрическом учете; но некоторые психиатры понимали и тогда свой врачебный долг довольно своеобразно. В 20-х годах это проявлялось в готовности объявить явно больного человека здоровым – к такому заключению относительно Миханкова пришел психиатр профессор Осипов. Миханков и его друзья были осуждены на длительные сроки; А. И. Доватур, арестованный в 1937 г., и А. Н. Егунов, впервые арестованный еще в 1933 г., получили возможность вернуться к науке лишь после 1953 г.

Все эти события имели прямое отношение и к С. Я. Лурье. Мы уже упоминали о его «автонекрологе», где говорится, что еще до 1930 г. «он почти ежегодно удалялся из Университета». Было ясно, что долго продержаться в таком положении ему не удастся. Что же следовало делать? В конце 20-х годов С. Я. уже не был юношей, начинающим жизнь, как в 1908–1913 гг.; он имел довольно значительное научное имя и мог бы, вероятно, работать по специальности и за границей. В 1928 г. в Осло происходил очередной Всемирный съезд историков. По уставу, Международный исторический комитет сам приглашал на съезд некоторых наиболее известных историков – в числе приглашенных был и С. Я. Лурье (его доклад был помещен в трудах Конгресса). Но в делегацию, официально посланную из Советского Союза, его не включили – практически это означало, что он мог ходатайствовать о командировке за собственный счет. Однако С. Я. отказался от такой попытки, и причиной этому было не столько выраженное ему недоверие, сколько то тяжелое положение, в котором он оказался бы при встрече с рядом коллег на конгрессе – и особенно с М. И. Ростовцевым. Нужно было ясно определить, с кем солидаризироваться – с М. Н. Покровским (главой советской делегации) или с М. И. Ростовцевым. Никакой нейтралитет не был возможен. Но последний выбор предполагал невозвращение на родину и эмиграцию – а без семьи С. Я. никогда бы на это не пошел.

Реальна ли была легальная эмиграция – с семьей? Некоторые возможности для нее до 30-х годов еще существовали – и одну попытку в этом направлении С. Я. предпринял. В Австралии жил дя-

дя его жены, согласившийся прислать своей племяннице и ее мужу приглашение приехать к нему. Но сестра австралийского дяди, теща С. Я. (к которой он никогда не испытывал симпатии), воспрепятствовала этой поездке, заявив, что никогда не расстанется с «любимой Сонечкой» (она не подозревала, что расстаться все же придется весьма скоро – всего через три года). Эмиграция, таким образом, не состоялась, и дальнейшая судьба С. Я. оказалась в прямой зависимости от сложных перипетий внутренней жизни страны.

В январе 1930 г. в Ленинградском отделении Комакадемии (Институт истории ЛОКА) состоялось развернутое обсуждение книги С. Я. Лурье «История античной общественной мысли». Обсуждение заняло три больших заседания и было весьма бурным. Основными докладчиками были А. И. Тюменев и С. И. Ковалёв. Они принадлежали к несколько иной группе научных деятелей, чем В. В. Струве и Б. Л. Богаевский, хотя в конце 20-х годов постоянно выступали совместно с этой группой. Оба докладчика не имели специального образования в области античности. Общей чертой Ковалёва и Тюменева был также давний, зародившийся еще до революции, интерес к марксизму. Ковалёв был даже в первые годы революции членом партии, но каким-то образом выбыл из нее во время Гражданской войны. Оба они считались как бы полупартийными лицами – официальными марксистами.

Книга С. Я. Лурье раздражала участников обсуждения многими чертами: основная схема ее была скорее пессимистична, чем оптимистична, не ощущалось веры в прогресс, не было никаких признаков диалектики. Но противопоставить исторической схеме автора какую-либо иную, ортодоксально-марксистскую схему было не так легко, как может показаться теперь. Сегодня в представлениях советских интеллигентов – как считающих себя марксистами, так и яростно марксизм отвергающих – марксистская концепция истории – это, прежде всего, теория сменяющих друг друга исторических формаций: доклассовое общество, рабовладение, феодализм, капитализм, социализм; переход от одной формации к другой – социальная революция.

Отказ от марксизма означает в первую очередь отказ от теории формаций, от веры в периодичность и неизбежность революций. Даже Зеев Кац, еврейско-польский социолог, получивший образование в Советском Союзе, решительно отождествляет исторический материализм с теорией формаций. А между тем у Маркса нет такой теории формаций. Все, что мы находим у него по этому вопросу, – это очень неопределенное указание на то, что «в основных чертах в качестве прогрессивных ступеней экономического развития общества можно назвать азиатский, античный, феодальный и современ-

ный буржуазный способы производства». ³⁶ Упоминание «азиатского способа производства», определяемого не по хронологическому, а по географическому признаку (Маркс в «Капитале» специально отмечал «неизменность азиатских обществ»), ³⁷ особенно ясно обнаруживало условность этой схемы и ее минимальное значение в общей концепции исторического материализма.

В 20-х годах, когда С. Я. читал свой курс и готовил книгу, знакомая нам схема смены формаций еще не существовала – мы увидим, как и когда она была создана. Не имея собственной, более оптимистичной схемы античной истории, оппоненты С. Я. Лурье могли, однако, без большого труда найти тот или иной повод для осуждения его концепции. Поводов таких С. Я. дал немало – мы уже упоминали, например, его рассуждения о невозможности для политических руководителей «вести за собой массы» и необходимости для них приспособляться к стремлениям масс. А. И. Тюменев не преминул выразить свое неодобрение по поводу утверждения автора книги, что в истории, «как и в биологии, процесс общественного приспособления совершается с крайней медлительностью и слишком большая ломка может создать резкое несоответствие между общественной психикой и экономическими условиями».

Главным предметом осуждения стал другой грех С. Я. Лурье: его «биологизм». Доклад А. И. Тюменева так и назывался: «Биологизм под маской марксизма». Особенно возмущало докладчика то обстоятельство, что в книге С. Я. Лурье «самое понятие экономических условий толкуется в биологическом смысле» и «весь исторический процесс представляет, таким образом, не более как процесс приспособления» (к «приспособлению к окружающей среде» сводил, как мы знаем, процесс общественного развития и К. Каутский, но для А. И. Тюменева в 1930 г. он, естественно, уже не был авторитетом). Настаивая на том, что Лурье «не только внутренне, но и внешне чужд марксизма», докладчик приводил следующий неотразимый довод: «Если бы он был марксистом или, по крайней мере, хотел быть таковым, мы бы его видели в стенах нашего учреждения и нашей секции».

«Подводя итоги, нельзя не признать, что Лурье в своем роде последователен. Однако именно эта последовательность губительным образом сказывается на его работе...» – заявил А. И. Тюменев. В заключительном слове он высказал свою мысль еще энергичнее: «В марксистской школе все время был виден биолог».

³⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 7.

³⁷ Там же. Т. 23. С. 371.

В своем «Автонефрологе» С. Я. среди участников этого обсуждения называл, кроме Тюменева и Ковалёва, еще и В. В. Струве.

Ответное слово С. Я. Лурье чрезвычайно шокировало аудиторию. Шел 1930 год, уже были разгромлены левая и правая оппозиции, и почти все их участники признали свои ошибки и отмежевались от них. Так же поступали обычно и представители интеллигенции, уличенные в каких-либо идеологических ошибках, – вспомним историю с Жебелёвым и «академический инцидент». Соломону Яковлевичу было тем более легко проявить необходимую самокритичность, что и обвинение против него было выставлено далеко не самое страшное – «биологизм».

Но С. Я. такой самокритичности не проявил. В выступлениях против его книги его больше всего возмутило то, что ему настойчиво приписывалась «окраска в защитный цвет марксизма», «марксистская шкура» для прикрытия биологического естества, вообще неискренность и жульничество. А между тем в «Истории общественной мысли» он нигде не объявлял своих воззрений марксистскими: он указывал лишь, что «довольно часто высказываемый» взгляд, согласно которому социально-психологические переживания данного момента непосредственно зависят от экономических условий этого момента, «есть не исторический материализм, а вулгарный экономический материализм».³⁸ В отличие от таких его оппонентов, как Б. Л. Богаевский, он не знал за собой грехов, которых нужно было стыдиться или скрывать. Странный стиль полемики против него С. Я. прямо связывал с той кампанией, которая уже приводила к его увольнению из Университета в предшествующие годы. Вовсе не настаивая на бесспорных научных достоинствах своей книги, он отмечал, однако, что его оппоненты, игнорируя ее научный аппарат и аргументацию, в сущности, не отметили и не могли указать действительных недостатков работы.

Книга С. Я. Лурье была резко осуждена ленинградским отделением Коммунистической академии. В «Отчете о работе Института истории ЛОКА за 1929–30 гг.» говорилось, что «в текущем году был проведен ряд докладов, направленных против Ростовцева и против антимарксистской вылазки С. Я. Лурье».

И все же это обсуждение едва ли ощущалось его организаторами как полная удача – недаром А. И. Тюменев признавал, что «Лурье в своем роде последователен»; недаром обсуждение вместо идейного торжества приходилось завершать жалобами на неуважительное отношение автора книги к оппонентам. Спор не со-

³⁸ Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.; Л., 1929. Примеч. на с. 9–10.

стоялся ни в конкретно-научном, ни даже в чисто «проблемном», логическом плане. Объяснение гибели греческого общества, «внутренней драмы Эллады», предложенное С. Я. Лурье, могло быть неубедительным, но своего объяснения этой гибели его оппоненты не предлагали. Ведь и с их тогдашней точки зрения падение античного общества не означало замену его более прогрессивным; мейеровская идея о феодализме, охватывающем античное рабовладение с двух сторон (и в прошлом и в будущем), и у них еще не вызывала возражений. С. И. Ковалёв так прямо и заявлял в одном из своих научно-популярных трудов: «Основные общественные формы неизменно повторяются в истории всех человеческих обществ. Например, феодализм... существовал и в Древнем Египте, и в Греции, и в Китае, и в Западной Европе, и в России... Вот почему нельзя изучать историю человеческого общества вообще, а можно изучать только историю каждого человеческого общества и каждой страны в отдельности».³⁹

Но для создания последовательной марксистской теории исторического процесса нужно было построить именно «историю человеческого общества вообще». Эту задачу и поставило перед собой своеобразное учреждение, роль которого в становлении советской историографии еще недостаточно оценена, – ленинградская Академия материальной культуры, сокращенно ГАИМК или Акмакульт. Официальным главой его был академик Н. Я. Марр (в связи с чем название ее иронически расшифровывалось «Академика Марра культ»), но заправляли им партийные работники, такие как Г. Зайдель, А. Пригожий, М. Цвибак, С. Томсинский (будущие жертвы конца 30-х годов), а участвовал в его работе ряд научных или околонучных деятелей, в том числе знакомые нам С. И. Ковалёв, А. И. Тюменев, В. В. Струве, Б. Л. Богаевский и другие. Непрерывно шли дискуссии, в ходе которых каждый из участников выступал в роли истинного адепта революционного марксизма, и идеологические обвинения почти не отличались от политических доносов. Недаром Акмакульт в научных кругах Ленинграда именовали «Хулилищем».

В области античности 30-е годы были ознаменованы не столько борьбой с «антимарксистскими вылазками» посторонних лиц, сколько перестройкой и преодолением концепций самих авторов, еще недавно считавшихся марксистскими. А. И. Тюменев, ставший в 1932 г. академиком, ознаменовал 15-летие Октября обзорной статьей, в которой указывал, что все советские работы предшествующих лет, и в том чис-

³⁹ *Ковалёв С. И.* Всеобщая история в популярном изложении. Древний мир. Л., 1925. Ч. 1. С. 7–8.

ле его собственные, «не стояли еще на должной марксистско-ленинской высоте. Основной вопрос об античном обществе как определенной формации, развивающейся по своим особым законам и занимающей свое определенное место в ряду других прогрессивных общественных формаций, в этих работах не только не решался, но и не ставился». Такого рода собственные идеологические погрешности могли, казалось бы, побудить А. И. Тюменева отнестись более снисходительно к недавно раскритикованному им автору. Однако А. И. Тюменев не только этого не сделал, но специально добавил, что «обширная и чрезвычайно претенциозная работа С. Я. Лурье» стоит «совершенно особняком» в советской историографии, ибо Лурье «подменил последовательную историко-материалистическую точку зрения Маркса чистейшим биологизмом, против чего решительно протестовал сам Маркс».⁴⁰

Сам Маркс, решительно протестовавший из могилы против биологизма С. Я. Лурье, вероятно, с интересом наблюдал за тем, что делали его адепты из Акмакульта. Ибо там создавалась совершенно новая теория исторического процесса, которая не очень считалась с фактами мировой истории, но которой, во всяком случае, нельзя было отказать в стройности. История укладывалась в рамки пяти формаций – одна прогрессивнее другой. С «азиатским способом производства», путавшимся в ногах рабовладельческой и феодальной формаций, необходимо было покончить. Европоцентризм, в какой-то степени всегда присущий марксизму, был доведен до логического конца. Востоковедам поручено было срочно разобратся в социальном строе подведомственных им государств и обществ и зачислить каждое из них в какую-нибудь подходящую формацию – в рабовладение или в феодализм. По отношению к Древнему Востоку эту ответственную задачу выполнил историк Древнего Востока Василий Васильевич Струве. Отличия месопотамского и египетского строя от античного рабовладения – государственная собственность на землю и крестьян, собственные наделы у земледельцев – были признаны несущественными; отныне на Древнем Востоке устанавливалось рабовладение, хотя и с второстепенными местными особенностями. Для В. В. Струве вся эта история имела не только всемирно-историческое, но и немалое личное значение. В 1934 г. В. В. опубликовал свою работу о рабовладении на Востоке, а спустя год создатель древневосточного рабовладения был избран в академики.

⁴⁰ Тюменев А. И. Наука об античности за 15 лет // Сообщения ГАИМК. 1932. № 9–10.

Теории пяти формаций, разработанной в ленинградской Академии материальной культуры, выпало на долю богатое будущее. Этой теории на многие десятилетия предстояло сыграть по отношению к марксистской теории исторического процесса ту же роль, какую сыграли решения вселенских соборов по отношению к христианству. Правда, здесь существовало и важное посредствующее звено – спустя несколько лет теория эта была включена в состав книги, ставшей на два десятилетия даже не священным преданием, а скорее частью Писания, – в состав «Краткого курса истории ВКП(б)». В четвертой главе книги, той самой, авторство которой приписывалось непосредственно Сталину, говорилось: «Истории известны пять основных типов производственных отношений: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический».⁴¹ Отныне это учение стало рассматриваться как органическая часть марксизма – не только в глазах его советских и просоветских предшественников, но и для многих из числа тех, кто считал себя его противниками и критиками.

Но разделение на формации было только частью стоящей перед историками задачи. Если вся история – цепь следующих одна за другой антагонистических формаций, то как происходит смена этих формаций? Буржуазная революция покончила с феодализмом, пролетарская на глазах у современников кончала с капитализмом. Что же произошло с рабовладением? Здесь научная мысль ГАИМК застревала на полпути. Даже в начале 1933 г. С. И. Ковалёв писал, что программа рабских восстаний, «поскольку она вообще существовала, была чисто реакционной. Победа рабов означала бы шаг назад... Все крупные восстания рабов падают на период расцвета рабства... А в дальнейшем кривая восстаний идет на снижение...»⁴² Та же мысль развивалась и в специальной работе «К проблеме разложения рабовладельческой формации» молодого аспиранта Ковалёва – Л. Л. Ракова. Кончалась брошюра Ракова рассуждением о неспособности рабских восстаний перейти в революцию. 10 января 1933 г. она была подписана горлитовским цензором к печати. Приступили к печатанию тиража. Но 20 февраля, по воспоминаниям самого Л. Л., его разбудили ночью и предложили с рассветом немедленно явиться в ГАИМК. Накануне, 19 февраля, на съезде колхозников-ударников, подводившем итоги коллективизации, выступил живой классик марксизма и в

⁴¹ История ВКП(б). Краткий курс. Одобрено ЦК ВКП(б). 1938 г. М., 1955. С. 119.

⁴² Ковалёв С. И. Об общих проблемах рабовладельческой формации. Л., 1933. С. 31–32. (Изв. ГАИМК; Вып. 64).

несколько неожиданном историческом экскурсе объяснил, что «революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся».⁴³

Сам Л. Л. Раков называл впоследствии эти дни «Десятью днями, которые потрясли рабовладельческий мир». Тираж книги Ракова был задержан; последняя страница, где существование революции рабов отрицалось, была вырвана и заменена новой. Но и на этой новой странице еще не было гениального высказывания о революции рабов:⁴⁴ наполнить его фактическим материалом за несколько дней было невозможно. За это дело взялся учитель Ракова – С. И. Ковалёв. Историки науки недостаточно ценят Сергея Ивановича Ковалёва, так и не ставшего, в отличие от Тюменева и Струве, академиком. Но именно С. И. Ковалёв сумел сделать такое, что было не под силу даже Струве и Тюменеву. Меньше года понадобилось ему, чтобы создать самую великую и самую необыкновенную революцию в человеческой истории.

Еще в начале 1933 г. он начисто отрицал революцию рабов, а в конце этого года вышла в свет его статья, где революция эта была не только открыта, но и точно локализована во времени. Раньше С. И. Ковалёва смущало, как мы видели, то обстоятельство, что все крупные рабские восстания происходили не в конце рабовладельческой формации, а в период ее расцвета. Теперь он преодолел это затруднение. Где сказано, что революция должна происходить в течение какого-то определенного промежутка времени – скажем, трех или десяти лет? Буржуазная революция в новое время продолжалась свыше 100 лет. В античности, естественно, все это было еще длительнее. Революция рабов, действительно, началась в период расцвета рабовладения – во II–I вв. до н. э., но продолжалась она вплоть до конца V в. н. э. и, следовательно, длилась 700 лет. Естественно, что такая продолжительная революция должна была делиться на отдельные фазы. Первая ее фаза относилась к II–I вв. до н. э. и, в свою очередь, делилась на четыре волны или вспышки, вторая охватывала конец II–V в. н. э. Восстание Спартака было, например, 4-й вспышкой 1-й фазы революции рабов.⁴⁵ Четко и исчерпывающе (как любил выражаться сам Ковалёв)!

⁴³ *Сталин И. В.* Вопросы ленинизма. М., 1934. С. 527.

⁴⁴ *Раков Л. Л.* К проблеме разложения рабовладельческой формации. Л., 1933. С. 49–50 (страница подклеена). (Изв. ГАИМК; Вып. 66).

⁴⁵ *Ковалёв С. И.*: 1) Классовая борьба и падение античного общества // Из истории докапиталистических формаций: Сб. ст. к 45-летию акад. Н. Я. Марра. М.: Л., 1933 (подписано к печати 14 дек. 1933 г.). С. 345–351; 2) Проблема социальной революции в античном обществе // Карл Маркс и проблемы истории докапиталистических формаций: К 50-летию смерти К. Маркса. М.: Л.,

Комический характер бурной деятельности своих бывших гонителей С. Я. Лурье осознал уже позже (он даже описал его в небольшом рассказе). Но в начале 1930 г., после проработки в ЛЮКА, ему было не до шуток. Его уже не раз увольняли из Университета; теперь уволили окончательно. Весной 1930 г. гуманитарные факультеты в университете были ликвидированы. Вопрос о трудоустройстве преподавателей-гуманитаров решался по-разному: для тех коллег С. Я., которые работали в ГАИМКе, в Институте истории ЛЮКА и других подобных заведениях, этот вопрос не стоял остро. Но С. Я. оказался без работы. Он не сразу еще понял свое положение и не сразу решил расстаться с гуманитарными науками. Спустя год после закрытия ямфака и увольнения С. Я. из Университета, в Ленинграде, как и в Москве, было основано новое высшее учебное заведение, включавшее в свой состав гуманитарные факультеты Университета. Оно называлось ЛИЛИ или ЛИФЛИ – Институт литературы и истории (с добавлением еще философии). О факультете истории С. Я. Лурье после 1930 г. нечего было и думать, но существовал еще факультет (или отделение) литературы и на нем – кафедра классической филологии. Возглавляла эту кафедру Ольга Михайловна Фрейденберг, ровесница С. Я., окончившая Петроградский университет в 1922 г.

Как и историки, с которыми С. Я. пришлось столкнуться в предшествующие годы, О. М. Фрейденберг была последовательницей Н. Я. Марра – и даже более рьяной, чем упомянутые выше лица. Марр поддержал О. М. в ее трудах – под его прямым давлением она получила впоследствии ученые степени кандидата и доктора наук. Но характер ее научных интересов был иным, чем у марристов-историков, и самый образ ее в науке воспринимается сейчас совершенно иначе, чем образы этих лиц. Для таких людей, как С. И. Ковалёв и В. В. Струве, яфетическая теория была прежде всего одной из форм марксистской идеологии, обращение в марризм в конце 20-х годов было выражением идеологической лояльности. О. М. Фрейденберг приняла идеи Марра более искренно, но ее привлекали не собственно лингвистические его построения (лингвистика не была ее специальностью), а идея «иногочленного мышления» людей разных эпох и различных общественных групп.

Ключом к подлинно научному пониманию литературы прошлого, вытекающему из «революционного слома старых методов и методик работы», было для О. М. Фрейденберг представление об особом мыш-

1934 (подписано к печати 10 февр. 1934 г.). С. 295–297, 327–328. Подобная история революции рабов с членением на фазы и вслышки излагалась в вузовском учебнике: *Ковалёв С. И.* История античного общества. Л., 1936. Т. 1 – 2. С. 164–225, 263–268.

лении «древних рабовладельцев». Сознание «древних рабовладельцев» она считала «прелогическим», «диффузным», вообще принципиально отличным от нашего. Мышление их было, по ее словам, лишено самостоятельности и беспомощно «в выработке новых творческих путей». Замедленность действия и «прием ретардации» (возвращения к прошлому) в античной трагедии вовсе не были художественными приемами, как в новой литературе, а были следствием того, что древнее сознание «настолько безучастно к качественным изменениям времени, что не замечает его разноречия и располагает события во временной бесперспективности... Сознание не сразу расчленяет время; оно не видит пространства в дали и в “воздухе”, не воспринимает подлинной последовательности во времени...» Нет в древнем искусстве и метафор – такие образы, как «железное небо» суть отождествления («небо из железа»), а не поэтические переносы понятий. Нет и нашего представления о комическом, как связанном со смехом и осмеянием: комедия – сакральное действие, и «между формами древней и новой комедии нет никакого сходства, несмотря на преемственность в интерпретации одних и тех же образов».⁴⁶

С. Я. Лурье все это было совершенно чуждо. Он также, занимаясь социальной палеонтологией, стремился «понять способ мышления древних веков», но вкладывал в это понятие совсем иной смысл, чем марристы. Роль рудиментов в социальной психологии людей прошлого была для С. Я. Лурье вполне аналогична роли рудиментов в сознании современного человека. В незавершенной статье о «Теории рудиментов» он писал, что его выводы совершенно несовместимы с допущением, «что у первобытного человека был принципиально иной логический аппарат, чем у нас», с допущением того, «что первобытный человек не различал противоположностей, что он обозначал одинаковыми или родственными названиями предметы, практическое значение которых в жизни различное», и заявлял, что «об этом антидарвинистическом, антинатуралистическом допущении» он выскажется специально (к сожалению, это специальное рассуждение не сохранилось).

Еще резче высказана эта мысль в «Истории античной общественной мысли», где говорится, что изучение истории не только допускает, но и требует аналогий с современностью: «Без таких аналогий никакая серьезная историческая работа невозможна: как о чужой духовной жизни мы можем заключать только по

⁴⁶ Фрейдберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936. С. 301–304. Ср.: Фрейдберг О. М. Фольклор у Аристофана: Сб. в честь С. Ф. Ольденбурга. Л., 1932. С. 549–560.

аналогии с нашей, единственно доступной непосредственному наблюдению, так и о духовной жизни прошлых эпох мы можем заключать только по аналогии с духовной жизнью нашей, единственно нам непосредственно понятной эпохи».⁴⁷ Действительно, исследователь XX в., предполагающий у писателя прошлого принципиально иную логику и эстетику и отказывающийся от аналогий, тем самым закрывает не только для других, но и для себя возможности эстетического восприятия древней литературы.

Связь трудов О. М. Фрейденберг с «палеонтологическим методом» Н. Я. Марра была настолько органична, что неожиданно объявленное в 1950 г. по воле Сталина осуждение марризма сказалось на ее судьбе; с начала 50-х годов она попала в положение гонимой. После 1950 г. работы О. М. Фрейденберг (умершей в 1955 г.) остались частью неопубликованными и лишь теперь входят в научный оборот. Они возвращаются в науку вместе с неопубликованными трудами Тынянова и других литературоведов-формалистов, к которым С. Я. Лурье относился с сочувствием. Однако по своим взглядам О. М. Фрейденберг не имела ничего общего с формалистами — напротив, она была им резко враждебна.⁴⁸

Конечно, такое расхождение во взглядах между С. Я. Лурье и О. М. Фрейденберг, с нормальной точки зрения, не заключало в себе ничего экстраординарного: налицо были обычные научные разногласия. Но О. М. была человеком своего времени и смотрела на это иначе. Еще в 1925 г. у нее произошел довольно странный обмен письмами с С. Я. Лурье. С. Я., по совету А. Н. Егунова, пригласил О. М. Фрейденберг принять участие в научном семинаре (чтении древних авторов), происходившем на квартире И. И. Толстого. О. М. отказалась, заявив, что ни в каких частных научных занятиях она участвовать не хочет: «Широкая жизнь, по моим взглядам, должна питать научную мысль, и в суровой борьбе за ее независимость гласность, открытый простор и свежий приток новых людей должен сопутствовать ее жизненной реализации». Этот экстравагантный и несколько напыщенный ответ получил «жизненную реализацию», когда О. М. стала активнейшим участником всех яфетических объединений, а затем вступила в одну из существовавших тогда «групп сочувствующих» ВКП(б). Такое почти партийное состояние и содействовало, очевидно, тому, что именно она возглавила ново-созданную кафедру классической филологии. К ней и обратился С. Я. Лурье, прося взять его на работу в ЛИФЛИ. Он получил от-

⁴⁷ Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.; Л., 1929. С. 17.

⁴⁸ Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. С. 8–9.

каз – О. М. не считала его филологом. С формальной точки зрения, это был явный абсурд: С. Я. окончил тот же историко-филологический факультет, который кончала впоследствии О. М. Фрейденберг, занимался у того же учителя – С. А. Жебелёва и, кроме него, еще, в отличие от О. М., у «чистого» филолога – Ф. Ф. Зелинского. Он пытался даже обращаться в вышестоящие инстанции, но все преимущества были на стороне Ольги Михайловны.

Итак, в 1930 г., после многих лет успешной работы, С. Я. Лурье оказался человеком без профессии. Было ли это только фактом его научной биографии? Едва ли это так. 1929–1930 годы – острое время для всех представителей его поколения, о которых шла речь во введении к этой книге, – для тех, кто не оказался «первыми учениками». Едва ли будет нескромно вспомнить здесь двух его ровесников – О. Э. Мандельштама, подвергшегося в 1929 г. газетной травле, и М. А. Булгакова. «Все разрушено дотла, что я делал за много лет ужасной жизни», – писал Булгаков в 1929 г. другу. И в другом письме, немного позже: «Через девять дней мне исполнится 41 год. И вот к концу моей писательской работы я вынужден сочинять инсценировки. Смотрю на книжные полки и ужасаюсь: кого еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза-Эфрона?»

Именно в таком положении оказался в 1930 г. С. Я. Лурье. В сорок лет он как бы лишился специальности и должен был думать о самом простом – о приискании любой работы, чтобы прокормить себя и семью. Преподавание истории в школе? Но и это стало невозможным: история оказалась вредной дисциплиной, ибо, вопреки стараниям учителей, она вызывала интерес школьников к классово чуждым персонажам – царям и полководцам. В начале 30-х годов история была исключена из школьных программ и заменена другим предметом – обществоведением. Но у С. Я. было и другое призвание: то самое, от которого он отрекся в 1908 г., поступив на историко-филологический факультет. Он любил и знал математику – во всяком случае, в пределах курса средней школы. А работу преподавателя математики можно было получить (хотя и не без труда), даже не имея соответствующего диплома: в связи с индустриализацией страны повсеместно возникали новые учебные заведения – техникумы, и во всех них требовались математики. Он и поступил преподавателем в техникум – сперва при телефонном заводе им. Кулакова в Ленинграде, а затем при Ижорском заводе в Колпине.

Это было тяжелое время. Завершалась коллективизация и массовая ссылка «кулаков»; продолжались показательные процессы – Промпартии, «Союзного бюро» меньшевиков. Во всех учреждениях

устраивались митинги с требованием расстрела подсудимых. Когда С. Я. работал в Университете, на одном из митингов такого характера он отказался проголосовать за «высшую меру»: несмотря на «беспартийную» мотивировку («принципиальный противник смертной казни»), это, вероятно, было учтено при его увольнении и неудачных попытках трудоустройства в 1930–1931 гг. Теперь он уже не решался идти даже на такую демонстрацию: когда был устроен аналогичный митинг в Колпинском техникуме, он ограничился тем, что заранее сообщил директору, что не сможет на нем присутствовать (с той же мотивировкой – «принципиальный противник...»). Последствия были неожиданными – директор, горький пьяница, не только отпустил его с заседания, но потом долго дружески беседовал, выражая свое сочувствие: в свое время он сам был сотрудником трибунала ЧК, сам расстреливал и из-за этого теперь и пьет.

Для строительства новых заводов нужна была импортная техника, а для ее приобретения – золото или валюта. Создавались особые магазины – торгсины, инснабы. Начались так называемые золотые дела, когда лиц, у которых могли быть драгоценности (слежка часто шла через торгсины), без каких-либо юридических формальностей арестовывали и подвергали обработке. Процедура эта великолепно описана в «Мастере и Маргарите» – в главе «Сон Никанора Ивановича», вероятно, уже совсем непонятной молодому поколению. В камеры, предназначенные для нескольких человек, набивали по сотне людей; они по несколько суток могли только стоять, сжатые, как в трамвае, в страшной духоте. К наиболее упрямым и наиболее перспективным узникам применяли и другие формы воздействия. В общем, это была неплохая школа для будущих деятелей 37-го года.

Но главным источником получения валюты должны были стать первые колхозные урожаи. В статье «На хлебном фронте» Сталин особо подчеркивал, что если Россия, прежде вывозившая зерно, теперь ощущает недостаток хлеба, то причина этого в раздроблении земельных угодий, розданных в 1917 г. крестьянам; в 1929–1930 гг. вновь была создана крупная – колхозная – земельная собственность; следовательно, опять должны были появиться излишки хлеба. Однако продажа первого колхозного урожая за границу породила голод во всей стране. Вновь были введены карточки.

В 1930 г. положение семьи стало трудным, и С. Я. не мог уже один кормить трех человек (особенно существенным было то, что иждивенцам предоставлялась наименьшая норма пайка). После рождения сына жена С. Я. оставила врачебную работу, теперь пришлось снова к ней вернуться. С трудом она нашла место поликлинического врача – да и то не в Ленинграде, а в Сестрорецке. А тем

временем она заболела, и болезнь ее оказалась неизлечимой. Еще студенткой она обнаружила у себя какие-то опухоли в лимфатических железах, которые давали основание подозревать лимфогранулематоз – по тогдашнему наименованию, «болезнь Ходжкина». Она обратилась к одному из профессоров, тот пошутил относительно склонности молодых медиков находить у себя самые страшные недуги и сказал, что опухоль эту можно удалить хирургически, можно – химиотерапевтически, а можно и не удалять. После такого шутливового разговора она успокоилась и, естественно, выбрала третий вариант – не стала делать ничего. Ежедневные поездки в нетопленых вагонах в 1930–1931 гг. ускорили развитие болезни; диагноз, поставленный ею много лет назад, подтвердился – лимфогранулематоз. Два года она болела, дважды лежала в рентгеновском институте и там умерла – 9 ноября 1932 г.

После смерти жены С. Я. с сыном переехал к сестре на Выборгскую сторону. Жизнь становилась все тяжелее: из самых плодородных областей приходили рассказы о голоде и людоедстве; на севере и в Сибири гибли миллионы «спецпереселенцев». С судьбой одной такой «спецпереселенческой» семьи С. Я. познакомился ближе. У его сестры был сослуживец и приятель, к которому нелегально приехал его двоюродный брат. Молодой парень, которого звали Витей, зашел к Богдане Яковлевне и рассказал свою историю. Родители Вити были раскулачены и сосланы со всей семьей на север; оттуда пришли вести, что они умирают с голоду. Тогда сам Витя, живший в городе, решил прийти им на помощь. Он приехал в отдаленный поселок, где они находились, и вывез их, предварительно перерезав телефонную и телеграфную проволоку, чтобы отсрочить обнаружение бегства и погоню. Отца ему уже не удалось спасти – он умер в дороге, но остальных членов семьи он привез в город и как-то пристроил. Но теперь разыскиваемым преступником стал он сам. Несколько дней спустя он добыл чей-то чужой паспорт (паспортная система только начала вводиться) и стал из Вити Ваней. Затем он скрылся, разыскать его милиции так и не удалось – под чужим паспортом он прожил много лет и даже женился и обзавелся семьей.

С. Я. по-прежнему преподавал математику, находил в этом даже кое-что интересное (лучшими учениками у него были самые отчаянные хулиганы, потому что он не признавал заучивания и поощрял только сообразительность – а среди них оказывались способные ребята); заочно учился на математико-механическом факультете. Время от времени попадалась какая-нибудь случайная работа по гуманитарной специальности – то в Эрмитаже, то в недавно созданном Музее истории религии (в Казанском соборе), где

решили, что С.Я. Лурье, из-за его немарксизма, вопросы истории античной религии доверить нельзя, и поручили ему почему-то заниматься иудаизмом XIX–XX вв.

С. Я. никогда не интересовался своим служебным положением. Конечно, он не был лишен честолюбия – остро переживал неуспех какого-либо доклада, бурно и иногда лично реагировал на полемику в печати. Но служебная карьера, «место под солнцем», интересовали его чрезвычайно мало, и он искренно презирал тех, для кого она была самым важным в жизни. Однако беды, постигшие его в 30-х годах, постепенное превращение в какого-то хронического неудачника – все это не могло не угнетать даже его. Как-то, уже на Выборгской, у него вырвались совсем необычные слова: «Я только фельдшер, а мог бы быть доктором!»

Положение немного изменилось во второй половине 1933 г. Еще с 20-х годов С. Я. занимался историей античной науки; в особенности интересовало его учение Демокрита. К Демокриту С. Я. пришел от изучения его последователя – Антифонта. Теории Демокрита складывались в полемике с античными философами, отрицавшими реальность физического движения предметов. Согласно «апоории Зенона», быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху, ибо, пока он пробежит расстояние, отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет $\frac{1}{10}$ этого пути, пока он пройдет $\frac{1}{10}$, черепаха пройдет $\frac{1}{100}$ и т. д.; следовательно, движение реально невозможно. С. Я. показал, что Демокрит нашел выход из этого парадокса, постулировав предел делимости: согласно его гипотезе, существуют не только физические неделимые частицы – «атомы», но и математические – «амеры». Если допустить существование неделимых, то уже ничто не мешает Ахиллесу догнать черепаху – когда ему останется пройти только одно неделимое, черепаха никуда не сможет продвинуться: дробь неделимого, согласно Демокриту, не существует.

Теории бесконечно малых у древних атомистов была посвящена большая работа С. Я. Лурье, написанная в 1929 г. и изданная в 1932 г. в немецком журнале по истории математики;⁴⁹ С. Я. предложил эту же работу, дополненную новыми материалами, издательству Академии наук, и с большой задержкой (уже в 1935 г.) она была издана.⁵⁰ В ходе печатания книги для С. Я. появилась возможность работы в новом академическом институте, открывшемся в те годы, – Институте истории науки и техники (ИИНИТ). Это было довольно странное учреждение. Где-то в высших сферах ре-

⁴⁹ *Luria S. Die Infinitesimaltheorie der antiken Atomisten // Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik. 1932. Bd 2, H. 2. S. 106–185.*

⁵⁰ *Лурье С. Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М., 1935.*

шили, что история науки у нас не разрабатывается, а между тем это – важная область марксистской философии. К созданию Института были привлечены люди весьма авторитетные, но частью – опальные. Директором ИИНИТа стал Н. И. Бухарин – уже не партийный вождь, но все же редактор «Известий», заместителем его – А. М. Деборин, за несколько лет до этого шумно разруганный за «меньшевистствующий идеализм». В работе института участвовали А. Н. Крылов, С. И. Вавилов, физик Лев Соломонович Полак и уже знакомый нам историк философии Иван Адамович Боричевский. Л. С. Полак, который был моложе С. Я. почти на два десятка лет, был близок ему многими чертами – сочетанием гуманитарных интересов со склонностью к точным наукам (с той, однако, разницей, что для него основной профессией были именно точные науки), глубоким отвращением ко всяческим традициям и этикетным нормам, любовью к хохмачеству и нарушениям «табу». Дружбу с Л. С. Полаком С. Я. сохранил на всю жизнь.

После нескольких лет мытарств и унижительной поденщины С. Я. ощущал работу в ИИНИТе как большое облегчение. Но полного удовлетворения работа здесь ему не давала. Как и во всяком академическом институте, здесь существовали планы, и ограничиваться одной античной математикой было невозможно. С. Я. готовил к печати перевод сочинений итальянского атомиста XVII в. Кавальери, писал о трудах Эйлера. Все это было довольно далеко от его основной специальности.

Однако работа в академическом институте сыграла, по-видимому, существенную роль в одном важном для С. Я. деле. В 1934 г. были восстановлены ученые степени, отмененные после революции, и наиболее авторитетным ученым их предоставили без защиты диссертации. В числе лиц, получивших степень доктора исторических наук, С. Я. Лурье, уже четыре года официально не числившийся историком, нашел и свое имя. Возможно, что какую-то роль в этом решении сыграл непреременный секретарь АН В. П. Волгин, всегда хорошо относившийся к С. Я. И почти в то же время Соломону Яковлевичу позвонил Г. Зайдель, когда-то составлявший резолюцию об осуждении С. Я. за «Историю античной общественной мысли». В Университете был вновь образован исторический факультет, и С. Я. был приглашен туда на работу.

В жизни Соломона Яковлевича наступили перемены, но происходили они в обстановке, которую трудно было бы назвать счастливой.

АФИНЫ И АПОКАЛИПСИС

В 1934 г. на углу Менделеевской линии и Тифлисской улицы в старом доме с аркадами, бывшем когда-то гостиним двором, а потом – оптовым торговым заведением под названием «Козухина артель», открылся исторический факультет Ленинградского университета.

Удивительным учреждением был истфак второй половины 30-х годов. Начать с того, что само здание переделывалось и достраивалось на глазах у студентов – несмотря на древность и архитектурную ценность «Козухиной артели», к ней пристроили еще один – третий этаж. Лекторий истфака, простирающийся от второго этажа до третьего, был окончен только в 1936 г.; до этого многочисленные студенты слушали общие курсы в старинном белоколонном Актовом зале главного здания Университета. А студентов этих было много: преподавание истории восстановили не только в вузах, но и в школах (вместо обществоведения), и преподаватели были необходимы до зарезу. Курсы, начавшие обучение в 1935–1939 гг., насчитывали по несколько сот человек на каждом – от мальчиков и девочек, только что кончивших школу, до почтенных отцов семейства.

Странным был не только состав факультета; странной была и его жизнь. Первым деканом его был уже упомянутый Зайдель. В 1935 г. его сослали – несмотря на солидное партийное прошлое, или, скорее, из-за него. К 1937 г. его уже именовали «матерым врагом народа». Его сменил А. К. Дрезен – бывший латышский стрелок, тоже из деятелей ГАИМКа. Спустя некоторое время забрали и его. Следующим деканом стал С. М. Дубровский – его арестовали несколько месяцев спустя. К 1937 г. на истфаке уже вообще не было декана. У С. Я. об этих исчезнувших деканах сохранились любопытные воспоминания: все они начинали как весьма самоуверенные партийные деятели, а потом на них находила мягкость. Дрезен и Дубровский незадолго до своего исчезновения вели с С. Я. дружеские разговоры, расспрашивая его о том, сколько языков он знает («как много!»), и обнаруживая даже какую-то зависть к его чисто академическому прошлому. Видимо, они уже ждали неизбежного... Сохранявший в этой фантастической обстановке

чувство юмора С. Я. сказал тогда, что на историческом факультете бывают только два вида деканов – «врид-деканы» (временно исполняющие должность) и «вред-деканы» (говорят, эту хохму повторяли потом следователи «Большого дома» – к счастью, не зная ее автора).

Гораздо более важное место, чем исчезающие деканы, занимал в жизни студентов пом. декана – некий Черницкий. Распоряжавшийся всеми делами категорично и решительно, он ощущал себя как бы комиссаром истфака, внушая страх и студентам и профессорам. Студентов он знал, едва ли не всех, в лицо, сразу же обнаруживал опоздавших и забравшихся на хоры Актового зала (Актовый зал в начале лекции запирали) и вызывал их к себе для экзекуций. С профессорами был более снисходителен, но в момент начала занятий стоял на лестнице и в случае опоздания молча указывал на часы. С ними он вел и политические занятия, сводившиеся в те годы к чтению материалов о вновь разоблаченных врагах народа.

Однажды у его кабинета собралась большая группа студентов, входивших по очереди для того, чтобы дать объяснение или получить взыскание. Два каких-то совершенно незнакомых человека направились в кабинет без очереди; на обычные в таких случаях протесты они не реагировали. А через полчаса из кабинета вышел Черницкий в сопровождении этих двоих; один из них шел сзади и, совсем как в приключенческом фильме, держал в руке вынутый из кобуры и направленный в спину пом. декана револьвер. Это было так неожиданно и страшно, что со стоявшим в очереди первокурсником случился детский грех – он обмочился.

Внезапность и вместе с тем неуклонность всех этих исчезновений напоминала судьбу жильцов ювелиршиной квартиры из «Мастера и Маргариты». Ювелиршиной квартирой был не только истфак; то же происходило повсюду. Принятые на курс студенты получили билеты и матрикулы Лен. гос. университета им. А. С. Бубнова; осенью 1937 г. их забрали назад и вернули блестяще разукрашенными – вместо «имени Бубнова» была вытеснена серебром красивая решеточка (Ленинградский университет не восстановил имени Бубнова даже после его посмертной реабилитации в 50-х годах: уже с 1949 г. он носил «достойное» имя А. А. Жданова). Ректором Университета был старый большевик Лазуркин; к сентябрю 1937 г. его уже не было, и одна из пропагандисток, ведших у студентов политические занятия, по рассеянности сказала, что, «как известно, ректором Университета был у нас враг народа товарищ Лазуркин». Арестовали и жену Лазуркина Дору, тоже старую большевичку, которой потом, на XXII съезде,

доверили своеобразную честь внести предложение о выдворении Сталина из мавзолея. А дочка их Юля училась здесь же на истфаке, ходила на занятия, вела себя так, как будто бы с ней ничего не произошло, и только раз шопотом сказала своей однокурнице, что спит теперь одетая – на всякий случай. Именно в эти же годы была написана пьеса Евгения Шварца «Дракон». Рыцарь Ланцелот приходит в дом архивариуса, над которым нависло несчастье – Дракон намеревается забрать молодую дочь архивариуса Эльзу. Являются хозяева, они радушны и гостеприимны. «У нас очень тихий город. Здесь никогда и ничего не случается», – говорит Архивариус. «Но... мне говорили, что дочь Ваша...» – смущенно замечает Ланцелот, которому все известно. «Господин Ланцелот, простите, я вовсе не делаю Вам замечания, но все-таки прошу Вас: ни слова об этом», – говорит Эльза. «Почему?» – «Потому, что тут уж ничего не поделаешь!»¹

Апокалипсис! Но, вспоминая эти годы, С. Я. воспринимал их не только как страшное время – во всяком случае, не как самое тяжелое время своей жизни. Люди его поколения, прожившие после революции несколько десятков лет, нередко вспоминали один анекдот. Речь в нем идет о Горьком – том Горьком, который заявил в 30-х годах, что «если враг не сдастся, то его уничтожат», и который заслонил для многих Горького предшествующих лет. Сталин предлагает Горькому одну почесть за другой – его именем называют город на Волге, главную улицу Москвы, лучший театр. «Мало, – отвечает тщеславный писатель. – Я хочу, чтобы вся наша эпоха была Максимально Горькой!»

Едва ли этот анекдот справедлив по отношению к Горькому, но вопрос «Когда же было “максимально горько”»? заслуживает рассмотрения и сам по себе. На первый взгляд ответ ясен: в конце 30-х годов, в страшном 1937-м и в соседние годы. Но многие из современников усомнятся в точности такого ответа – и не только потому, что, как отметил писатель, «поток 1937 г.» был лишь одним из многих потоков. Все-таки даже в Ленинграде, несмотря на высылки после убийства Кирова в 1934 г., то, что происходило в 1937–1938 гг., превосходило все предыдущее и последующее. В области «общественного бытия» конец 30-х годов, – конечно, вершина апокалиптических бедствий. Но иначе обстоит с областью «общественного сознания» – оно, как любил отмечать С. Я., и в этом случае отставало от бытия по крайней мере на несколько лет.

¹ Шварц Е. Пьесы. Л., 1960. С. 312–313.

Для того чтобы понять настроения С. Я. и духовно близких ему интеллигентов в те годы, необходимо учитывать ряд обстоятельств. Вторая половина 30-х годов не только была временем сталинского террора: это было также время победы фашизма в Германии, гражданской войны в Испании, Мюнхена, начала Второй мировой войны. Для С. Я. приход Гитлера к власти значил очень многое. Как пацифист 1914–1917 гг., он осуждал германскую социал-демократию за поддержку войны; но после 1918 г. путь, по которому прошла Германия, казался ему тем нормальным демократическим путем, по которому должна была пойти и Россия. Судьба Германии была решена волей народа, выраженной через Учредительное собрание; к власти пришла наиболее демократическая партия – социал-демократы, деятельности которых в Германии С. Я., безусловно, сочувствовал. Но оказалось, что и демократическая система не спасла Германию от диктатуры. Еще в 1927 г. Каутский утверждал в своем «Материалистическом понимании истории», что приход фашистов к власти в Германии нереален, так как здесь нет достаточного количества люмпен-пролетариата – основной социальной опоры фашизма.² Оказалось, однако, что и перед Германией стояла печальная альтернатива, о которой С. Я. размышлял еще в 1918 г. в газете «Эхо», – альтернатива «красной» или «черной» (в Германии – «коричневой») диктатуры. В 1933 г. победа фашистов стала фактом.

Не был ли взгляд на коричневую диктатуру, как на самое страшное и главное зло, присущ только таким еврейским интеллигентам, как С. Я.? Едва ли это так; большинство русской интеллигенции, по-видимому, держалось сходных взглядов. В «Факультете ненужных вещей» Ю. О. Домбровского – писателя, которого трудно заподозрить в специфически еврейской точке зрения, – его двойник, Зыбин, говорит в 1937 г. своему следователю: «Вот я приду к Гитлеру и спрошу его: “Адольф, зачем ты людей уничтожаешь? Погромы устраиваешь, жидов бьешь, половину человечества истребить сулишь, каких-то чистых и нечистых выдумал”. А он ответит мне: “Ты читал мой труд ‘Майн Кампф’? Это же я обещал народу, когда еще не фюрером был, а узником, и с этим я пришел в мир”... Так вот, с Гитлером все ясно и честно – он растет из своей людоедской теории, а вы-то откуда взялись? Кто ваши учителя? Ведь любой, кого вы ни назовете, сразу от вас шархнет: “Нет, – скажет, – чур меня, не я вас таких породил”».³ Практика гитлериз-

² Каутский К. Материалистическое понимание истории. М.; Л., 1930 Т. 2. С. 475.

³ Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей. Париж, 1978. С. 430.

ма соответствовала его теории – она предопределяла судьбу людей изначально: человеку не предлагалось даже той убогой возможности, которая предоставлялась советскому гражданину, о которой упоминал председатель Лупполовского совета, описанный С. Я. в стихотворении 1918 г.:

...Себе могилу вырой
Иль без задержек, живо,
Себя ты деклассируй!

«Деклассируй себя» – значило: откажись от заблуждений чуждых классов, прими нашу социалистическую идеологию и тогда живи на равных правах с другими (ведь и вожди революции сами в значительной степени были выходцами из прежних господствующих классов). Правда, уже со времен Гражданской войны людей репрессировали только за то, что они были дворянами или буржуями; годы «Великого перелома» принесли с собою «уничтожение кулачества как класса» – ссылку и гибель людей только из-за их социальной принадлежности; затем подобные репрессии не за взгляды, а за принадлежность к определенным категориям стали все более широким явлением. Однако такая политика не вытекала из теории и даже явно противоречила ей (именно поэтому она сопровождалась декларациями о том, что «сын за отца не отвечает»). Конечно, практика показательнее теории, но у современников обычно существует иллюзия временности практики. Теоретически советский строй основывался на принципе, согласно которому люди равны между собой.

Принятая в 1936 г. Конституция провозглашала это равенство даже более широко и демонстративно, чем прежде: были отменены правовые ограничения для «социально-чуждых» элементов. И надо сказать, что, в отличие от других, эта статья Конституции имела определенное практическое значение. Дело было, конечно, не в том, что «бывший граф» И. И. Толстой получил возможность проголосовать на выборах (или, как тогда часто говорили, «выборах») в Верховный Совет за предложенного ему кандидата блока коммунистов и беспартийных. Существенно было другое: с 1936 г. потеряли силу ограничения по социальному происхождению при приеме на работу и в учебные заведения. Отсюда и чрезвычайная пестрота состава студентов тех лет: среди них было много таких, кого раньше в вуз не принимали, – детей дворян, купцов, священников и раввинов и т. д.

Разнообразны были и настроения этой студенческой массы. Конечно, среди студентов было немало негодяев и доносчиков; не было недостатка и в людях, готовых искренне «проявить бдитель-

ность» и погубить при этом любого человека. Естественно, что при общении между собой студенты тех лет далеко не всегда были искренни, но несомненно, что среди них было меньше скепсиса и отвращения к общественным проблемам, чем среди их собратьев 30–40 лет спустя. О ненависти к Гитлеру, надеждах на мировую революцию говорили искренне, явно не напоказ; одновременно, в более узком кругу, говорили и на другие, часто весьма опасные темы.

Расхождение между «бытием» и «сознанием» 30-х годов сказывалось и в научной жизни исторического факультета. Теоретические принципы, провозглашенные ГАИМКом и близкими к нему заведениями, стали незыблемой основой исторической науки; история прошлого состояла из четырех формаций: доклассового общества, рабовладения, феодализма и капитализма. Но главные фигуры, разработавшие эту концепцию, были уничтожены в 1936 г.; оставались лишь второстепенные деятели. Этим определялась пестрота преподавательского состава исторического факультета. Из лиц, активно работавших в Акмакульте, в число профессоров истфака попали гаимковские «спецы», попутчики. Это были В. В. Струве, Б. Д. Греков, О. О. Крюгер, С. И. Ковалёв, О. Л. Вайнштейн и более молодые – бывшие аспиранты ГАИМКа И. И. Смирнов, В. В. Мавродин, Л. Л. Раков, К. М. Колобова и другие. Рядом с ними появились люди совсем иного круга. Это были те, которых недавно именовали «буржуазными историками», – медиевисты И. М. Гревс (его даже репрессировали в 1929–1930 гг.) и О. А. Добиаш-Рожественская, русские историки С. Н. Валк и Н. Ф. Лавров, пережившие бури предшествующих лет в Историко-археографической комиссии (потом – институте). Из ссылки вернулись Е. В. Тарле, М. Д. Присёлков и С. Н. Чернов. С. А. Жебелёв, считавшийся в 1930 г. «махровым черносотенцем», теперь стал вполне уважаемой фигурой (к обстоятельствам его реабилитации мы еще вернемся). Среди этих еще недавно гонимых, а теперь допущенных в историческую науку ученых оказался и С. Я. Лурье.

Сильно поредевшая «академическая» часть профессуры Ленинградского университета могла все-таки сделать честь любому высшему учебному заведению. «Страшные годы! – заметил по этому поводу один из старых истфаковских студентов. – А начнешь вспоминать истфак тех лет – Афины!»

Странная возможность существования истфаковских Афин среди воплощенного в жизнь Апокалипсиса определялась еще тем, что некий *modus vivendi* сохранялся не только в составе профессоров, но и в самой науке. Рамки были установлены, но самое их существование ограничивало дальнейшие опыты чистого теоретизирова-

ния и открывалась возможность занятий конкретными вопросами. Убогий социологизм 20-х годов, изгонявший из истории конкретных лиц – королей, полководцев и государственных деятелей, – был признан устаревшим; в истории можно было находить не только классовую борьбу, но и политические и даже национальные конфликты; вместе с тем великорусский национализм еще не обрел достаточной силы (хотя появлялись уже книжки о Суворове и Кутузове).

Modus vivendi, установившийся в историографии, создавал некоторые возможности для обучения нового поколения серьезной исторической науке. В таком обучении Тарле не играл главной роли, хотя он, несомненно, был самым ярким и наиболее популярным лектором на истфаке (обычно он читал не общий курс, а спецкурс по истории международных отношений в XIX в., на который, однако, ходили студенты с самых различных курсов). Работать над источниками учили молодое поколение другие историки – питомцы Петербургской школы. На кафедре средних веков это были И. М. Гревс и О. А. Добиаш-Рождественская, крупнейший знаток латинской палеографии, хранительница великолепного собрания средневековых манускриптов Публичной библиотеки, сумевшая передать своим ученикам любовь к рукописям.

На кафедре истории древнего мира аналогичную роль играл С. Я. Лурье. Общий курс истории Греции и Рима вел до 1938 г. С. И. Ковалёв; С. А. Жебелёв занимался с аспирантами; на долю С. Я. оставались семинарские занятия для первокурсников и для студентов, избравших своей специальностью древнюю историю (спецсеминары или спецкурсы, а также занятия греческим языком). Но это были именно те занятия, к которым он стремился. В работе учителя (и особенно учителя науки, каким должен быть преподаватель университета) есть черты, которые сближают эту профессию с деятельностью художника. Работа эта подчас чрезвычайно трудна, и неудачи в ней ощущаются очень болезненно. Но если она удается, то она сама по себе оказывается одной из самых больших радостей, доступных человеку, – вероятно, это такая же радость, какую испытывает артист, вошедший в роль, или писатель, которому удалось написать то, что он хотел. Познакомить с источниками, научить молодых людей, уже в какой-то степени испорченных догматикой общих курсов, решать исторические проблемы самостоятельно – это было истинным призванием С. Я. На семинарах и спецкурсах совершенно исчезала застенчивость, свойственная ему в повседневном общении с недостаточно близкими людьми, – здесь он мог быть легок, остроумен и даже блестящ. Самой привлекательной чертой его занятий, несомненно,

было раскрытие загадок, заключающихся в источнике, и обучение студентов (в конце 30-х годов!) свободному и непредвзятому взгляду на источник. С. Я. считал предварительное ознакомление с научной литературой не обязательным, а иногда и вредным для начинающего историка, советуя своим ученикам сперва взглянуть на памятник своими глазами, а потом уже выяснить, что о нем сказано другими.

Все шесть лет, пока С. Я. был оторван от Университета, его больше всего угнетала невозможность общаться со студентами – и, конечно, преподавание математики в техникуме в те годы не восполняло этой потери. Он тщательно готовился к своим университетским занятиям, сам подбирал и переписывал фрагменты из источников – чтобы их хватило на всех (впрочем, не очень многочисленных) участников семинара. Для уроков греческого языка он подготавливал тексты, которые были бы не слишком сложными в грамматическом и лексическом отношении, но вместе с тем интересными по содержанию. Иногда он и сам сочинял их. Он любил популярный анекдот тех лет, имевший форму басни. Прыгал по дорожке воробей, шла корова и обгадила его. Воробей зачирикал, подбежала кошка и съела его. «А мораль?» – спрашивает слушатель. «А мораль такая: если тебя обгадили, не чирикай: кошка съест». Анекдот этот был очень актуален в конце 30-х годов, как и в последующие годы. С. Я. перевел его на древнегреческий язык, снабдил заголовком «Из Эзопа» (он учитывал, что в эзоповский цикл постоянно включались анекдоты более поздних времен) и поместил в самодельную греческую хрестоматию для студентов.

Ощущение занятий как праздника, даже, если угодно, своеобразной игры (что не мешало им быть очень богатыми по содержанию), передавалось и студентам – во всяком случае, тем из них, которые были способны к такому восприятию. В одном отношении конец 30-х годов оказался счастливым временем для С. Я. Лурье: именно теперь он перестал ощущать себя одиночкой, а обрел, наконец, свою среду и собственных учеников. Ни в Самаре, ни в Ленинграде до 1930 г. это ему не удавалось: его единственная ученица по Самарскому университету, переехавшая потом в Ленинград, – А. И. Болтунова ни в каком отношении не могла радовать преподавательское сердце. «Как вы можете с нею поддерживать знакомство? У нее же антисемитское лицо!» – сказал С. Я. знакомый еврейский профессор, увидав Анну Ивановну, навестившую С. Я. в доме отдыха. С. Я. очень смеялся над этим определением, но оно было не лишено смысла: лицо А. И. было тупое и недоброжелательное, вполне подходящее если не специально

для антисемитки, то для пакостницы вообще (это обстоятельство вполне обнаружилось в последующие годы).

Теперь же появились настоящие ученики, люди, духовно близкие. Парадоксальным образом наиболее счастливым периодом в преподавательской деятельности С. Я. Лурье оказалось время, когда ни он, ни его коллеги не могли быть уверены, что встретят завтрашний день дома, а не за решеткой.

Исчезали не только представители университетской администрации, исчезали преподаватели и студенты. Правда, основной удар при чистке преподавательского состава (поскольку его направление вообще можно было распознать) был направлен против тех, кто считался в 20-х годах марксистами и находился прежде в привилегированном положении. К этой категории принадлежали, например, историк нового времени Я. М. Захер, русские историки С. В. Вознесенский, М. Н. Мартынов и В. Ю. Гессен (до этого, как потом стало известно, сам отправлявший других в том же направлении). Напротив, ученые, подвергавшиеся в прошлом десятилетия преследованиям, интересовали карательные органы меньше и, во всяком случае, не попадали в разряд основных жертв (из этой группы профессоров в число репрессированных попал лишь В. Н. Бенешевич).

Одной из жертв оказался и бывший гонитель С. Я., ставший в 1935 г. его непосредственным начальником, – Сергей Иванович Ковалёв. Ковалёва арестовали позже других – в декабре 1938 г. В тюрьме Ковалёв занял довольно своеобразную позицию, которой придерживались и некоторые иные арестованные. Ожидая «допросов с пристрастием» и не надеясь их выдержать, он решил не только не отказываться от навязываемых ему обвинений, а говорить как можно больше людей, назвав их своими соучастниками. Приверженцы такой тактики оправдывали ее (или, скорее, оправдывали себя) тем, что чем больше людей будет в деле, тем абсурднее оно будет выглядеть. Утверждали, что С. И. назвал около сотни имен. Бесспорно, во всяком случае, что по его показаниям были арестованы Л. Л. Раков и Н. Н. Залесский, потом и К. Лампсаков. Раков впоследствии высказывал особое недовольство тем, что учитель обвинял его, наряду с контрреволюционной деятельностью, еще и в гомосексуализме. Лев Львович резонно замечал, что последнее обвинение, верно оно или нет, имеет сугубо личный характер, и у Сергея Ивановича не было даже практической необходимости осложнять свои показания такой деталью.

Почти одновременно с С. И. Ковалёвым был арестован и другой античник – О. О. Крюгер, но дела их, по-видимому, никак не были связаны. Поводом для ареста Крюгера было то обстоятельство,

во, что жена его, происходившая, как и муж, из петербургской немецкой семьи, работала в германском консульстве (существовавшем в Ленинграде до 30-х годов), и их без труда можно было обвинить в связи с иностранной разведкой.

Наряду с этими арестами происходили и другие, касающиеся С. Я. гораздо ближе. Еще в 1936 г. был арестован Л. С. Полак, товарищ С. Я. по ИИНИТу; его приговорили к расстрелу (обвинение в терроризме, хотя и без принадлежности к какой-либо организации), но расстрел был заменен 10 годами политизолятора и лагеря. В начале 1938 г. арестовали учеников С. Я. – М. Н. Ботвинника и И. Д. Амусина (они шли по мифическому «меньшевистскому» делу, которое возглавлял студент М. И. Гиллельсон, имевший давние связи среди меньшевиков, – на его показаниях и строилось дело).

События эти произошли с близкими друзьями и знакомыми С. Я. и имели к нему непосредственное отношение. Аресты тех лет чаще всего совершались по цепочке; именно так из одиночных дел создавались нужные для следствия групповые дела. В отличие от Ю. Лазуркиной, С. Я. спал все-таки раздетым, но гостей ждал каждую ночь. Начиная с 1936 г. он обычно ложился спать часа в 2 – 3 ночи, а перед этим выходил на несколько часов гулять, предварительно потушив свет, – он полагал, что если незваные гости придут без него (в квартире оставались люди), свет будет включен. Конечно, никакого практического смысла эти прогулки не имели: в случае прихода гостей убежать все равно было бы некуда, да и час возвращения домой невозможно было выбирать.

Все это (с разными вариациями) происходило во многих домах в те годы. Но вот что заслуживает быть отмеченным. Вспоминая теперь о «замороженной воле» тех лет, пишут, что всеобщий страх приводил к разрыву всех человеческих связей – об арестованных старались забыть не только знакомые, но и ближайшие родственники; это, действительно, случалось нередко. У С. Я. не было репрессированных родственников (его двоюродного брата арестовали уже после войны); но своих друзей он не забыл. Уже с 1936 г. он непрерывно хлопотал за Л. С. Полака; привлек к этому делу и академика А. Н. Крылова, знакомого с С. Я. и Полаком по ИИНИТу и очень ценившего Л. С. В 1938 г. С. Я. таким же образом хлопотал за своих учеников. Он никогда не был особенно храбрым человеком, скорее наоборот, но это казалось ему само собой разумеющимся. И хотя такое поведение было довольно редким, но совсем исключительным оно не было. Человеком можно было оставаться даже и в те годы.

Не изменил С. Я. своего поведения и в другом отношении. Ночью он не всегда спал, но днем находил достаточно духа для своих

излюбленных хулиганских или, как обычно считали, бестактных выходок. После ареста Ковалёва общий курс истории Греции перешел к нему, и он позволял себе включать в лекции весьма рискованные пассажи. Он рассказывал, например, о греческих городах после падения античной демократии. Формально при римлянах были восстановлены все демократические свободы прежних времен, но Плутарх советовал своим современникам – политическим деятелям, чтобы они не воображали, что живут во времена Перикла: «Помни, что над твоей головой занесен римский сапог... Подражай актерам, которые проявляют на сцене всю свою страсть, обнаруживая и гордость, и несдержанный характер, но в то же время прислушиваются к суфлеру и не нарушают ни ритма, ни размера, предписанного им распоряжением власть имущих. Ведь если актер собьется с роли, он будет освистан и подвергнется насмешкам; здесь же дело не ограничится свистом, ибо многим

Топор, судья жестокий, голову срубил...»⁴

И из другого, неизвестного античного автора: «Тирания, это ужасное и гнусное бедствие, обязана своим происхождением только тому, что люди перестали ощущать необходимость в общем и равном для всех законе и праве. Некоторые люди, неспособные судить здраво, думают, что причины появления тиранов – другие и что люди лишаются свободы без всякой вины с их стороны только потому, что подверглись насилью со стороны выдвинувшегося тирана. Однако это ошибка... Как только потребность в общем для всех законе и праве исчезает из сердца народа, на место закона и права становится отдельный человек... Поэтому некоторые люди не замечают тирании даже тогда, когда она уже наступила...»⁵

Почему такого рода выступления не привели к последствиям – в годы, когда для уничтожения достаточно было любого повода? Вероятно, потому, что они доходили только до тех слушателей, которые уже были к ним внутренне расположены. А те, кто «не замечал тирании даже тогда, когда она уже наступила», очевидно, не слышали намека и не проявляли бдительности.

В 1939 г. Ежова сменил Берия, и начался небольшой «антипоток» в репрессиях. Л. С. Полак остался в заключении, но М. Н. Ботвинник и И. Д. Амосин вернулись. Был освобожден и вновь вернулся к своим обязанностям и С. И. Ковалёв.

⁴ Потом эта цитата была приведена С. Я. Лурье во вводной статье к книге: Плутарх. Избранные биографии. М.; Л., 1941. С. 8–9.

⁵ Впоследствии эта цитата была помещена в начале книги: Лурье С. Я. Архимед. М.; Л., 1945. С. 5–6.

Они возвращались поздней осенью 1939 г. Кроме снятия Ежова, в мире к этому времени произошли и другие важные события: советско-германский договор 23 августа 1939 г., война в Европе, раздел Польши; через некоторое время началась финская кампания. Договор о дружбе с Гитлером произвел сильное впечатление на тех людей, в мировоззрении которых антифашизм занимал важное место. Однако многие утешали себя мыслью о временности этого вынужденного союза; Гитлера иронически именовали – «заклятый друг». «Как вы думаете – мы будем воевать с Гитлером?» – спрашивали иногда, и С. Я. мрачно острил: «Конечно, будем воевать с Гитлером – в союзе с ним». Для С. Я. значение этого союза состояло, в частности, в том, что оно сужало и без того узкие рамки, в которых его мировоззрение могло совпадать с официально дозволенным.

Ошеломляющие военные успехи Гитлера в 1939–1940 гг. произвели сильное впечатление на лиц официально-партийного направления. Одним из них был Н. А. Корнатовский, читавший наиболее ответственную часть курса истории СССР – начиная с 1917 г. Грубый, массивный, с неизменной тяжелой палкой в руках, он излагал историю Гражданской войны со множеством подробностей, перечисляя количество штыков и сабель в каждой военной части, называя бесконечные вереницы имен (за исключением, конечно, разоблаченных к тому времени врагов народа). С С. Я. Лурье он совместно заседал в комиссии по гос. экзаменам. «Все-таки успехи Гитлера в войне нельзя недооценивать, – сказал он как-то. – Мы, как марксисты, должны понять те прогрессивные черты, которые заключаются в фашистской идеологии».

В общем, однако, опасения С. Я., что внешнеполитический союз с фашизмом приведет к идеологическому сближению, пока не подтверждались. Из политической и исторической литературы исчезли упоминания о фашизме и немецком милитаризме: в лекциях по новой истории студентам впервые, без особых комментариев, сообщили о национализации значительной части промышленности в Германии; но существенных изменений в общих исторических концепциях не произошло. *Modus vivendi*, сложившийся в середине 30-х годов, пока еще сохранялся.

Что же написал С. Я. в эти годы?

Во второй половине 30-х годов С. Я. продолжал начатую им ранее работу по истории науки. Именно в те годы им в основном был подготовлен самый обширный из его трудов – полное собрание дошедших до нас текстов Демокрита. Собрание это было итогом колоссальной филологической работы: сколько-нибудь полные тексты сочинений Демокрита не дошли до нас, фрагменты его

сочинений приходится извлекать из цитат и пересказов, содержащихся в трудах других авторов. Собрание, подготовленное С. Я., было в полтора раза обширнее известного немецкого издания Дильса.

Наиболее крупной из работ С. Я. по истории, написанной в этот период, была первая часть «Истории Греции», вышедшая в свет в 1940 г. Книга эта многими чертами отличалась от предшествующих работ С. Я. Лурье. Прежде всего – это был вузовский курс, книга, которая должна была служить учебником для студентов-историков. Отсюда – необходимость более или менее твердых рамок программы; отсюда и ряд черт (цитаты из классиков марксизма), обязательных для исторической литературы того времени.

От вузовских курсов тех лет «Историю Греции» С. Я. Лурье отличал ее источниковедческий пафос. Стремясь определить круг сведений (в том числе лишь недавно установленных в мировой науке), которые он считал достоверными, С. Я. Лурье преподносил эти сведения студенту не как готовые истины, а доказывал их источниками. Отсюда источниковедческое и вместе с тем полемическое построение ряда глав – как и во всех своих работах, он и здесь исходил из того, что изложение в научной книге представляет интерес лишь в том случае, если противостоит каким-то иным взглядам, если оно полемично.

Источниковедческие наблюдения были основой и для содержащейся в «Истории Греции» концепции истории греко-персидских войн, сыгравшей потом, как мы увидим, важнейшую роль в судьбе С. Я. Он исходил здесь прежде всего из критики источников – Геродота, младшего современника событий, занимавшего весьма сложную и во многом противоречивую позицию в оценке персидских войн, и Плутарха, жившего через 500 лет после них и рисовавшего явно идеализированную картину общеэллинского патриотизма. Известия Геродота и других ранних источников давали основания представить историю греко-персидских войн сложнее и иначе, чем ее рисовал Плутарх. С. Я. подчеркивал резкие отличия между отношением к персам со стороны тех или иных социальных групп в различных греческих государствах. Если на более позднем этапе войны, во время персидского нашествия на Элладу, перед греками вставала опасность прямого порабощения и война диктовалась необходимостью, то на начальном этапе, во время восстания ионийских греков в Малой Азии, в войне были заинтересованы главным образом торгово-ремесленные группы, ведшие торговлю с Причерноморьем: захват персидским царем Дарием Босфора был для этих групп катастрофой; напротив, аристокра-

ты-землевладельцы и крестьяне были против войны. Походы Дария и Ксеркса и непосредственная угроза независимости греческих государств вызывали сплочение эллинских сил; в период между обоими походами внутренние противоречия усиливались; они вновь вспыхнули после окончательной победы.⁶

«История Греции» не была оригинальной монографией, но она фиксировала ту работу по обучению науке, которая в конце 30-х годов стала важнейшим делом С. Я. Лурье. Неудивительно, что выход в свет первого тома книги радовал С. Я.: он даже сделал попытку похвастаться первыми авторскими экземплярами книги. Домработницей у С. Я. с 1935 г. была Нюра (Анна Дмитриевна) Чурина, которую он и его сын очень любили. Нюра была родом из вологодской деревни Красино, недалеко от города Устюжны. Семья ее долго сопротивлялась коллективизации и оставалась последним единоличным хозяйством в деревне. Когда в колхоз все-таки пришлось вступить, Нюра уехала в Ленинград на стройку. Там тоже было нелегко, и кто-то из знакомых привел ее к С. Я. Нюре было лет 17, и она была настолько незнакома с городской жизнью, что слова «Только у них там одни мужчины, надо будет вести все хозяйство» поняла в том смысле, что надо будет управляться с коровой. С. Я. уговорил ее поступить в вечернюю школу (в деревне она окончила 4 класса) и был в восторге, когда, выполняя заданный по русскому языку пример, включавший слово «дощатый», она написала: «У моей бабушки был кот дощатый» («дощатый» в Вологодчине значит «тощий», «худой»). Над подобными недоразумениями сама Нюра смеялась больше всех, до упаду – «в покатушую», как она говорила.

– Вот, Нюрочка, моя книга, можете почитать, – сказал С. Я., указывая на новенькую «Историю Греции».

– Ну, что Вы, Соломон Яковлевич, – отвечала Нюра со своим милым оканьем, – я и хороших-то книг не читаю.

Но с появлением «Истории Греции» были связаны не одни только веселые воспоминания. При обсуждении книги на кафедре она вызвала серьезные упреки, притом такие, какие прежде С. Я. выслушивать не приходилось. В предшествующие годы его ругали и за биологизм, и за механицизм, и за недостаточное внимание к трудам классиков марксизма. Но на этот раз речь пошла о другом – о недооценке общеэллинского патриотизма как важнейшего фактора греко-персидских войн, в преувеличенном внимании к социальным противоречиям среди греков. И упрек этот высказал не

⁶ История Греции. Л., 1940. Ч. 1. С. 182–211. Ср.: Лурье С. Я. Две истории пятого века // Плутарх. Избранные биографии. С. 19–28.

кто иной, как С. И. Ковалёв, вновь вернувшийся к научной деятельности.

С точки зрения историографии 30-х годов, в содержавшейся в «Истории Греции» характеристике греко-персидских войн не было ничего экстраординарного. Говоря о войнах прошлого, не исключая Отечественную войну 1812 года, историки постоянно отмечали роль экономических факторов и различные позиции социальных групп в этих войнах. Но С. И. Ковалёв, всегда столь внимательный к социальным противоречиям в классовых обществах, упрекнул теперь С. Я. за парадоксальность и излишний социологизм его концепции. С. Я. возмутило в этом выступлении не столько изменение Ковалёвым его собственных позиций, сколько неизменная склонность оппонента аргументировать не от источников, а от концепции и ее возможного политического звучания. С. И. был новатором лишь в тех случаях, когда такое новаторство ясно и определенно предписывалось сверху, – тогда он готов был открывать даже семивековую революцию рабов. Там, где таких указаний не было, он был, в сущности, традиционалистом, и непривычные построения вызывали у него раздражение. Имея в виду эти черты Ковалёва, С. Я. с обычной для него бестактностью заметил, что «Сергей Иванович ничего не забыл и ничему не научился». Это было справедливо лишь отчасти: неизменный в своем отношении к науке, Ковалёв был зато поразительно чуток к духу времени и во имя него умел и забывать и учиться. С. И. правильно ощутил лейтмотив, постепенно становившийся главным, в частности, и в истории, – патриотизм. Он только чуть-чуть поторопился: решительный перелом, которому предстояло сказаться и на судьбе С. Я. Лурье, был еще впереди.

Мы уже отмечали парадоксальное обстоятельство: наиболее счастливым временем для С. Я. Лурье, как для университетского преподавателя, оказались страшные годы – вторая половина 30-х и начало 40-х. Относительно благополучными (если здесь уместно это слово) можно считать эти годы и в другом отношении. И в начале своей научной деятельности, и в конце ее С. Я. неизменно ощущал свою национальную обособленность: и тогда, когда ему напоминали о ней, и когда вежливо делали вид, что ее не замечают. Но лишь в один период он, действительно, если не утратил этого чувства обособленности, то перестал ощущать его остроту – в те страшные годы всеобщего уничтожения. Коллективизация была направлена против крестьян и задевала евреев лишь параллельно – как городских мелких торговцев и кустарей или же как партийных уклонистов (именно поэтому в антисемитских кругах возникла и стойко держится легенда об особо видной роли ев-

реев в коллективизации – хотя участвовали они в ней лишь в меру своей принадлежности к партаппарату, подтверждая высказанную В. Жаботинским мысль о том, что евреи, как и всякий *другой* народ, не могут не иметь «своих мерзавцев»). Но среди жертв «ежовщины» евреев оказалось много – никак не меньше, а относительно больше, чем других слоев населения: именно потому, что «ежовщина» уничтожала аппарат, созданный революцией, а процент участия евреев в этом аппарате был довольно высок (точные цифры, как всегда, неизвестны).

В чем евреи действительно не испытывали никакой дискриминации – это в событиях 37-го и примыкающих к нему годов. Здесь поистине царил «братство народов». Правда, и в 1937–1939 гг. некоторые потоки репрессированных подбирались преимущественно по национальному признаку (больше других сажали, например, поляков, финнов, латышей), но и в этом случае национальную окраску репрессий старались нейтрализовать или, по крайней мере, приглушить: рядом с финнами, поляками и латышами – репрессированными действовали (и иногда выступали палачами своих единоплеменников) финны, поляки и латыши – следователи. Тот же принцип соблюдался и в отношении евреев: в каждой камере сидели евреи всех категорий (от бывших партийцев и бундовцев до аполитичнейших инженеров и мелких служащих), а следователями нередко оказывались тоже евреи. Интернационализм.

С началом войны 22 июня 1941 г. общее положение в национальном вопросе также изменилось не сразу.

Первая реакция на войну у С. Я. была такой же, как и у большинства его сограждан. Конечно, он хорошо помнил события предшествующих лет и договор 23 августа 1939 г., но 22 июня 1941 г. произошло явное вероломное нападение, и напал Гитлер.

Вместе с другими профессорами С. Я. записался в народное ополчение, но уже вскоре стало ясно, что запись профессоров была чистой комедией. Рядовыми их не зачисляли, а военную специальность ученых определить было не всегда возможно.

Чаще всего запись профессоров была чистой формальностью. Совсем иное значение запись в ополчение имела для студентов. Если бы они были просто призваны как военнообязанные, то это, возможно, предполагало бы хоть какое-то военное обучение; ополченцев же в основном учили (тут же, на Менделеевской линии) отдавать честь. И уже в середине июля они были посланы на передовую. Большинство истфаковцев (и вообще студентов Университета), убитых во время войны, погибло именно в первые месяцы, в июле–сентябре.

Понять из газет и единственно доступных официальных радиопередач, что именно происходит на фронте, было совершенно невозможно. Для С. Я. информация о военных событиях и во время Первой мировой войны, и во время войны в Испании означала прежде всего помещение в газетах ежедневной карты с перемещающейся линией фронта. Но никаких карт не печатали; упоминались лишь очень немногие из оставленных городов. Конечно, даже этих названий при элементарном знании географии было достаточно для того, чтобы понять, что немцы стремительно наступают; но где именно и с какой быстротой наступают – было неизвестно. О том, что наступление на северо-западе было направлено именно против Ленинграда, что его окружают, – население трехмиллионного города не имело ни малейшего представления.

Ничего нельзя было понять и в планах эвакуации. Балетное училище эвакуировали уже в первые дни; из города отправляли детские сады и другие детские учреждения (многие – на юг, навстречу немцам), но об эвакуации научных и учебных заведений даже заговаривать не полагалось. Отношение к эвакуации переменилось только в августе, когда в городе появились первые слухи о приближении немцев.

Все студенты, не взятые в армию и ополчение, находились в июне–августе на рытье окопов (точнее, противотанковых рвов); вскоре те, кто копали к югу от города, слышали артиллерийскую стрельбу, почти непрерывную; они убеждали друг друга, что это артиллерийские учения. Во второй половине августа многих из этих землекопов прогнали отступающие части – некоторых так и не успели предупредить.

Многие, даже имевшие на это право, не торопились уехать – хотя и ходили уже слухи, что немцы в Волосове (менее 100 км от Ленинграда), но не хотелось им верить, не хотелось покидать дом и отправляться в неизвестность. Позиция С. Я. определялась прежде всего его закоренелым, установившимся за несколько десятков лет недоверием к казенному оптимизму. Где-то внутри себя он, может быть, и был оптимистом, но всю жизнь приучал себя ждать наихудшего. Мысль о блокаде города ему, как и всем остальным, в голову не приходила; он боялся другого – прихода гитлеровцев.

С. Я. выехал в двадцатых числах августа; ночью под Назией поезд попал в бомбежку; путь за ним был поврежден, но эшелон прошел. Это был один из последних поездов, выехавших из Ленинграда до окружения города. Знакомые С. Я., которые должны были выехать на два дня позже, уже не смогли этого сделать – путь был перерезан.

С дороги С. Я. телеграфировал в несколько университетов; ответ получил тоже на пути – до востребования; Иркутский университет приглашал его на работу.

В Иркутске С. Я. прожил с осени 1941 по начало 1943 г. Настроения у него, в общем, были те же, что и в начале войны. Тем более поразили его те перемены в официальной идеологической политике, которые чем дальше, тем больше становились заметными. Началось, собственно, с уничтожения АССР немцев Поволжья 28 августа 1941 г. – республика была ликвидирована, и население поголовно выселено в Сибирь и Среднюю Азию за то, что оно (все население, включая детей и матерей!) скрывало в своей среде гитлеровских шпионов и диверсантов. Далее изменился тон пропаганды – вместо «фашистов» появились «фрицы» и «гансы». Тон задавал в этом случае Илья Эренбург – единоплеменник и ровесник С. Я. Лурье. «Их нельзя переубедить, их можно только перебить... Надо перебить тысячу немцев, чтобы сто задумались, заколебались... Надо перебить десять тысяч немцев, чтобы заколебавшиеся сдались в плен...» «Вперед! одно: могила Германии, пустота, пространство без народа, великое возмездие... Мы убьем всех немцев...»⁷

Это повторялось почти ежедневно в статьях, которые читались повсеместно – на фронте и в глубоком тылу. И надо сказать, что статьи эти имели успех – в частности (а возможно, и в особенности), среди интеллигенции. С. Я., у которого они вызывали все большее отвращение, должен был убедиться, что он в этом отношении почти одинок: даже люди, с которыми он легко мог бы найти общий язык в 1937 г., принимали и охотно повторяли газетную пропаганду военных лет. Главным аргументом оказывались при этом, как обычно, удобные местоимения, которые немедленно пускались в ход: «А *они!* Разве *они* не убивают, не зверствуют, не считают себя высшей расой? Как можно *их* жалеть, пока *они* убивают наших солдат и мирных жителей?» Все замечания о том, что нельзя взваливать преступления фашизма на всех немцев, отвергались как нелепое и смешное толстовство (в те годы идеи христианской любви к ближнему были совсем не в моде среди интеллигенции и обвинение в толстовстве считалось обидным).

С такими же настроениями С. Я. встретился и после отъезда из Иркутска в Москву в начале 1943 г.: В своем «Автоэпиграме» он писал, что в декабре 1942 г. Иркутский университет «возбудил против Лурье обвинение в сочувствии гитлеровскому фашизму и в

⁷ Эренбург И. Ожесточение М., 1942. С. 38 и 55 (газетная статья от 18 октября 1942 г.). (Б-ка «Огонек»).

стремлении его популяризировать. Оргвыводы, однако, не успели сделать, так как Лурье был вызван телеграммой президента Академии наук в Москву, где был возвращен на работу в Институт истории...». Обстоятельства и причины этого иркутского инцидента остаются неизвестными – кажется, дело началось из-за какого-то доклада, в котором С. Я., говоря об исторических корнях фашизма, вместо обязательных ссылок на «немецкий дух» упоминал о пренебрежении греческих писателей, и в частности Аристотеля, к «варварам».

Дух воснной пропаганды, смущавший С. Я., находил отклик и в столице. Как-то в библиотеке С. Я. случайно встретился со своим полным тезкой – Соломоном Яковлевичем Штрайхом, историком-популяризатором, издававшим мемуары XIX в., человеком сугубо мирным. Зашли разговоры о зверствах фашистов, становившихся широко известными по мере отступления Гитлера. «Всех их надо уничтожить! – говорил Штрайх о немцах. – И детей тоже!» На С. Я. этот разговор произвел очень тяжелое впечатление.

Но успех, который имела эренбурговская пропаганда, вовсе не означал, что идеи этой пропаганды возникали спонтанно и шли снизу. В военное время, как и в мирное, ни одна строчка не проникла в печать без указания начальства – недаром, когда весной 1945 г. эренбурговское пророчество о «пространстве без народа» стало для советских оккупационных войск реальной опасностью (население бежало на запад), публицистическую деятельность Эренбурга прервали сразу же – без особых церемоний.

Преобразования, как всегда, осуществлялись сверху, и это были очень глубокие преобразования.

АПОКАЛИПСИС БЕЗ АФИН

В начале войны Гитлеру противостояла Красная Армия; в конце войны такого названия уже не существовало. Эта символическая перемена подготовлялась постепенно: еще за несколько лет до войны были восстановлены военные звания, отмененные революцией; в 1940 г. восстановили также и генералов. После Сталинграда советские знаки различия на петлицах были заменены погонами. Красноармейцы были переименованы в солдат, краснофлотцы – в матросов; командиры стали именоваться офицерами. Как при царе! Была отменена свобода расторжения брака, которой так гордились приверженцы революции и которую так осуждали консерваторы. Тогда же была официально признана несуществующей какая-либо ответственность отцов за внебрачных детей – легкомысленные женщины, не предварившие любовь законной регистрацией, должны были рассчитывать только на себя. И таких женщин в те военные годы были едва ли не миллионы (аборты были запрещены еще до войны).

Затем была отменена и другая система, введенная революцией, – совместное обучение мальчиков и девочек в школах.

Старина воскрешалась и в пенитенциарной системе: исправительно-трудовые лагеря были дополнены каторгой, расстрел – повешением (прежде всего – для немецких и русских военных преступников в отвоеванных городах). На этом фоне было естественным и еще одно мероприятие, обрадовавшее многих и даже показавшееся зарубежным наблюдателям признаком либерализации режима, – восстановление некоторых прав и институтов церкви. Пример подали, собственно говоря, оккупанты, разрешившие открыть древнюю Киево-Печерскую лавру и ряд церквей. Но после отвоевания занятых областей полученные церковью некоторые права не были отменены, но скорее даже закреплены: Иегове, по выражению Б. Слуцкого, был дан «стол и угол». Возвращенный из небытия летом 1941 г. местоблюститель патриаршего престола Сергей был торжественно избран патриархом. Восстановленная патриархия сразу же стала проявлять традиционную лояльность по отношению к власти: «глубоко тронутые сочувственным отношением нашего всенародного Вождя, Главы Советского Правительства Иосифа Виссарионовича Сталина», епископы не только принесли ему «общесоборную благодарность», но

и провозгласили «анафему и смерть» немецким оккупантам и сотрудничающим с ними «изменникам вере и отечеству». Когда же в споре с эмигрантским польским правительством была выставлена советская версия расстрела пленных польских офицеров в Катыни,¹ в экспертной комиссии, обосновавшей эту версию, фигурировал (наряду с академиком Бурденко и А. Н. Толстым) второй иерарх русской церкви митрополит Николай.

Если по отношению к православию обнаруживалась лишь относительная терпимость, то все национально-русское подчеркивалось открыто и демонстративно. Освобождение Ленинграда от блокады было ознаменовано переименованием пригородов и улиц города. Основным принципом, который при этом проводился, был принцип устранения всего нерусского. Петергоф стал Петродворцом, Шлиссельбург – Петрокрепостью, Ораниенбаум – Ломоносовым (евреи немедленно стали острить, что «Ломоносов, оказывается, еврей – его прежде звали Ораниенбаум»). Были отобраны улицы и площади у Нахимсона, Володарского, Урицкого, Карла Либкнехта, Розы Люксембург; но оставлены в неприкосновенности улицы, переименованные в честь русских деятелей. При этом забыли или не заметили, что, обидев коммунистов, сохранили в неприкосновенности память о тех людях, которые уже давно были объявлены «Кратким курсом» «героями в кавычках», не заслуживающими никакого уважения, – о народовольцах Желябове и Перовской и даже об эсере Каляеве. На этот раз им повезло – они были русскими.

Хороша страна Болгария,
А Россия лучше всех! –

эта невинная на первый взгляд песенка, популярная в конце войны, стала воплощением нового государственного и общественного мироощущения. Там, где одна страна – лучше, другая должна быть хуже, если существуют народы хорошие, могут существовать и плохие народы. Одна плохая нация уже была названа открыто и многократно – немцы. Эренбургские слова о «фрицах» и «великом возмездии» в ходе контрнаступления обретали все более реальный смысл. Приезжавшие с фронта рассказывали о повальных грабежах, убийствах гражданских лиц и массовых изнасилованиях, о девочках, насилуемых на глазах родителей. Хотя и дополняемые обычными самооправданиями («А они что делали?»), рассказы передавались из уст в уста. Особо сильное впечатление на

¹ После перестройки факт расстрела польских пленных в Катыни был признан правительством России.— *Примеч сост.*

С. Я. произвела картина, описанная его учеником, вернувшимся с фронта: труп пятилетней девочки с заостренной елочкой, воткнутой во влагиалище, и надпись на ней: «На Берлин!».

Но немцы оказались не единственной плохой нацией. В конце 1943 – начале 1944 г. шесть народов страны, имевших свои автономные республики и области, – калмыки, крымские татары, карачаевцы, чеченцы, ингуши и балкарцы – были обвинены в измене, сотрудничестве с немцами и высланы в Среднюю Азию и Сибирь. В 1945 г. были высланы таким же образом причерноморские греки и итальянцы.

При таких обстоятельствах было бы странно, если бы реставрация национализма не обратилась против национальности, бывшей в течение полутора столетий традиционным козлом отпущения, – против евреев.

Одной из первых новостей, услышанных С. Я. по приезде в Москву, было известие об ограничениях при назначении евреев на некоторые особо важные виды работы, ответственные посты, при приеме в аспирантуру и т. д. Все это началось не в 1949 г., не с возникновения Израиля и приезда Голды Меир, как думают многие. Еще шла война, еще не был побежден враг, сделавший борьбу с еврейством важнейшим пунктом своей программы, продолжал существовать созданный в начале войны Еврейский антифашистский комитет во главе с Михоэлсом. Систему ограничений приходилось поэтому проводить исподволь – путем закрытых распоряжений.

Реставрация «еврейского вопроса» в его традиционной форме была лишь частью более широкой реставрации старины. Именно со времени войны наиболее ясно обнаружили глубокие перемены в официальной идеологической политике. Это был заключительный этап в отмене той, усвоенной после октября 1917 г. идеологии, которой некоторые наблюдатели до сих пор склонны приписывать решающую роль в судьбах России. Расхождение между официальными лозунгами и политической практикой бросалось в глаза внимательным людям уже в 1930-х гг.; как раз об этом, как мы помним, говорил в романе Ю. Домбровского арестант Зыбин своему следователю.² Конечно, идеология 20 – 30-х годов неплохо служила для оправдания диктатуры: единственная в мире страна со справедливым строем, окруженная со всех сторон враждебным миром, естественно, должна была находиться в состоянии боевой готовности и проявлять нетерпимость к любым идейным шатаниям. Но принцип «общественное бытие определяет сознание» мешал в течение слишком долгого времени объявлять это самое «общественное бытие», т. е. материальные нужды на-

² См.: *Домбровский Ю.* Факультет ненужных вещей. Париж. 1978. С. 161.

селения, чем-то неважным, эгоистическим, заведомо вторичным по отношению к интересам государства.

Для того чтобы люди приняли без ропота явное неравенство, постоянное отсутствие важнейших благ и прав, им необходимо было дать не прозаический идеал материального благосостояния, а нечто иное – иррациональное и по возможности традиционное. Но такая идея существовала уже давно и столетиями доказывала свою действительность. «Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя Родиной», – говорит последний римский император Ромул Августул в пьесе Дюрренматта.³ После советско-германского пакта в 1939 г. вести войну во имя германской или мировой революции было бы невозможно – этих лозунгов в 1941–1945 гг. никто и не вспоминал. Идея патриотизма, связываемая не только с социалистическим отечеством, но и с «великими предками», в число которых включались и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и даже Иван Грозный, – стала основой официальной идеологии и после войны. Но здесь новая идеология оказывалась в противоречии со старой, проникнутой эгалитаризмом и интернационализмом и трудно совмещавшейся с патриотизмом. «“Патриотизм” – болезнь, которая постигает умного человека только за пределами его отечества. Ибо на родине столько гнусного, что каждый, кто только не страдает параличом мозга и искривлением позвоночника, застрахован от этой политической “падучей”» – эти слова Маркса (приведенные в воспоминаниях В. Либкнехта)⁴ С. Я. цитировал в письмах, перепечатал на машинке и сохранял среди своих бумаг – вовсе не из пietetа перед автором, а из-за их эпатирующего характера. Ибо с начала 40-х годов Россия была объявлена «лучше всех» не только сейчас, когда в ней лучший в мире общественный и государственный строй, но и исконно, благодаря особым достоинствам ее народа.

Но довести эту идеологию до ее логического конца, разделить человечество, говоря словами арестанта Зыбина, «на чистых и нечистых» было все же невозможно – хотя бы потому, что те, кто открыто заявляли о таком разделении, как раз в это время были побеждены. Многие люди на Западе, и притом не только коммунисты, видели в стране, только что одержавшей победу над Гитлером, оплот интернационализма и главную антикапиталистическую силу. Для них нужен был лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на фронте государства, газета «За прочный мир, за народную демократию», движение сторонников мира.

³ Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969. С. 56.

⁴ Либкнехт В. Воспоминания о Марксе. Харьков, 1928. С. 87 и след.

«Все равны, но некоторые равнее других» – эта гениальная оруэлловская формула становилась основным принципом взаимоотношений между национальными и социальными группами общества. Преимущество такой формулировки над грубым разделением на «чистых и нечистых» было с середины XX в. осознано не только в Восточной Европе. После 1945 г. ни один тоталитарный режим в мире не может провозгласить свою программу с той циничной откровенностью, с какой это делал Гитлер. Во второй половине века все диктаторы стали сторонниками мира, равенства народов и демократии – с той единственной оговоркой, что некоторые особо ценные категории граждан они признают «первыми среди равных».

Вводимая постепенно, новая идеологическая политика не сразу сказывалась на судьбах отдельных граждан. С. Я. Лурье предстояло ощутить ее влияние лишь через несколько лет. Пока же судьба его складывалась довольно благополучно.

В 1943 г. С. Я. возвратился на работу в Ленинградский университет. Университет находился с 1942 г. в эвакуации в Саратове, и С. Я. приехал туда из Москвы, а затем уже вернулся в Ленинград. Еще в Саратове он совершил поступок, который показался многим эксцентричным: будучи уже в течение десяти лет доктором исторических наук, защитил диссертацию на степень доктора филологических наук (о политических тенденциях в аттической драматургии). С 1945 г. он перешел в основном на работу на филологический факультет. Его несколько раздражал «салонный» дух этого факультета (писатели делились на «модных» и не-«модных», авторитетные вкусы были непререкаемы), но занимался он в основном греческим языком со студентами (на филфаке преподаванию языка придавалось большее значение, чем на истфаке), довольно быстро переходя с ними на чтение текстов (это был его излюбленный метод – грамматические сведения усваивались параллельно).

1945–1948 гг. были весьма плодотворными для С. Я. Лурье: за эти несколько лет он подготовил к печати целый ряд статей (одну из них – после большого перерыва – он напечатал за границей, в Италии) и четыре книги: «Архимед», «Очерки по истории античной науки», «Геродот» и второй том «Истории Греции». Книга «Очерки по истории античной науки» возникла в процессе подготовки большого собрания текстов Демокрита, законченного до войны, но так и не увидевшего свет при жизни С. Я. Центральная роль, которую С. Я. отводил Демокриту, едва ли могла вызвать нарекания – как-никак Демокрит был основоположником материализма. Однако склонность автора принимать детерминизм Демокрита полностью, отвергая известную поправку Эпикура, допускавшую свободу воли для атомов, противоречила Марксу, который усматривал у Эпикура чер-

ты диалектики. Замечание С. Я., что Маркс писал свою юношескую диссертацию о Демокрите и Эпикуре, когда он «еще не преодолел влияния идеалистической гегелевской школы», и что «в зрелую эпоху своей деятельности» Маркс, если бы он занимался этими вопросами (чего, увы, не произошло), «подверг бы пересмотру свое восторженное увлечение Эпикуром и холодность к Демокриту, основанное на характерном для него в то время враждебном отношении к естественно-научным занятиям и на увлечении отвлеченными философскими построениями»,⁵ конечно, нисколько не помогло С. Я. и не избавило его от последующих нареканий (тем более что диалектику у Эпикура находил и Ленин).

Но наибольшая бестактность содержалась не в самой книге, а в ее начале. Тексту предшествовало посвящение, написанное на греческом языке в стихах. В переводе (которого в книге не было) оно означало:

Преподнося этот дар Льву, Соломонову сыну,
Вскоре надеюсь тебя встретить, мой друг дорогой.

Речь шла о Л. С. Полаке, кончавшем в это время свой лагерный срок, но находившемся еще в заключении. Неизвестно, что произошло бы, если бы книга вышла в свет с посвящением, но такая попытка была пресечена – в самый последний момент. Издательский экземпляр книги попался на глаза одному из коллег С. Я., который получил классическое образование и понимал по-гречески. Он успел предупредить – правда, не соответствующие органы, а редактора книги, президента Академии наук С. И. Вавилова. С. И. Вавилов знал Л. С. Полака, хорошо относился к С. Я. Лурье, помнил, что среди репрессированных был его родной брат Н. И. Вавилов, но допустить появление книги с таким посвящением он, конечно, не мог. Не вынося, по-видимому, этой истории за пределы издательства, он приказал его сотрудникам вырвать вручную посвящение книги из всего тиража (3 тысячи экземпляров). Что это было? Трусость? Оппортунизм? Или все же неизбежная жизненная мудрость?

О последней из упомянутых выше книг – второй части «Истории Греции» – мы здесь говорить не будем; она так и не увидела света.⁶

⁵ Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. Греция эпохи расцвета. М.: Л., 1947. С. 391–396.

⁶ Удивительна судьба этой книги. В страшном 1948 г. уже готовый набор второй части «Истории Греции» был рассыпан. Книгу спас рабочий типографии, который за бутылку водки вынес автору так называемые чистые листы. Впервые она была опубликована только в 1993 г. (в одном томе с первой частью) в издательстве С.-Петербургского университета под ред. Э. Д. Фролова. — *Примеч. сост.*

Упомянем только ее заключительную часть – ту, в которой повествуется о македонской победе в битве при Херонее 338 г., положившей конец независимости греческих государств. С. Я. завершил рассказ об этой битве поразительной эпитафией одного из ее греческих участников:

Гея, как друг, заключила, Аристон, тебя в свое лоно,
Давши счастливо тебе лучшие годы прожить,
Право ж, награда пришла как раз в подходящее время:
Жизнь наша стала тюрьмой – ты же на волю ушел.⁷

Вспоминал ли С. Я., приводя эти стихи, дату смерти своего отца? Во всяком случае, для курса истории Греции эпохи античной демократии это была достойная концовка. Однако она так и не увидела света – как и вся вторая часть курса; события в жизни С. Я. в 1948–1949 гг. сделали издание книги невозможным.

Идеологические кампании 1946–1950 гг., именуемые часто (по имени их зачинателя) «ждановщиной», довольно четко делятся на два этапа. Первый начался докладом А. А. Жданова против Зощенко, Ахматовой и учебника философии, написанного под руководством партийного академика Г. Александрова; уже эти объекты критики имели между собой мало общего; но совсем непонятно, почему вслед за этим в 1948 г. были осуждены труды известного русского филолога А. Н. Веселовского за содержащийся в них «компаративизм» и «низкопоклонство перед западом», а потом «формальная генетика» и «менделизм-морганнизм» в биологии (главный носитель этих грехов, академик Н. И. Вавилов, погиб в заключении уже во время войны). Трудно, а иногда и невозможно определить, почему избраны были именно эти объекты идеологической критики. Немногие ученые, принявшие «дискуссии» 1946–1948 гг. всерьез и пытавшиеся возражать своим критикам, скоро убедились, что любой спор бессмыслен и грозит самыми серьезными последствиями. А миллионы людей по всей стране обличали совершенно непонятный им «морганнизм-менделизм» и «компаративизм».

Каковы бы ни были индивидуальные цели каждой из идеологических кампаний конца 40 – начала 50-х годов, главным следствием их было окончательное формирование нового типа общественной психологии – поразительно пластичной и одновременно единой и монолитной.

«Подражай актерам, которые проявляют на сцене всю свою страсть... но в то же время прислушиваются к суфлеру и не нарушают ни ритма, ни размера, предписанного им распоряжением власть имущих» – эти слова, которые С. Я. имел дерзость привести в лекциях

⁷ Лурье С. Я. История Греции. СПб., 1993. С. 570.

и процитировать в книге, он вспоминал ежедневно. Одно наблюдение над развитием вида *Homo soveticus* произвело на него особенное впечатление. Летом 1946 г. он жил на даче под Ригой и познакомился там с четырехлетней девочкой Ирочкой Илгисонис (несмотря на латышскую форму фамилии, это было вполне советское дитя – дочка офицера). С. Я. всегда любил детей и умел с ними общаться, а Ирочка была совершенно очаровательна – маленькая, похожая на куклу, но с довольно сложными, явно заимствованными у старших оборотами речи. Они много беседовали, и однажды Ирочка рассказала ему, что больше всех на свете она любит «дядю Сталина». «Он самый умный, самый добрый, самый красивый, самый высокий...» «Нет, Ирочка, – не выдержал, наконец, С. Я., – дядя Сталин небольшого роста». «Ты что, жизни своей не жалеешь?» – неожиданно парировало дитя.

Второй этап идеологического наступления конца 40-х годов сразу же приобрел куда более острый и зловещий характер. В 1949 г. был предан анафеме югославский вождь Тито, отказавший Сталину в повиновении; после отлучения Тито последовали аресты, а потом и судебные расправы над раскольниками в других восточно-европейских странах; после скоропостижной смерти Жданова было проведено «ленинградское» дело, в ходе которого были уничтожены почти все руководители партийной организации Ленинграда. Были арестованы главный советник Сталина по экономическим вопросам Н. Вознесенский и его брат, бывший ректор ЛГУ (занимавший к этому времени пост министра просвещения).

Тогда же были приняты меры и против тех репрессированных лиц, которые в 30-е годы получили не более 10 лет и смогли пережить этот срок. В 1949 г. эти люди были вновь разысканы, арестованы и отправлены – обычно без нового следствия – кто в лагерь, кто в ссылку. Л. С. Полак был сослан в Красноярский край. На одной из пересылок Л. С. встретился с двоюродным братом С. Я. – Михаилом Лазаревичем Лурье, арестованным в 1948 г. по самой распространенной причине: за неосторожные разговоры. Человек талантливый и жизнерадостный, с артистическим темпераментом и бурной фантазией, «Миша Сумасшедший», как называли его родные, за тридцать лет так и не научился достаточной сдержанности. Где-то он сказал, что выборы у нас следует именовать не выборами, а плебисцитом по поводу единого списка официальных кандидатов; при аресте у него обнаружили еще и дневник – также неозвонительная роскошь. Свой лагерный срок Михаил Лазаревич получил, таким образом, почти автоматически, не доставив никакого труда следователю.

В области идеологии начало нового этапа довольно резко обозначилось в январе 1949 г. В «Правде» появилась статья против театральных критиков, осмелившихся раскритиковать патриотиче-

ские пьесы А. Сурова и А. Софронова. Тема, казалось бы, не имела особого государственного значения, однако тон и стиль этой и последующих статей настораживали. Прежний термин «низкопоклонство перед западом» теперь был твердо и окончательно заменен более внушительным – «космополитизм», и говорилось о нем в знаковых по прошлому десятилетию выражениях: «критики из антипатриотической группы действовали двурушническими методами». Настойчиво и определенно подчеркивалась этническая принадлежность космополитов: Юзовский, Гурвич, Альтман, Варшавский и многие другие. Если космополит укрывался под недостаточно ясной фамилией, псевдоним специально раскрывался: «Янковский (Хисин)», «Холодов (Меерович)» и т. п.

Специфические черты кампании 1949 г. были достаточно ясны советским гражданам (за границей их по-прежнему воспринимали лишь немногие): обычного «Абрама» при разговорах в общественных местах сменил «космополит». Но было бы ошибкой сводить всю сущность и этих событий только к антисемитизму. Если кампании предшествующих лет могли рассматриваться как своеобразная идейно-психологическая разминка, то теперь начали вырисовываться контуры новой идеологии, направленной против любых центробежных тенденций и против каких-либо сомнений в безусловном приоритете «первых среди равных».

Отражением этой идеологии были такие мероприятия, как объявление реакционным монгольского народного эпоса («Джангариада», «Гесериада»), который, во-первых, частично бытовал среди калмыков, сосланных в 1944 г., а во-вторых, воспевал завоевания Чингис-хана (песни о Ермаке и Иване Грозном продолжали считаться народными и патриотическими). Высылка ряда северо-кавказских народов естественно подсказывала еще один шаг – пересмотр прежнего взгляда на войны Шамиля против царской России как на освободительные и объявление их реакционными.

Однако эти мероприятия относились в основном к окраинным республикам: в центре страны мало кто слышал о Шамиле или Джангариаде. На широких просторах Российской Федерации, Украины и Белоруссии патриотические чувства, естественно, направлялись против народа, рассеянного (особенно после революции) по всей этой территории и получившего теперь кодовое наименование «безродных космополитов».

На судьбе С. Я. Лурье отразились оба этапа идеологической политики послевоенных лет. В 1948 г. ему были посвящены все четыре тома ежеквартального «Вестника древней истории» – ругали его и за «Историю античной науки», и за «Геродота». «Геродот» вообще стал главной основой для выступлений против С. Я. Лурье в 1948 г.

Книге были посвящены три рецензии;⁸ из них две (Е. Сулова и И. Кацнельсона) – резко отрицательные. «Картина раболепия перед иностранщиной», обнаруженная Е. Суловым в книге о Геродоте, побудила его даже к смелому предположению, что «С. Я. Лурье не читал перед тем, как написать свою книгу, трудов Геродота, а воспользовался статьей Якоби из немецкой энциклопедии».

В таком же духе была и статья Кацнельсона, прочитанная им, еще до выхода из печати, на расширенном заседании Сектора истории древнего мира Ленинградского отделения Института истории (ЛОИИ) 20 октября 1948 г. Это заседание было, пожалуй, первым после января 1930 г. собранием, специально посвященным С. Я. Докладчиками были Д. П. Каллистов и И. С. Кацнельсон, люди иного поколения и совсем иного типа, чем его прежние критики – Тюменев и Ковалёв. Ни Каллистов, ни Кацнельсон не выступали в роли заядлых марксистов и даже не старались изображать идейность и страстность. Попавший в начале 30-х годов на Соловки и Беломорканал по пустыковому студенческому «делу», Д. П. Каллистов стал с конца 30-х годов аспирантом С. А. Жебелёва, а затем доцентом Университета. В 1940-х годах Д. П. был жизнерадостным и остроумным мужчиной, популярным, хотя и довольно поверхностным университетским лектором. Научными исследованиями он мало интересовался, но очень любил организовывать коллективные гонорарные издания.

И. С. Кацнельсон был как бы более упрощенным вариантом того же типа. Он тоже был аспирантом в конце 30-х годов, но в аспирантуру попал прямо со студенческой скамьи – без тех мытарств, которые выпали на долю Д. П. Аспирантом он был у В. В. Струве по египтологии – науке, требующей серьезного изучения языка, но делать ничего не хотел. После войны Кацнельсон перебрался в Москву и на заседание ЛОИИ явился как столичный гость.

Таковы были главные оппоненты С. Я. Лурье на заседании 20 октября. Основное содержание их выступлений было идентичным: и тот и другой, подобно Е. Сулову, клеймили С. Я. за то, что он популяризировал «взгляды на Геродота, высказанные буржуазными исследователями-модернизаторами», «превратил свою работу в трибуну для Эд. Мейера, Якоби, Говальда» и т. д. Оба критика всячески подчеркивали «непоследовательность С. Лурье» и «крайнюю противоречивость созданного им чудовищного образа Геродота», выступающего то патриотом малоазийского Галикарнасса, то афинским патриотом, то поклонником Самоса, то защитником дельфий-

⁸ Советская книга. 1948. № 2 (рец. Д. Г. Редера); Вопросы истории. 1948. № 5 (рец. Е. Г. Сулова); ВДИ. 1948. № 3 (рец. И. С. Кацнельсона).

ского оракула и т. д. Однако в книге С. Я. эти разнообразные симпатии Геродота в каждом случае подтверждались прямыми цитатами из труда «отца истории» – цитаты эти, так или иначе, заслуживали объяснения. Как и Сувор, Каллистов и Кацнельсон полностью игнорировали все цитаты из Геродота, обильно приведенные в книге, – в результате все противоречия оказывались измышлениями С. Я. Лурье и его учителей, «буржуазных корифеев».

Глуховатый византист М. В. Левченко связал книгу С. Я. с проблемами «морганизма-менделизма» (формально заседание 20 октября было одним из откликов Академии наук на эту дискуссию), упрекнул С. Я. также в недооценке марровского «нового учения о языке» (это тоже было актуально, ибо гонения на противников яфетидологии в 1948 г. усилились): «...Н. Я. Марр сыграл в нашей науке немалую роль, и историк-марксист обязан считаться со взглядами Н. Я. А найдите хотя бы одно упоминание в книге С. Я. Лурье о нем...»

И все же основной дух обсуждения не был безусловно враждебным; били явно не насмерть. Каллистов закончил свое выступление рассуждениями о пользе критики и самокритики и выражением уверенности в том, что «С. Я. с должной серьезностью отнесется к допущенным им ошибкам». После того как Иосиф Амусин, присутствовавший на заседании, выступил в прениях против обоих докладчиков, упрекнув их в «жонглировании цитатами» и отказе от объяснения приведенных в книге фактов, Каллистов в перерыве между выступлениями выругал его за недогадливость и бестактность. «Вы – ж... с ручкой! – сказал он на своем джентльменском беломор-каналском языке. – Я же нарочно говорил только об отдельных ошибках. Вы, что же, хотите, чтобы ему еще “школку” приписали?!»

Более осторожно, чем И. Амусин, построил защиту книги И. И. Толстой (к тому времени уже академик). Он признал давнее существование в русской науке того, что «сейчас называется преклонением перед иностранщиной»; указал, что французские историки античности всегда цитировали только французов, а немецкие – немцев; русские же авторы этого не делали, а так прямо и писали: «смотри Мейер, смотри Моммзен». «Это был ужасный перегиб. Сейчас это не дозволено». В заключении он рекомендовал выпустить второе издание «Геродота» с учетом всей вышесказанной критики (потом И. И. Толстого специально порицали за такое неуместное предложение).

Особо деликатной была позиция В. В. Струве. Когда книга «Геродот» шла в печать, оказалось, что у нее нет титульного редактора (обязательного для книг всех авторов, кроме академиков). Редакция научно-популярной серии обратилась к В. В. Струве, и он, в соответствии с занятой им в 40-х годах жизненной позицией, дал

свою подпись, не читая. На этом заседании он оказывался поэтому как бы в роли жертвы собственной доброты. Более скептические наблюдатели отмечали, впрочем, что И. С. Кацнельсон был чистойшей креатурой В. В., и если бы тот ему не разрешил, Кацнельсон, безусловно, не стал бы лезть в дискуссию по книге, которая и формально не относилась к его специальности. Двойственность позиции В. В. сказалась и в его выступлении: «Моя ошибка состоит в том, – самокритично заявил он, – что я подходил к научно-исследовательской личности С. Я. не комплексно: я его ценил, как чрезвычайно сильного в методическом отношении, а что касается его методологии, то я им не интересовался и как-то примирился с тем, что С. Я., несмотря на то что он на год моложе меня, в методологическом отношении над собой не работал...»

С заключительным словом выступил другой старый знакомец С. Я. – С. И. Ковалёв. Для него этот спор имел не только служебно-деловое значение. Он вспомнил теперь прошлое, начиная с обсуждения «Истории античной общественной мысли» в 1930 г.: «Дискуссия носила чрезвычайно острый характер. С. Я. очень обиделся на меня, на академика Тюменева, но тогда впервые мы увидели, что С. Я. действительно не марксист; и в этом направлении шли обвинения С. Я. С тех пор прошло 18 лет, и эта книга говорит, что за 18 лет в смысле методологии С. Я. ничему не научился». Последние слова, конечно, были ответом на обидное замечание С. Я. на кафедре в 1940 г. С. И. Ковалёв упомянул и спор 1940 г. о греко-персидских войнах. Он ведь еще тогда предупреждал С. Я. об опасном политическом звучании его концепции этих войн. «К сожалению, меня тогда никто не поддержал на кафедре», – не без обиды вспомнил теперь С. И. «Вредность концепции С. Я. об отсутствии общегреческого патриотизма состоит в том, что это проблема далеко не чисто академическая... Предположим, что книга С. Я. появилась бы не в 1947 г., а осенью 1941 г., когда враг стоял у ворот Москвы и Ленинграда... Я думаю, что уж тогда вряд ли нам приходилось бы спорить о том, вредна ли эта книга или неправильна. Она была бы, конечно, вредна, потому что в тот момент мы говорили о сплочении сил всего советского народа и всего прогрессивного человечества... и в тот момент всякие примеры разрушения школьной традиции о том, что греки вели первую освободительную войну в истории человечества, разрушение этой концепции было бы политически вредным... Но я не думаю, что 1946-й или 1947-й годы, когда писалась эта книга С. Я., чем-нибудь принципиально отличались от 1941 г. По-прежнему СССР окружен большим враждебным миром, и по-прежнему нам нужен патриотизм... Я боюсь, что когда С. Я. писал эту книгу, он забыл об

этом... – заявил Ковалёв и многозначительно добавил: – Я беру наиболее скромную формулировку».

Как всегда, «четко и исчерпывающе», он отметил пять основных недостатков С. Я.: 1) сделал свою книгу «трибуной» для буржуазных историков; 2) совершенно отрицал значение общегреческого патриотизма; 3) создал «чудовищно противоречивый» образ Геродота; 4) не отметил роли его труда для истории СССР; 5) проявил научный «анархизм» – ибо работает как одиночка, не связанный с коллективом. Но конечный вывод был все-таки в духе всего заседания – С. И. Ковалёв пожелал С. Я., чтобы «сегодняшнее обсуждение пошло ему на пользу. Ему надо бросить индивидуализм, высокомерие, надо пойти на выучку к одному – к марксизму».

В том же духе прошло и заседание Ученого Совета ЛОИИ 3 ноября. Здесь выступал и сам С. Я. (на заседании сектора он отсутствовал по болезни). Вопреки словам Ковалёва, за прошедшие с 1930 г. восемнадцать лет С. Я. кое-чему вынужден был научиться. Теперь он все-таки признал, что критика его книги «во многих отношениях является правильной», и что он, действительно, «не пропитал книгу марксизмом-ленинизмом» (это странное выражение, создающее мало приятный образ насквозь промасленной книги, он употребил даже несколько раз). Но традиционного, принятого в то время покаяния он все же не принес. Он заметил, что критики книги указывали в ней, в сущности, не принципиальные ошибки: они «скорее обвиняли меня в непоследовательности, граничащей с идиотизмом и старческим маразмом. Я, мол, сам не понимаю, что я пишу, противоречу себе на каждом шагу». В действительности, однако, противоречия в мировоззрении, о которых он писал в книге, присущи самому Геродоту: «Может быть, мои объяснения и неправильные, и немарксистские, но я считаю, что те противники, которые хотя и со мной спорить, обязаны дать свое объяснение этим фактам... Пока мне не дадут настоящего марксистского объяснения, я не могу отказать от моего толкования. Оно будет правильным до тех пор, пока не дадут лучших объяснений».

Возразил он и Ковалёву, заметив, что подчинение трактовки Геродота задачам обороны отечества отражает взгляд на историю как на «политику, опрокинутую в прошлое»: «Как будто для нынешнего читателя будет менее поучительным примером, если он узнает, что афиняне вели справедливую освободительную войну с персидским агрессором и беззаветно жертвовали своей жизнью из афинского патриотизма, а спартанцы – из спартанского, чем если он узнает, что и те и другие умирали ради интересов Эллады в целом...»

Единственным лицом, искренне стремившимся уязвить его и на этом собрании, была бывшая ученица С. Я., поразившая когда-то од-

ного из его знакомых своим «антисемитским лицом», – А. И. Болтунова. В ответ на замечание С. Я., объяснившего недостаточную «пропитанность» своих работ марксизмом-ленинизмом тем, что он учился в старом университете у ученых-немарксистов – Ростовцева, Зелинского и Жебелёва, А. И. резко возразила против объединения имени Жебелёва с именами эмигрантов Ростовцева и Зелинского – Жебелёв был «советский патриот»; у него, как и у Н. Я. Марра, «трудно найти работы, печатавшиеся на иностранных языках» (за исключением статей, написанных для борьбы с иностранцами). Как это иногда бывает с «нищими духом», А. И. сказала вещь, существенную для понимания тогдашнего смысла того «одного», к чему Ковалёв призывал С. Я. идти на выучку. Конечно, С. А. Жебелёва, писавшего, что с 1917 г. в России настало «лихолетье», называвшего по старой памяти Николая II «государем» и никогда не скрывавшего своей религиозности, трудно было считать марксистом в старом смысле этого слова, но для новой версии марксизма это было уже не важно: Жебелёв был патриотом, почти не печатался за границей – следовательно, в 1948 г. мог считаться марксистом.

Этим проработка С. Я. в 1948 г., в сущности, окончилась – никаких оргвыводов тогда не предлагали и не сделали.

Положение, как мы уже знаем, изменилось в 1949 г. Уже «дискуссии» 1946–1948 гг. достигли того, что один остроумный наблюдатель назвал «абсолютной простреливаемостью» любой идеологической позиции. Так, в Пединституте им. Герцена одна аспирантка-еврейка была подвергнута осуждению за то, что просто привела цитату из Ленина о недостатке образования и темноте в царской России, – ей указали, что подчеркивание данного сюжета порождено ее космополитическими настроениями и что из Ленина нужно было процитировать вместо этого слова о «национальной гордости великороссов». Исследователь истории или литературы прошлого мог быть автоматически обвинен в стремлении отгородиться от насущных проблем настоящего, специалист по западной или восточной культуре – в пренебрежении русскими культурными традициями, пишущий на актуальные темы – в политически неверной их трактовке и т. д.

С полной ясностью эта «абсолютная простреливаемость» обнаружилась в борьбе с «космополитизмом» в исторической науке, начавшейся уже в первые месяцы 1949 г. В Москве осуждению подвергся ряд историков. Единственной чертой, объединявшей всех этих лиц, была их национальность; в остальном же они не имели между собой ничего общего. Так, разруганный в 1949 г. Александр Иосифович Нусыхийн был серьезным исследователем (учеником Д. М. Петрушевского), историографы Н. Рубинштейн и О. Вайнштейн – старательны-

ми компиляторами, И. Минц – одним из наиболее бессовестных создателей сталинского культа в 30-х годах (за это он и стал академиком); к той же категории принадлежали И. Разгон и Г. Деборин.

Соломон Лурье, давший в предшествующие годы множество поводов для идеологического осуждения, со всех точек зрения подходил для включения в этот список. Возникло лишь одно затруднение: все, что можно было сказать о его идеологических ошибках, было уже сказано несколько месяцев назад. После дискуссии 1948 г. С. Я. ничего опубликовать не успел. Для того чтобы вновь поднять вопрос о нем, нужен был хоть какой-нибудь повод. За отсутствием иного, таким поводом был избран вопрос о «Боспорских надписях», изданных до революции известным эпитафистом В. В. Латышевым. После войны переиздание их было поручено С. Я. в Институте истории, где он работал по совместительству.

К «Боспорским надписям» дирекция ЛОИИ относилась вплоть до 1949 г. с полным спокойствием – это была не «проблемная» работа, а издание памятников, не сулившее обычно его исполнителям ни лавров, ни особых неприятностей. Задача заключалась в дополнении свода новонайденными текстами и новой литературой; леммы (пояснения) к надписям должны были быть, как в первом издании, написаны по-латыни. С. Я., имевший сверх того полную нагрузку в ЛОИИ по другим темам, «на общественных началах» взял на себя подготовку новых текстов и комментарии; оставалась еще значительная техническая работа – переписка текста (греческой машинки не было), подготовка его к печати, переделка и расширение латинских лемм. В 1947 г. на время был привлечен Б. И. Надэль (учившийся до 1939 г. в Виленском университете, а защитивший диссертацию после войны уже в Ленинграде), который составил ряд латинских лемм; проверить и окончательно доработать их тексты должна была специалистка по латинскому языку М. Е. Сергеенко, после войны ставшая сотрудницей ЛОИИ. Но вплоть до 1949 г. она проявляла к этой работе такое же равнодушие, как и другие, и даже не успела познакомиться с нею. С. Я. неоднократно обращался с предупреждениями о невозможности, при отсутствии дополнительных сотрудников, своевременного окончания «Боспорских надписей»; в конце 1948 г. дирекция включила в работу А. И. Болтунову и установила новый срок окончания работы – 1 июня 1949 г.

Но в начале 1949 г. из Москвы пришло новое распоряжение – в порядке борьбы с низкопоклонством и космополитизмом весь научный аппарат к изданию должен был быть написан по-русски. Это требовало дополнительного времени, и С. Я. предложил отсрочить окончание работы на год, но внезапно охваченная энтузиазмом М. Е. Сергеенко пообещала сделать русский перевод за 3 месяца;

срок окончания был перенесен на 1 ноября. С. Я. попросил поэтому М. Е. Сергеенко взять черновой текст тех латинских лемм, которые она так и не удосужилась раньше посмотреть, и перевести его на русский язык. Он никак не мог предполагать, какие последствия будет иметь это малозначительное происшествие.

В марте 1949 г. в московском Институте истории было проведено трехдневное совещание, посвященное борьбе с космополитизмом в исторической науке; именно в ходе этой конференции обвинению в космополитизме были подвергнуты упомянутые выше историки, имевшие, в сущности, только одну общую черту – пятый пункт анкеты. Ленинградское отделение института было представлено и. о. заведующей – К. Н. Сербиной; московский сектор древней истории – его новым (сменившим умершего в 1948 г. Мишулина) заведующим Н. А. Машкиным. В краткой хроникальной «А. В.», упоминаясь, что «проф. Н. А. Машкин, говоря о положении в области древней истории, указал, что откровенные буржуазно-космополитические взгляды проповедует сотрудник ЛОИИ проф. С. Я. Лурье, который, как показала в своем выступлении Сербина, вместе со своей группой фактически сорвал издание древних текстов...».⁹ Из этого видно, что уже в марте в Москве было заявлено о «срыве» издания «Боспорских надписей» по вине С. Я. Лурье; а между тем сроком окончания работы только что было назначено 1 ноября, и в самом ЛОИИ никаких претензий С. Я. насчет этого издания до этого времени не предъявляли. Но обвинение это, очевидно, уже подготавливалось, и облечь его в конкретные формы было поручено М. Е. Сергеенко.

Мария Ефимовна Сергеенко была своеобразной фигурой. Скромная преподавательница латинского языка, работавшая до войны в основном не в Университете, а в Медицинском институте, она именно там во время блокады Ленинграда (в 1943 или 1944 г.) защитила диссертацию на степень доктора филологических наук, имея оппонентами трех докторов медицинских наук. Мужеподобная, коротко стриженная, М. Е. всем своим видом изображала крайнюю простоту и бедность (несмотря на докторскую зарплату и отсутствие семьи), неизменно ходила в одной и той же потрепанной кожаной куртке и была крайне неопрятна. И надо признать, что, несмотря на явную нарочитость, такое поведение создавало ей довольно стойкую репутацию женщины «не от мира сего».

В апреле 1949 г. С. Я. был опять приглашен на заседание в ЛОИИ для обсуждения его работ. Он в это время находился в больнице

⁹ Вопросы истории. 1949. № 3. С. 152.

и ответил заявлением, в котором указал, что, «внимательно ознакомившись с критическими статьями в последних номерах наших журналов, посвященных методологическим и космополитическим ошибкам в науке», он признает наличие таких ошибок в своих работах и просит освободить его от работы в ЛОИИ по состоянию здоровья. Но заседание все же состоялось, и темой его оказались не столько обсужденные в прошлом году работы С. Я., сколько «Боспорские надписи». Накануне заседания И. Д. Амусин, поддерживавший с М. Е. Сергеенко хорошие отношения, прямо спросил ее – не собирается ли она участвовать в начинающейся кампании против С. Я. Мария Ефимовна с негодованием отвергла такое предположение. Она напомнила И. Д., что она уже старая женщина, которая прежде всего думает о своей душе, и вдобавок – верующая христианка (после войны М. Е. вообще стала подчеркивать свою религиозность).

На заседании М. Е. оказалась главным обвинителем С. Я. Лурье. Она заявила, что в латинских леммах к изданию, которые ей были даны для перевода, содержатся ошибки в «элементарной латыни», а самые леммы являются искажением лемм Латышева, ибо сокращают их и исключают важные подробности, относящиеся к древнейшим народам СССР – например к скифам. При этом подчеркивалось, что латинский текст лемм писал Б. И. Надэль, который был женат на племяннице С. Я., – благодаря этому создавалась картина не только недобросовестной работы, но и кумовства, проталкивания «своих».

Этим, собственно, и исчерпывался новый материал, собранный в 1949 г. против С. Я. Лурье. Его оказалось вполне достаточно для окончательного и полновесного решения, вынесенного Ученым советом ЛОИИ 14 апреля 1949 г. Резолюция Ученого совета по вопросу «о борьбе с буржуазным космополитизмом в области исторической науки» начиналась с общего положения: «Буржуазный космополитизм является идеологическим орудием империалистической экспансии англо-американского империализма, предназначенным расчистить пути для империалистической агрессии и подорвать национальное сознание народов, ослабить их отпор современным претендентам на мировое господство...» Далее следовала уже знакомая «обойма» фамилий – Минц, Разгон, Деборин, Рубинштейн и т. д. После этого особый раздел был посвящен С. Я.:

«В составе сотрудников ЛОИИ находился космополит Лурье, в работах которого идеи буржуазного космополитизма нашли свое яркое и откровенное выражение.

Космополитизм С. Я. Лурье выразился:

1) в упорном протаскивании идеи так называемой мировой науки;

2) в отрицании освободительных войн и идеи патриотизма в древности;

3) в игнорировании советской науки в области древней истории;

4) в беспринципном пресмыкательстве перед буржуазной западно-европейской наукой; в откровенном протаскивании идей Мейера, Якоби и др.;

5) в выхолащивании и искаженной трактовке в источниках всего того, что относится к древнейшей истории народов, населявших территории Советского Союза.

Несмотря на критическое обсуждение его книг в Москве и в Ленинграде и неоднократные критические разборы в печати, С. Лурье продолжает упорно отстаивать свою порочную концепцию. Институт истории АН некоторое время назад устранил С. Лурье по идеологическим мотивам от участия в редактировании многотомника “Всемирной истории”. В Ленинградском отделении С. Лурье до последнего времени стоял во главе важнейшего планового задания – издания “Боспорских надписей”. С. Лурье не только сорвал выполнение этого задания в целом, но и выполненная под его руководством часть этой работы совершенно не пригодна в научном и политическом отношении. Вся работа над изданием “Боспорских надписей” должна быть проделана заново».

Несмотря на прошедшее время, употребленное по отношению к «космополиту Лурье» («в составе... находился»), формально он еще не был уволен и в конкретно-резольютивной части ему было посвящено три специальных пункта: «1) ... в первую очередь с целью разоблачения космополитизма подвергнуть пересмотру работы С. Я. Лурье и в том числе опубликованные за границей; 2) группе древней истории ликвидировать прорыв и закончить работу над боспорскими надписями к ноябрю 1949 г.; <...> 6) поставить вопрос перед дирекцией Института истории об исключении С. Я. Лурье из состава членов Ученого совета и об освобождении его от работы в ЛОИИ...»

Оставаться далее в ЛОИИ С. Я. не мог и не пытался. Не вступая дальше в спор по поводу своих «методологических и политических ошибок», он, однако, заявил, что считает глубоко несправедливыми выдвинутые против него «обвинения в научной некомпетентности и недобросовестности». Наиболее абсурдными были обвинения, относящиеся к языку латинских лемм: «Не говоря уж о том, что обязанность просматривать эти леммы с точки зрения правильности латинского языка вообще никогда не лежала на мне – вся ответственность за латинский язык лемм была возложе-

на на М. Е. Сергеенко, – эти ошибки не представляют никакого интереса, поскольку в конце концов решено было давать леммы не на латинском, а на русском языке».¹⁰ Все эти объяснения были совершенно бесполезны. Комиссия, назначенная дирекцией, скрепила своими подписями заключение М. Е. Сергеенко.¹¹

Дальнейшая история издания «Корпуса боспорских надписей» заслуживает упоминания. Решение руководства ЛОИИ было несколько противоречивым: с одной стороны, работа признавалась «совершенно негодной и должна быть начата с самого начала», с другой – группе древней истории предписывалось «ликвидировать прорыв и закончить работу над боспорскими надписями к ноябрю 1949 г.» (т. е. к тому времени, на которое соглашался и С. Я.). Вскоре в стенгазете ЛОИИ появилась оптимистическая заметка М. Е. Сергеенко о том, как успешно идет работа над переводом лемм (тех самых, «совершенно негодных»). Работа стала считаться делом государственной важности, и если в 40-х годах она была поручена одному С. Я. (да и то на общественных началах), то теперь ее объявили плановой работой всего сектора. И все-таки издание не двигалось. Завершил его только А. И. Доватур, вернувшийся в 1956 г. из ссылки. Издание, отсрочка окончания которого на 4 месяца (июль или ноябрь 1949 г.) приводила к разговорам о «вредительстве», было осуществлено целым коллективом сотрудников (в предисловии названо 8 человек помимо номинальных редакторов – Струве, Тихомирова и Гайдукевича) лишь в 1965 г. – *шестнадцать лет спустя*. С. Я. не дождался выхода в свет этой книги, сыгравшей столь важную роль в его судьбе.

Но весной 1949 г. он был еще жив и думал уже не о «Боспорских надписях», а о сохранении хоть какой-нибудь работы. Становилось все более ясным, что дело не ограничится увольнением из Института. Кампания шла повсюду, и Университет также должен был выполнять свои нормы по освобождению от космополитов. На историческом факультете С. Я. Лурье, в сущности, уже не работал, но его космополитизм был зарегистрирован именно по исторической линии; естественно, что и кафедра истории древнего мира не могла не отвести этой фигуре важнейшего места. Наряду с Ковалёвым, разоблачением С. Я. на истфаке занялась К. М. Колобова, много лет работавшая с С. Я. и постоянно выражавшая ему свое восхищение и благодарность за помощь в науке. По рассказам очевидцев, ее выступление против С. Я. было одним из наиболее воинственных.

¹⁰ Объяснительная записка С. Я. Лурье от 16 мая 1949 г.

¹¹ Акт от 7 мая 1949 г. подписали: К. Н. Сербина, С. И. Ковалёв, М. В. Левченко, М. Е. Сергеенко, Д. П. Каллистов и В. И. Рутенбург.

20 апреля 1949 г. в газете «Ленинградский университет» появилась заметка С. Волка «За партийность исторической науки». Когда в начале 1941 г. отмечалось пятидесятилетие С. Я., трогательный самодельный адрес поднесла ему группа студентов младших курсов, занимавшихся на кафедре древнего мира; первой на этом адресе стояла подпись Степы Волка. В 1949 г. Степа Волк писал о С. Я. так: «На факультете долгое время подвизался проф. С. Я. Лурье, последовательный выразитель идей буржуазного космополитизма. Он беспринципно пресмыкался перед немецкими “авторитетами”, игнорировал советскую науку. За свое раболепие перед западной “ученостью” проф. Лурье удостоился сомнительной чести печататься в гитлеровской Германии и фашистской Италии». С печатаньем в гитлеровской Германии Волк все-таки перестарался: даже если бы С. Я. захотел там печататься, то никак не смог бы это сделать – в вопросе о «безродных космополитах» гитлеровцы отличались непревзойденной последовательностью.

Остаться на филологическом факультете С. Я., казалось бы, могло помочь то обстоятельство, что в тамошних экзекуциях он вовсе не был видной фигурой: на филфаке истребляли космополитов от литературоведения – Эйхенбаума, Жирмунского, Азадовского и, в первую очередь, Г. А. Гуковского. С. Я. Лурье к этой категории не принадлежал. О. М. Фрейденберг, к этому времени (особенно после 1937 г.) уже утратившая вкус к «свежему притоку» идей «новой жизни», не испытывала теперь к С. Я. особенно враждебных чувств и готова была сохранить его в качестве преподавателя греческого языка. Обсуждение работ С. Я., проведенное на кафедре классической филологии, было самым либеральным из всех обсуждений 1949 г. Резолюция, вынесенная кафедрой, была максимально сдержанной, почти парламентской: «Признавая правильность критики серьезных идеологических ошибок, допущенных профессором С. Я. Лурье в его научных работах, принять к сведению заявление С. Я. Лурье о том, что он пересмотрел свои идеологические установки и работает над устранением допущенных ошибок».

Все это оказалось бесполезным. В конце июня 1949 г. ректор Университета проф. Домнин издал приказ: «За допущение ряда серьезных ошибок в своей научной и учебной работе Лурье С. Я., профессора кафедры классической филологии, освободить от работы в Университете с 1 июня 1949 г.». При оформлении трудовой книжки выяснилось, что Кодекс законов о труде (КЗоТ), этот пережиток 20-х годов, не знает такой мотивировки увольнения; администрации Университета (после вмешательства прокурора) при-

шлоось сослаться на ст. 47, п. «в» – «за несоответствие квалификации занимаемой должности».

Соломон Яковлевич обратился с заявлением в Министерство Высшего образования, адресовав копии ректору и (как положено советскому гражданину) в ЦК ВКП(б). Он признавал, что «допустил серьезные методологические ошибки», но они относились к исторической науке, а не к занятию греческим языком и чтению со студентами греческих авторов: «Эти занятия ни в какой связи с моими ошибочными взглядами в области истории не стояли, так как я не имел никакого повода касаться этих вопросов на своих занятиях языком... Педагогический труд в ЛГУ является основным содержанием моей долгой жизни, которая с уходом из Университета становится бесцельной и бессмысленной». Наряду с этим аргументом, чересчур человеческим для адресатов, приводились и более привычные: «В нашем Союзе все административные мероприятия принципиального характера подвергаются предварительному широкому обсуждению общественности предприятия. В настоящем случае моя учебная работа, за серьезные ошибки в которой я якобы уволен, вовсе не обсуждалась ни на факультете, ни на кафедре. Это явное нарушение принципов советской демократии... Наконец, увольнение меня, доктора исторических и филологических наук, по статье 47, п. “в” – т.е. за недостаток квалификации, я не могу рассматривать иначе, чем курьез...»

Это было как раз в те годы, когда в далеком каторжном лагере заключенный капитан второго ранга Буйновский заявлял, что его лагерное начальство «не имеет права» раздевать людей на морозе и не знает «девятую статью Уголовного Кодекса». «Имеют. Знают. Это ты, брат, еще не знаешь», – мысленно отвечал ему его товарищ Иван Денисович Шухов.

25 октября 1949 г. зам. министра А. И. Михайлов ответил С. Я. Лурье: «Министерство Высшего образования, рассмотрев Ваше заявление, а также материалы Ленинградского гос. Университета, считает решение ректора Университета об освобождении Вас от преподавательской работы правильным...»

На некоторое время С. И. Вавилов устроил С. Я. на работу в Комиссию по истории физико-математических наук (преемницу прежнего ИИНИТа) на должность младшего научного сотрудника без ученой степени; но вскоре ему пришлось отказаться от этого – на этот раз «несоответствие занимаемой должности» (доктор наук – младший научный сотрудник) было действительно налицо. С. Я. остался без работы.

А тем временем события вокруг принимали все более серьезный оборот. Одновременно с С. Я. был уволен из Университета

филолог Г. А. Гуковский; летом он и его брат историк М. А. Гуковский были арестованы. Возможно, что арест М. А. Гуковского был связан с «ленинградским делом»: непосредственные причины ареста Григория Гуковского остаются неизвестными. «Ленинградское дело» коснулось ряда академических и университетских деятелей. В числе их оказался не только бывший заведующий ЛОИИС И. Аввакумов, но и признанный носитель партийной линии на истфаке, ставший весной 1949 г. деканом истфака, – Н. А. Корнатовский. Еще в апреле С. С. Волк, осуждая «подвизавшегося» на истфаке Лурье, тут же почтительно упоминал имя нового декана – Корнатовского, возглавившего борьбу с космополитизмом. А уже 17 ноября в заметке того же «Ленинградского университета» в роли «подвизавшегося» был упомянут сам Корнатовский: «До последнего времени на факультете подвизался в качестве декана и заведующего кафедрой основ марксизма-ленинизма чуждый нашей партии лжеученый Корнатовский».

Н. А. Корнатовского арестовали; были исключены из партии и сняты с работы все его сотрудники по кафедре. Факультет лишился не только С. Я. Лурье, но и медиевистов М. А. Гуковского и О. Л. Вайнштейна, историка нового времени Н. П. Полетика (не приезжал больше и Е. В. Тарле). Уволен был В. В. Мавродин; кафедра истории СССР понесла и еще одну утрату – гораздо более важную. Был уволен из Университета Б. А. Романов, ставший после войны, пожалуй, наиболее любимым студентами профессором истфака. Теперь из старшего поколения оставался только С. Н. Валк – но он по своему характеру мог лишь служить своеобразной энциклопедией для уже избравших свой путь историков, а не воспламенять новых.

В конце 1950 г. С. Я. получил работу – правда, за пределами Ленинграда. После посмертного осуждения Марра Сталиным в 1950 г. и отмены «нового учения о языке» в вузах были введены курсы языкознания, построенные в обычном индоевропейском духе. С. Я. никогда не принимал яфетидологии, осмелился даже полемизировать с нею в первом томе «Истории Греции»; в 1948 г. его как раз упрекали в нежелании считаться с Н. Я. Марром. Одесский Институт иностранных языков согласился взять С. Я. на работу в качестве преподавателя латинского языка и общего языкознания. Директор Института, бывший кадровый работник и родственник министра просвещения УССР, откровенно объяснил ему причины такого снисхождения: на Украине было не более десятка докторов филологических наук и редкость ученой степени С. Я. в некоторой мере нейтрализовала его неудачные анкетные данные.

С. Я. поехал в Одессу, которую он всегда любил. Но заниматься греческой историей и литературой там было трудно: не было не-

обходимых книг, да и тяжело было работать заведомо «в стол», без надежды на публикацию в СССР или за границей.

Утешением, хотя и довольно слабым, могло быть лишь то, что произошедшее с ним было еще не самым худшим. Люди, которых выгоняли с работы в 1949–1952 гг., все время помнили, что публичное осуждение и увольнение с работы – это еще не все, чего они могут ждать. Арестованы были не только люди, причастные к «ленинградскому делу»; арестовывали театральных критиков, биологов-генетиков. После очередной «дискуссии» против виднейшего физиолога Л. А. Орбели, ближайшего сподвижника И. П. Павлова, обвиненного, однако, в борьбе против «павловского учения» (1950 г.), были арестованы биологи Л. Штерн, В. Парин. Лина Штерн – первая в СССР женщина академик, была также членом ликвидированного в 1949 г. Еврейско-го антифашистского комитета (он был учрежден во время войны, и глава его Михозэлс погиб еще в 1948 г. при загадочных – но теперь ставших понятными – обстоятельствах), почти все члены этого комитета (В. Зускин, П. Маркиш и другие) были арестованы; уничтожен был Госет – Еврейский театр. Внутри страны в отличие от 30-х годов пока еще не было открытых судебных процессов с признаниями подсудимых, но такие процессы происходили вовне: над обвиненными в титоизме партийными лидерами в восточно-европейских странах.

Здесь мы можем вернуться к поставленному выше вопросу: «Когда же было максимально горько?» Апокалипсис 1949–1953 гг. уступал Апокалипсису 1937–1939 гг. по масштабам арестов; но моральная атмосфера была не менее, а, пожалуй, еще более тяжелой. В конце 30-х годов среди апокалиптических бедствий могли существовать еще локальные «Афины». Теперь их не было – по крайней мере в том мире, в котором жило большинство советских граждан (о тюремных «шарашках» большинство граждан тогда еще ничего не знало).

Для С. Я. Лурье, во всяком случае, 1949–1953 гг. имели то особое значение, что они вновь напомнили ему о его сугубой обособленности в окружающем мире. Обособленность эта порождалась, как мы уже знаем, многими причинами – принадлежностью к «буржуазной интеллигенции», провинциальностью, но важнейшую роль играло тут непреходящее сознание своего еврейства – недаром он был автором «Античного антисемитизма». Годы «Великого перелома» и всеобщее истребление в 1930-е гг. на время притупили это ощущение – страх перед гибелью сравнивал всех, но в 1949 г. ему вновь напомнили о том, что среди подозрительных и ждущих своего часа он как «безродный космополит» занимает особое, важнейшее место.

Одесский период оказался недолгим. В 1952 г. в Праге был организован показательный процесс бывшего секретаря ЦК Сланского. Главный обвиняемый и большинство остальных подсудимых были евреи, и процесс был явно и открыто направлен против «мирового сионизма». В 1952 г. (официального сообщения не было) распространились слухи о расстреле деятелей Еврейского антифашистского комитета – включая Маркиша, Зускина и других. Стало известно также об аресте М. Вовси, двоюродного брата Михозлса, и других еврейских врачей. В этой обстановке пятый пункт С. Я. оказывался куда важнее его докторской степени; директор Одесского института больше не хотел его держать. Между тем ему исполнилось 60 лет, и он получал право на пенсию.

С. Я. вернулся в Ленинград в январе 1953 г.; в поезде услышал сообщение о деле врачей. День 13 января вряд ли когда-либо изгладится из памяти советских евреев, хотя в Ленинграде дело в основном ограничилось зловеще молчаливыми толпами, до ночи стоявшими у газетных стендов. Настроение С. Я. представить нетрудно. В его бумагах сохранились выписки статей, которыми тогда почему-то особенно отличался юмористический «Крокодил»: «Больной доверчиво смотрел в лицо маститого профессора... Они умели разыгрывать роли благородных людей. Впрочем, они прошли известную школу у лицедея Михозлса, для которого не было ничего святого, который ради 30 сребреников продавал свою душу...»¹²

Единственным человеком в семье, еще сохранившим в это время работу, оставалась сноха С. Я., жена его сына (сын, историк Древней Руси, лишился работы тогда же, когда и отец, – в 1949 г.). Она была врачом, но состояла на службе в Институте физиологии, заместителя директора которого С. Я. знал. Он решил пойти к этому лицу и прямо спросить его, может ли единственный еще работающий член его семьи сохранить свое место. Зам. директора не уклонился от ответа: он сказал, что вообще сноха С. Я. в Институте на хорошем счету, но что возможно полное освобождение лиц данной категории от подобной работы; во всяком случае, он надеется, что ее это коснется в последнюю очередь. Такая своеобразная любезность не могла не позабавить С. Я. сходством с обещанием гомеровского циклопа Полифема Одиссею – съесть его последним. Но по существу этот ответ был весьма мрачным: он подтверждал, что широкие и всеобъемлющие мероприятия еще впереди.

Новая политика, начатая «космополитической» кампанией 1949 г., шла к своему логическому концу.

¹² Отравители // Крокодил. 1953. № 3. С. 2; Ощипанный Джойнт // Там же. № 5. С. 10; Ардаматский В Пиня из Жмеринки // Там же. № 8. С. 13.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Представляли ли себе С. Я. и его близкие в первые месяцы 1953 г., что именно им грозит? Предчувствие бедствий никогда не оставляло его; он постоянно повторял слова из песни, принесенной в дом Нюрой и восходившей к популярному на Руси тюремно-блатному фольклору:

Я ведь знаю, что нас ожидает,
И в холодную хмурую ночь
Нас посадят в сырые вагоны,
Увезут, куда силе невмочь...

Но о том, насколько близка эта перспектива «сырых вагонов», о подготовлявшемся ходатайстве привилегированных евреев о высылке их преступного народа в Сибирь и о конкретной подготовке к такой депортации он тогда не знал; слухи об этом дошли до него уже задним числом. Пока же дело ограничивалось ожиданием неопределимой, но неотвратимой беды.

3 марта произошло то, чего никто не ждал: советские граждане слышали по радио о болезни Сталина. Через все репродукторы, включенные не только в квартирах, но и на улицах, регулярно передавались медицинские бюллетени; в московском Елоховском соборе патриарх всея Руси молился о здоровье вождя. Надеялся ли С. Я., что «чейн-стоксово дыхание» Сталина принесет облегчение стране и, конкретно, его народу?¹ Пожалуй, нет; он хорошо помнил рассказ о старушке, предпочитавшей страшного Дионисия Сиракузского неизвестному новому тирану. 5 марта молитвы за здоровье вождя сменились мольбами за упокой. Сталин был погребен в мавзолее; в течение месяца царил всеобщая неопределенность. 4 апреля появилось странное и первоначально никому непонятное сообщение МВД об отмене дела врачей – как фальсифицированного.

¹ *Дыхание Чейна-Стокса* – синдром предсмертных периодических остановок дыхания, свидетельствующий о глубоком кислородном голодании головного мозга. Этот медицинский термин бесконечно повторялся по радио в сводках о состоянии вождя. — *Примеч. сост.*

Лишь постепенно начали ощущаться признаки тех новых веяний, которые чуткий И. Г. Эренбург назвал «оттепелью». Весною на истфак приехали гости – какие-то античные историки из ГДР. Они сообщили, что из советских историков античности знают только С. Я. Лурье, и выразили желание повидаться с ним. Как обычно, непосредственной реакцией было вранье: вместо того чтобы просто сказать, что С. Я. не работает в Университете, вышел на пенсию, заявили, что он временно в отъезде.

Но уже в июне 1953 г. исчезнувший С. Я. Лурье неожиданно заявил о своем существовании. Это произошло в связи с защитой на филологическом факультете кандидатской диссертации молодого аспиранта О.

Соломон Яковлевич познакомился с О., когда тот был студентом Казанского университета или только поступал в аспирантуру в ЛГУ. С. Я. был болен и находился в больнице, но не отказал молодому филологу в консультации – тем более что О. занимался автором, не раз привлекавшим внимание С. Я., – Еврипидом. С. Я. дал начинающему исследователю прочесть свою неопубликованную докторскую диссертацию о политических тенденциях в античной драматургии. Но в 1953 г., когда диссертация О. была написана и представлена к защите, оказалось, что работу своего предшественника он использовал довольно своеобразно. Целый ряд построений С. Я. он принял и повторил – о пацифистских тенденциях в «Елене» и других трагедиях Еврипида, о различиях в отношении к рабам у Еврипида (трагедия «Александр») и у софиста Антифонта; однако ни в одном из этих случаев он на С. Я. не ссылался. Зато там, где О. со своим предшественником не соглашался, это несогласие высказывалось в самой резкой форме. Вдобавок выяснилось, что машинописный текст диссертации С. Я., с которой полемизировал О., находился в университетской библиотеке в отделе специального хранения. Такое помещение работы в спецхран, принятое обычно лишь по отношению к эмигрантам и репрессированным авторам, естественно, весьма облегчало заимствования из нее – их было трудно обнаружить.

Особенно обиженный тем, что эти неблагоприятные поступки были совершены молодым человеком, к которому он отнесся с полной благожелательностью, С. Я. решил протестовать. Вероятно, этот поступок, как и многие в его жизни, был не очень разумен и целесообразен. То, что сделал О., было, по нормам того времени, довольно обычным делом; по отношению к зарубежным авторам (например, к М. И. Ростовцеву) такая система даже рекомендовалась: ссылаться на них значило проявлять «низкопо-

клонство» перед иностранцами и буржуазными учеными. Правда, О. несколько расширил этот метод, распространив его на автора, находящегося в СССР и не арестованного. Однако речь шла о защите диссертации, деле сугубо практическом и насущно важном для молодого человека; удобно ли было нападать на него в такой момент?

Реакция бывших коллег по филфаку была, в общем, для С. Я. неблагоприятной. Сложным было положение одной из оппоненток О. – Н. В. Вулих. Дама пакостная и не любившая С. Я., она вместе с тем не испытывала симпатий к диссертанту, угадывая в нем возможного конкурента. Свое оппонентское выступление она построила довольно сложно, отметив, что в работе есть кое-какие «неоговоренные заимствования», и попеняв диссертанту за это. Но когда в ходе защиты стало ясным, что администрация филфака, и в частности ее виднейший представитель, организатор кампании против космополитов в 1949 г. и будущий либерал из «Нового мира» А. Г. Дементьев, горой стоит за диссертанта, Н. Вулих круто изменила позицию и заявила, что диссертация вполне оригинальна. Еще решительнее защищала О. другая оппонентка – уже знакомая нам М. Е. Сергеевко. Она специально подчеркнула свои заслуги перед С. Я. Лурье – именно она, оказывается, обнаружила, что его работы попали в спецхран, и уже приняла меры для их возвращения в открытые фонды. Но обижать подозрениями молодого исследователя она не позволит – этого не допускает ее совесть.

В соответствии с позицией начальства Ученый совет вообще отказался выслушать заявление С. Я. Лурье (отсутствующего на защите), но совсем скрыть его не удалось: Л. М. Глускина взяла слово после оппонентов и огласила письмо С. Я., прибавив к нему и свои возражения. Ее поддержало еще несколько человек; в защиту диссертанта выступили профессор Б. Г. Реизов и П. Н. Берков.

В общем, защита О. кончилась для него благополучно: лишь несколько человек проголосовали против. А для С. Я. Лурье эта история имела важное значение в одном отношении: она показывала, что в Ленинградский университет ему вернуться не удастся. Забегая вперед, укажем, что этот вывод оказался верным и для последующих лет его жизни – конца 1950–начала 1960-х гг.

Этому сюжету С. Я. посвятил даже стихи, пародирующие стихотворение Жуковского «Теон и Эсхин». «Эсхин» здесь – он сам, а «Теон» – Яков Маркович Боровский, в те трудные годы неожиданно и ненадолго ставший заведующим кафедрой классической филологии.

Эсхин возвращался к внучатам своим,
 К Невы берегам благовонным,
 Он долго гонялся за длинным рублем,
 Рубли, точно тень, убегали...

Приходит к Феону. Тот мирно сидит
 С своею тишайшей супругой.
 В стенах монастырских у брега Невы,²
 Заведуя кафедрой бурной.

«Я вижу, Эсхин, – возглашает Феон, –
 Ты хочешь назад возвратиться,
 Смиренно покаяться в прежних грехах
 И смыть с себя скверны былые».

«Хотел бы, конечно, – ответил Эсхин, –
 Но нет уж мне жизни отрадной:
 С Наташкой и Ксюшкой я был неучтив³ –
 Я – пес недостойный и смрадный.

Кто их не почтил, тот уже никогда
 Назад в Ленинград не вернется.
 Ах, воздух, что Ксюшкой с Наташкой смердел,
 Он тот же, все ими он полон!
 Нет, милый Феон, мне давно уж пора,
 А иду (а Jüd'u) – в Аид провалиться...»

Но пенсионером он себя еще не чувствовал и оставаться без работы не хотел. Когда осенью 1953 г. был объявлен конкурс на кафедре классической филологии Львовского университета, он подал документы и был принят на работу. Наступал последний, львовский период его жизни.

Конец 1953 г. ознаменован еще одним событием в его биографии. После двадцати лет вдовства он вторично женился – на Лидии Абрамовне Лебедевой, с которой познакомился во время войны, в Иркутске, где она работала на филологическом факультете Университета. Переехав в 1953 г. вместе с С. Я. во Львов, она и там стала преподавать в Университете (русскую литературу XIX в.).

Научная среда, в которую попал С. Я., во многом отличалась от ленинградской. Традиция изучения классических языков не была прервана во Львове так резко, как в русских университетах; греческий и, особенно, латинский языки его коллеги знали хорошо.

² Я. М. Боровский, потерявший свою жилплощадь во время войны, в это время жил в келье бывшего Смольного монастыря. — *Примеч. сост.*

³ «Наташка» – Н. В. Вулих, «Ксюшка» – К. М. Колобова.

Наиболее колоритной фигурой был Ю. Ф. Мушак, латино-украинская речь которого и весь облик пьяницы-философа приводил на память не то гоголевского Хому Брута, не то Киево-Могилянскую академию. К Мушаку С. Я. относился очень хорошо, другие коллеги нравились ему меньше, но в общем классические филологи Львова, воспитанные в польской школе, были для него еще более далеки, чем мир петербургских классиков сорок лет тому назад. Собственные ученики появились у С. Я. во Львове позже; пока же открывшаяся вновь после пяти лет перерыва⁴ возможность печататься (сперва в СССР, а с 1957 г. – и за границей) побуждала его вновь обратиться к научной работе.

Основной темой исследований С. Я. этих лет была расшифровка и прочтение надписей, написанных одним из видов крито-микенской письменности – так называемым линейным письмом В (XV–XIII вв. до н. э.). Проблема расшифровки загадочной письменности, существовавшей в Крите и на Пелопонесском полуострове задолго до появления греческого алфавита, привлекала его еще с 30-х годов. На столе у него всегда лежала фотография диска из критского города Феста, покрытого странными письменами, следующими друг за другом по спирали. Письмена эти имеют вид иероглифов, но, судя по правильности их чередования, скорее всего представляют собой слоговое письмо (силлабарий). Аналогичное слоговое письмо (хотя и с иными знаками) существовало и в классическое время (V–IV вв. до н. э.) на острове Кипр.

Упомянув о кипрском силлабрии в первой части «Истории Греции», С. Я. обращал внимание на то, что хотя знаки еще употреблялись для передачи греческих текстов, они плохо подходили для греческого языка. Даже название «Кюпрос» (Кипр) писали, например, «Кю-по-ро-се», чтение греческих слов в кипрских надписях превращается поэтому в разгадывание загадок.

Слоговым было, очевидно, и крито-микенское письмо, язык которого был неизвестен. Большинство надписей из Крита тогда еще не было опубликовано, но в 1939 г. было обнаружено около 600 глиняных табличек, обгоревших во время пожара дворца и превратившихся в кирпич; они оказались исписанными микенским письмом В. «Так как эти тексты написаны, скорее всего, на греческом языке, то все данные за то, что удастся расшифровать и критские письмены», – писал С. Я. в книге, вы-

⁴ После 1948 г. и до 1954 г. С. Я. фактически не печатался ни разу; единственным исключением была статья в БСЭ об Архимеде, написанная до 1949 г. и неожиданно опубликованная в 1951 г.

шедшей в 1940 г., ссылаясь на аналогичное мнение лингвиста П. Кречмера.⁵

В 1947–1954 гг. С. Я. опубликовал две рецензии на книги, посвященные расшифровке Микенского письма: одна из них принадлежала чешскому филологу Б. Грозному, известному своей расшифровкой хеттской письменности, другая – болгарскому лингвисту В. Георгиеву. Обе рецензии были отрицательными. Предложенные обоими авторами значения знаков не давали возможности прочесть хоть какой-либо связный текст. Исходное предположение В. Георгиева – о греческом языке ряда микенских надписей – С. Я. признавал вероятным, но указывал, что конкретная расшифровка знаков, предложенная им, произвольна (В. Георгиев исходил из предположения, что оба микенских письма (и В и А) – протогреческие и что не греки заимствовали свою письменность у финикийцев, а финикийцы у греков).⁶ Уже когда С. Я. писал рецензию на В. Георгиева, появилась статья английского исследователя М. Вентриса, написанная им совместно с Дж. Чедвиком, но С. Я., указав, что система Вентриса дает возможность прочесть значительное количество надписей, отметил лишь, что совпадение в части выводов между Георгиевым и Вентрисом (признание линейного письма В греческим) само по себе не доказывает верности взгляда, ибо большинство знаков определено ими по-разному.⁷

Свои первоначальные колебания в оценке открытия Вентриса отмечал впоследствии и сам С. Я.: «Только после того, как я занялся кропотливым трудом разбора всего эпиграфического материала, я убедился, что в целом ряде случаев получается убедительный греческий контекст... Я понял, что это не может быть случайностью и что дешифровка Вентриса не фантастический домысел, а гениальное научное открытие».⁸

Уже в 1955 г. появилась первая статья С. Я., посвященная пилосским надписям. Это была уже не рецензия, а опыт чтения новых надписей, основанный на системе расшифровки Вентриса, с рядом дополнений и изменений в ней.⁹ И далее ежегодно в «Вестнике древней истории» и в ряде иностранных изданий стали появляться его статьи, посвященные микенским надпи-

⁵ Лурье С. Я. История Греции. Л., 1940. Ч. 1. С. 64–65.

⁶ Лурье С. Я. Догреческие надписи Крита // ВДИ. 1947. № 4. С. 70.

⁷ Лурье С. Я. Рец. на кн.: Георгиев В. Проблемы минойского языка // ВДИ. 1954. № 3. С. 104–114. Ср.: Там же. С. 111, примеч. 1.

⁸ Лурье С. Я. Обзор новейшей литературы по греческим надписям микенской эпохи // ВДИ. 1957. № 3. С. 197.

⁹ Лурье С. Я. Опыт чтения пилосских надписей // ВДИ. 1955. № 3. С. 8–36.

сям. Для отправки статьи за границу нужна была теперь особая, весьма сложная процедура – утверждение местного начальства, утверждение центрального начальства и т. д., но он несколько ускорял ее, прямо посылая по почте статьи на немецком языке и одновременно отдавая на проверку русский вариант. При этом бывали случаи, когда статья утверждалась к отправлению уже после того, как она была напечатана, но при малой доступности иностранных научных изданий ни к каким неприятностям это не приводило. Он завязал переписку и с Вентрисом, и тот сообщил ему, что «as a matter of fact» он знает и русский язык, и даже прислал русское письмо, написанное латинским шрифтом,¹⁰ но переписка вскоре прервалась: 6 сентября 1956 г. Вентрис стал жертвой несчастного случая, когда его машина столкнулась с грузовиком.

В 1957 г. С. Я. Лурье опубликовал монографию «Язык и культура микенской Греции» – обобщающее исследование, основанное на расшифрованной письменности. В 1967 г. Дж. Чедвик, соавтор М. Вентриса, писал о работе С. Я.: «Очень жаль, что до сих пор в исследованиях по микенологии принимали участие лишь немногие русские ученые. Среди них прежде всего нужно назвать С. Я. Лурье, профессора Львовского университета. Он начал интересоваться проблемой линейного письма задолго до его дешифровки, однако он быстро оценил достоинство теории Вентриса и вскоре изложил ее на русском языке. Естественным результатом работы С. Я. Лурье явилась его книга “Язык и культура микенской Греции” (Москва, 1957)... Конечно, если бы С. Я. Лурье был сейчас жив, он захотел бы многое изменить в своей книге; он также чувствовал свою оторванность от других микенологов, и, хотя мы дискутировали на страницах научных журналов, а между собой вели оживленную переписку, все это не могло заменить непосредственного общения и устного обсуждения наших проблем. Несколько раз его приглашали на коллоквиумы, но из-за плохого здоровья и преклонного возраста он не мог поехать за границу и принять в них участие. Я сожалею, что мы так никогда и не встретились...»¹¹

К этому можно добавить только, что в те же годы из Советского Союза ездили в научные командировки лица не менее почтенно-

¹⁰ Письма М. Вентриса к С. Я. Лурье от 31 декабря 1955 г. и 16 февраля 1956 г.

¹¹ Чедуик (Чедвик) Дж. Предисловие к русскому изданию книги «Дешифровка линейного письма В», включенной (с сокр.) в сборник «Тайны древних письмен: проблемы дешифровки» (М., 1976. С. 110).

го возраста (и с наилучшим здоровьем), чем С. Я. Лурье, и что после каждого приглашения С. Я. ходатайствовал перед своим начальством о разрешении поехать на коллоквиум или конгресс: ответом была обычно ссылка (почти всегда – задним числом) на незапланированность поездки, отсутствие необходимых средств на нее и т. д.; иностранцам тем временем сообщали о плохом здоровье старого ученого.

Но если в число избранных, которым «довелось» (почему-то здесь всегда употребляется этот глагол) побывать за границей, С. Я. так и не попал, то внутри страны его работа над микенской письменностью была встречена с небывалой по отношению к нему доброжелательностью.

Книга «Язык и культура микенской Греции» была едва ли не единственной научной работой С. Я., которая никогда не ставилась ему в упрек, а, напротив, неизменно упоминалась – в юбилейных, а потом и некрологических статьях – как большое, пожалуй, даже важнейшее его достижение.

Сам он очень хорошо знал цену этим похвалам. Один из докладов о расшифровке микенской письменности он читал в Москве в секторе древней истории Института истории. Председательствующий Сергей Львович Утченко, всегда демонстрировавший свое доброе отношение к С. Я., в начале 50-х годов, как зам. редактора «ВДИ», успел напечатать немало пакостей против него; но теперь «оттепель» была в разгаре, и он лучился благоволением. Ничего по существу доклада ни Утченко, ни кто-либо иной из присутствующих сказать не могли, но все не преминули упомянуть о том, что работа сделана «на самом высоком уровне», обнаруживает «беспредельную эрудицию» автора, «будит мысль» и т. д. Это были такие же пустые слова, как и то, что говорилось в течение многих лет против С. Я. Ему чрезвычайно редко выпадала радость серьезного обмена мыслями с коллегами: обычно его или били дубиной по голове, или поливали елеем.

Благожелательная реакция на его работы по крито-микенской письменности не внушала С. Я. особой радости. Он понимал, что его роль в исследовании этой письменности – вторична, что решить загадку, много лет интересовавшую его, и притом решить ее очень близкими ему методами – почти математически – удалось не ему, а другому человеку, который по возрасту мог быть его сыном.

Однако эта благожелательная реакция вызвала все-таки у С. Я. одну иллюзию: ему стало казаться, что «абсолютная простреливаемость» науки, установившаяся в конце 40-х годов, сменилась характерным для конца 30-х годов разграничением сфер влияния,

при котором общее направление исторического процесса было твердо установлено официальной теорией, но конкретные вопросы можно было решать свободно – в соответствии с данными источников. Тем самым опять могли возродиться локальные научные «Афины». В такой надежде он сделал попытку воскресить и опубликовать свою давнюю работу, написанную сразу после войны, но не увидевшую света из-за событий 1948–1949 гг.

Речь шла об открытии, имевшем, конечно, частное значение, но весьма удачном, – о новом прочтении и истолковании памятника, уже давно привлекавшего внимание русских ученых. Еще в 1885 г. известный эпитаграфист В. Латышев издал почетный херсонесский декрет в честь полководца II в. до н. э. Диофанта, где упоминалось, что во время пребывания Диофанта в Боспорском царстве «скифы с Савмаком во главе устроили мятеж и убили вскормившего его боспорского царя Перисада, а против него самого составили заговор»; Диофант сумел справиться с этим заговором и убить Савмака.¹² Кто такой был Савмак? Исследователи полагали, что это был скифский царевич, воспитанный царем Перисадом.¹³ В 1933 г. С. А. Жебелёв обратил внимание на эту надпись и высказал мнение, что слово «вскормить» (*ἐκτρέψαντα*), помещенное здесь, может быть употреблено по отношению к домашнему рабу и что, вероятно, Савмак был рабом. Едва ли можно сомневаться в научной добросовестности этого толкования, но, конечно, С. А. очень хорошо понимал, как оно будет звучать в тогдашней обстановке. Уже создана была схема общественных формаций – античность была признана рабовладельческой формацией; в феврале 1933 г. было объявлено о «революции рабов», свергнувшей рабовладельческий строй. И в этой-то обстановке происходит открытие рабского восстания на территории нашего отечества – открытие, сделанное почтенным, заслуживающим полного доверия ученым! Жебелёв даже острил: «Теперь мне большевики вот такую медаль выдадут!» – и показывал руками колесо. Медаль ему не выдали, но со всеми разговорами о «махровом черносотенце» было покончено; статья 1933 г. несколько раз переиздавалась¹⁴ (в том числе по-французски – в годы, когда печатанье за границей в принципе не допускалось); раб-революционер Савмак вошел во все учебники, а Жебелёв вплоть до сво-

¹² *Inscriptiones Orae Septentrionalis Ponti Euxini. 1885. Т. 1, № 352. (2-е изд. – 1916).*

¹³ Древний мир на юге России: *Изборник источников / Под ред. проф. Б. А. Тураева, И. Н. Бороздина и Б. В. Фармаковского. М., 1918. С. 68.*

¹⁴ *Жебелёв С. А. Северное Причерноморье. М.; Л., 1958. С. 82–115.*

ей смерти в 1941 г. считался авторитетнейшим представителем советской науки об античности.

В 1948 г., готовя боспорские надписи к переизданию, С. Я. вновь обратился к херсонесскому декрету в честь Диофанта, и ему пришло в голову неожиданное соображение, никем прежде не высказывавшееся. «Вскормившего его боспорского царя Перисада» – кого «его»? Декрет издан в честь Диофанта, и слово «*αὐτόν*» – «его» естественнее всего относить к Диофанту. «Когда же скифы с Савмаком во главе произвели мятеж и убили вскормившего его боспорского царя Перисада, а против него самого составили заговор, он, избежав опасности, прибыл в Херсонес, призвал на помощь граждан... а Савмака, убийцу Перисада, захватил в свои руки». С. Я. отмечал, что «совершенно не засвидетельствованы и стилистически невозможны случаи, когда бы слово “*αὐτόν*”, встречаясь в одном и том же предложении, один раз означало чествуемое лицо, а другой – какого-либо другого человека». Воспитанником Перисада был Диофант, отомстивший Савмаку за своего приемного отца и совершивший другие подвиги, о которых и повествует посвященный ему декрет. Доклад о декрете в честь Диофанта был сделан С. Я. на сессии по истории Крыма в Симферополе; заметка об этой сессии появилась в «Вопросах истории». Докладчик, говорилось в заметке, пришел к выводу, что «Савмак был, скорее всего, скифским царьком, присоединившим к своим владениям Боспор. О борьбе с Савмаком в декрете говорится лишь как об одном из эпизодов большой войны со скифами; воспитанником царя Перисада был не Савмак, а Диофант».¹⁵

Выступление С. Я. не осталось незамеченным: в том же 1948 г. его упомянул В. Ф. Гайдукевич в примечании к своей книге «Боспорское царство». В момент написания книги Гайдукевича С. Я. не был еще разоблачен как космополит, и на сессии в Симферополе Д. П. Каллистов даже признал его аргументацию убедительной; на всякий случай в тексте книги В. Ф. Гайдукевич не стал именовать Савмака рабом, характеризуя его выступление просто как «восстание скифов, возглавленное Савмаком». Доклад С. Я. Лурье В. Ф. Гайдукевич упомянул, указав, что «наиболее решительно против концепции С. А. Жебелёва выступил недавно профессор С. Я. Лурье», и добавил: «Не входя в детали, можно все же сказать, что, с филологической точки зрения, доказательства, выдвигаемые противниками С. А. Жебелёва, от-

¹⁵ Вопросы истории. 1948. № 12. С. 183.

нюдь не бесспорны. Но оставим филологическую сторону вопроса».¹⁶

Заметка в «Вопросах истории» осталась единственной формой публикации работы С. Я. более чем на десять лет. Но даже эта заметка и филологически беспомощные ответные замечания Гайдукевича создавали сложную ситуацию: свидетельство, на котором основывалось важнейшее положение о рабском восстании в Причерноморье во II в. до н. э., оказывалось под сомнением. Необходимо было все-таки обратиться к «филологической стороне вопроса». Но ни Гайдукевич, ни остальные историки античного Причерноморья не чувствовали себя достаточно подготовленными к такой полемике. И тогда за дело взялся В. В. Струве, занимавшийся всю жизнь древним Востоком, но получивший как-никак филологическое образование в Петербургском университете и обладавший академическим авторитетом. Свою статью о восстании Савмака он написал в 1950 г., когда С. Я. Лурье уже был заклеимен и изгнан из Академии наук и Ленинградского университета и наверняка не имел ни малейшей возможности ответить своему оппоненту. Собственно, и самой работы С. Я. перед Василием Васильевичем не было (он опирался на изложение Гайдукевича и заметку в журнале), но он делал вид, что все обстоит нормально и происходит обычная научная полемика.

В отличие от Гайдукевича Струве понял, что если читать текст декрета в честь Диофанта так, как это делал Латышев, то «вскормившего его (« $\alpha\upsilon\tau\acute{o}\nu$ »)» придется относить к Диофанту, а это вызовет «непреодолимые трудности». Но так как последняя буква в слове « $\alpha\upsilon\tau\acute{o}\nu$ » уже в 1916 г. не читалась, то Струве предлагал восстанавливать его как « $\alpha\upsilon\tau\{\acute{o}\nu\}$ » – «их» – тогда это слово уже нельзя будет относить ни к Диофанту, ни к Савмаку, а ко всем восставшим рабам: царь Перисад, таким образом, «вскормил» не одного человека, а всю массу скифов, восставших против него во II в. до н. э. Вводя, таким образом, новое чтение текста, В. В. скромно оговаривался: «Если я смог исправить чтение столь талантливого и опытного эпиграфиста, каковым был акад. В. В. Латышев, то это было обусловлено исключительно тем, что я, как советский ученый, поставлен в более благоприятные условия работы, нежели этот крупный русский ученый дореволюционной эпохи. Наша передовая техника, а также интерес руководства Гос. Эрмитажа к научно-исследовательской работе создали необходимые предпосыл-

¹⁶ Гайдукевич В. Боспорское царство. М.; Л., 1949. С. 303, 336–337 (примеч.).

ки для плодотворного изучения этого важнейшего эпиграфического памятника. Путь же к правильному решению задачи указало ценнейшее наблюдение советского историка С. А. Жебелёва, который сделал его, будучи вооруженным теорией марксизма-ленинизма». И в конце статьи, ссылаясь на замечание русского историка Б. Д. Грекова о том, что уменье Жебелёва «видеть то, чего не видел никто» до него, объяснял, что «интерпретация восстания Савмака, покоящаяся на положении товарища Сталина об освободительных движениях рабов и глубоком изучении источника, выдержала испытание временем».¹⁷

Прошло восемь-девять лет, состоялся XX съезд, и ссылка на «положение товарища Сталина» о революции рабов потеряла свою непререкаемую силу. Теперь вопрос, казалось бы, можно было поднять заново. В 1957–1958 гг. С. Я. предложил «Вестнику древней истории» статью о декрете в честь Диофанта, которая была бы первым полным изложением его исследования по этому вопросу и вместе с тем содержала бы ответ В. Ф. Гайдукевичу и В. В. Струве. Редакция «ВДИ» под разными предлогами уклонялась от этого предложения. Тогда С. Я. послал свою статью в Польшу, где в это время наблюдалось значительное оживление духовной жизни. В 1959 г. польский журнал по античной истории «Meander» напечатал эту статью, но не по-русски, а в переводе (сделанном без консультации с автором и с рядом ошибок, за которые редакция потом извинилась) на польский язык.¹⁸

В статье «Еще раз о декрете в честь Диофанта» С. Я. отмечал несколько странную позицию своих оппонентов, один из которых (Гайдукевич) вообще «оставил филологическую сторону вопроса», а другой (Струве) предложил совершенно новое, никак не доказанное чтение текста; приложенная В. В. Струве фотография (тот самый продукт «нашей передовой техники», о котором писал В. В.) не дает ни малейших оснований увидеть предположенное им окончание «-οὐς». Во всяком случае, чтение В. В. вовсе не подтверждает интерпретацию С. А. Жебелёва, а резко расходится с чтением, принятым им и всеми остальными авторами: «вскормленниками» Перисада объявляются все скифы-повстанцы, а не Савмак. Если же читать текст по-прежнему, то «αὐτόν» естественно относить именно к Диофанту. С. Я. предлагал каждому, «хоть

¹⁷ Струве В. В. Восстание Савмака // ВДИ. 1950. № 3. С. 27–29, 40.

¹⁸ Lurie S. J. Jeszcze o dekrecie ku czci Diofantosa // Meander. 1959. Rok. 14, zeszyt 2. Str. 67–78. Cp.: Ibid. Zeszyt 4–5. Str. 269.

немного знающему греческий язык», проанализировать вполне аналогичную фразу: «убили его отца, а против него самого составили заговор», чтобы убедиться, что «его» в обоих случаях относится к одному лицу.¹⁹

Но прежде всего С. Я. настаивал на том, что установление исторических фактов нельзя выводить из общей «исторической точки зрения» – оно может основываться только на источнике. «Как известно, перевод каждого текста должен быть прежде всего правильным с точки зрения грамматики и лексики, и только когда мы имеем перед собой безупречный с языковой точки зрения перевод, мы можем на основании его строить те или иные фактические выводы. Противопоставление грамматических аргументов “историческим” не имеет смысла», – писал он.²⁰

Ответная кампания, начавшаяся сразу после появления статьи в «Meander» была проведена под флагом защиты Жебелёва. В конце 1959 г. было созвано заседание в Институте истории материальной культуры – преемнике бывшего ГАИМКа, получившем теперь более скромное наименование Института археологии. Не употребляя термина «антипатриотизм», столь популярного за десять лет до этого, ораторы, однако, подчеркивали неблагоприятное поведение С. Я. Лурье, вступившего в полемику с русскими учеными в заграничном, польском журнале. В. В. Струве сказал, что С. Я., обидев С. А. Жебелёва, тем самым нанес оскорбление «русской советской науке» в целом. Один из коллег напомнил В. В. в кулуарах, что тридцать лет тому назад (во время выборов в Академию наук в 1927 г.) он не был столь высокого мнения о Жебелёве. Но Василий Васильевич отвел такие обращения к прошлому не менее достойно, чем это делал его тезка князь Василий Курагин (в «Войне и мире»), когда ему напоминали об изменении его оценки Кутузова. «Я считаю, – торжественно заявил В. В., – что Сергей Александрович был великим русским ученым».

Однако последствий эта дискуссия не имела. Спор о Савмаке и Диофанте в советской исторической науке²¹ закончился как бы вничью. Но С. Я. должен был убедиться, что его надежды на восстановление нормальной возможности заниматься филологическими исследованиями по-настоящему, на основе одних лишь ис-

¹⁹ Lurie S. J. Op. cit. Str. 73.

²⁰ Ibid. Str. 68.

²¹ За рубежом спор советских историков о Савмаке и декрете в честь Диофанта получил в последние годы довольно широкий отклик. Ср.: Actes de Colloque 1973 sur l'esclavage. Paris, 1976 (выступление Б. Наделя). P. 204–210.

точников, не осуществимы. Неправомерная дедукция, подгонка под заранее намеченные выводы продолжала господствовать над индуктивными исследованиями. Все гуманитарные науки, включая филологию, по-прежнему строились от «концепции», от заданных схем; если что и изменилось, то не метод, а содержание самих этих схем. Прежняя концепция исторического процесса становилась менее определенной и менее важной с идеологической точки зрения; теория формаций сохранялась, но скорее по инерции; социологические схемы сменялись национально-патриотическими эмоциями. Именно это обстоятельство, а вовсе не убедительность предложенного им прочтения текста, предопределило относительно благополучный исход последней эскапады С. Я. Лурье – дела о декрете в честь Диофанта. Если бы его работа задевала национальные эмоции – ему так же не поздоровилось бы, как в предшествующие годы. Но речь шла о Боспорском царстве конца II в. н. э., о потерявшей свою актуальность революции рабов, о классовой борьбе – сюжетах, давно уже не волновавших законодателей отечественной исторической науки.²²

Вокруг С. Я. уже не было Апокалипсиса прежних десятилетий, но не было и «Афин», чудом возродившихся на истфаке конца 1930-х гг. Научной среды, в которой вырос С. Я., более не существовало. Как и ленинградские кафедры, где он прежде работал, кафедра классической филологии Львовского университета состояла из очень различных людей и раздиралась многими страстями и внутренними противоречиями. Но характер этих страстей был несколько иным, чем в Ленинграде.

Это была Западная Украина, область, находившаяся до 1939 г. вне Советского Союза, а в 1941–1944 гг. оккупированная немцами. Привычный для С. Я. еврейский вопрос играл здесь незначительную роль; местное еврейство было уничтожено фашистами (исключение составляли несколько человек, которых с риском для собственной жизни укрывали их арийские друзья, – один из таких евреев, доктор Блей, три года просидевший замураванным в тайнике, был последним врачом, лечившим С. Я.). Но важнейшее значение имела зато другая национальная проблема – русско-украинские взаимоотношения.

²² Статья А. К. Гаврилова «Скифы Савмака — восстание или вторжение?», напечатанная в сборнике, который посвящен памяти С. Я. Лурье, поставила точку в этом затянувшемся споре (см.: Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья. СПб., 1992, С. 53–73). — *Примеч. сост.*

Все львовские ученики С. Я. Лурье были украинцами – во Львове они составляли абсолютное большинство. Их обучали русскому языку, но думать, говорить и писать они привыкли по-украински. Особых затруднений в общении это не вызывало. Как и любой человек, владеющий русским (а с детства – и белорусским) языком, С. Я. достаточно хорошо понимал украинскую речь.

Поведение людей, приехавших с востока (в том числе и его единоплеменников – евреев, усердно подчеркивающих в этих случаях свою русскость) и третировавших местных жителей как «бандеровцев», казалось ему отвратительным. Но при всем том, конечно, местная среда и местные интересы были ему еще более чужды, чем петербургская среда конца 1910-х гг. после приезда из Могилева. Во Львове он еще острее, чем всегда, ощущал себя «безродным космополитом».

С 1956 г. кадровая политика, ограничивавшая до того времени главным образом прием отдельных категорий лиц в аспирантуру и на престижные должности, стала распространяться на прием в вузы (до того времени прием в большинство институтов был довольно широким и особых ограничений не было). Как и в дореволюционное время, эта политика мотивировалась (в устных разъяснениях) необходимостью установить соответствие между тем процентом, который составляет та или иная национальность в общем составе населения, и процентом ее представителей в вузах. В РСФСР говорили еще о необходимой защите естественных прав «коренного населения». Как же их защитить? Формальная процентная норма никогда не провозглашалась; задача установления необходимого соотношения возлагалась на приемные экзаменационные комиссии. И, надо сказать, обычно они справлялись с этой задачей превосходно, проводя экзамены не формально, на основе одних лишь фактических знаний (как это делали при старой процентной норме), а индивидуально, с учетом многочисленных факторов. Появилась сложная, но понятная участникам игры терминология: «списки (абитуриентов) на повышение», «на понижение», галочки и иные пометы в списках; важнейшую роль играл не только «пятый пункт» анкеты (национальность), но и общественно-административное положение родителей. Побочным, но неизбежным дополнением к этой системе стали и материальные расчеты – безличные («я – тебе, ты – мне») и наличные.

На Западной Украине все эти явления развились не менее ярко, чем в РСФСР, но с рядом местных особенностей. «Коренным населением» на Украине были, естественно, украинцы; во Львове

они составляли бесспорное большинство. Однако предпочтение «коренного населения» другим восточным славянам здесь квалифицировалось как «буржуазный национализм». Чуткие экзаменаторы, добываясь нужного национального состава вновь принятых студентов, исходили из того, что «коренное население» может иметь преимущество лишь над сугубо «некоренными» национальными меньшинствами, просочившимися во Львов с востока, а никак не над «первыми среди равных». Но отказ от излишне «деловой» оценки абитуриентов, основанной только на их знаниях, и поощрение иных критериев неизбежно порождал у экзаменаторов чувство свободы от моральных факторов и интерес к чисто материальным. Так было всюду, но на юге это обнаруживалось с большей откровенностью, чем в Ленинграде или Москве. После нескольких лет знакомства с С. Я. некоторые студенты рассказывали ему, в какую сумму обошлось родителям их поступление в Университет.

Не только вопрос о «пятом пункте» анкеты стоял во Львове иначе, чем в русских областях. Важное значение имел здесь другой анкетный минус – для Ленинграда редкий и весьма злоеущий – пребывание на оккупированной территории. Минус этот числился за большинством коллег С. Я., но на их положение он влиял по-разному. В течение ряда лет заведующим кафедрой, на которой работал С. Я., был Билык, человек, о котором было известно, что при немцах он заведовал биржей труда – посылал людей на работу в Германию. Но, как это ни странно, такое активное сотрудничество с оккупантами не только не навлекло на Билыка опалы, но и не мешало ему занимать видное место в университетской администрации. Коллеги объясняли это особыми заслугами Билыка в послевоенный период. В других случаях пребывание в оккупации было постоянным источником ограничений. Традиционной причиной служебных и иных неприятностей была также религиозность – в те годы гораздо более распространенная в Западной Украине, чем в исконно советских областях. Существовавшая в течение нескольких веков униатская (греко-католическая) церковь была ликвидирована; приверженцы ее либо возвращались в лоно восточного православия, либо переходили в католицизм. К католикам относились особенно подозрительно, но и активных посетителей православных храмов – особенно из числа молодежи – тоже не одобряли.

Билык вскоре понял, что, несмотря на ленинградское происхождение, С. Я., со столичной точки зрения, отнюдь не *persona grata*. Свое отношение к С. Я. он выразил, когда тот попытался в очередной раз получить характеристики – для подачи на конкурс в Мос-

ковский университет (где освободилась кафедра классической филологии) или для поездки за границу. В характеристике (которую С. Я. процитировал в «Автонекрологе») было сказано: «В идейно-воспитательной и общественной работе кафедры принимает недостаточное участие. Пассивное отношение проф. Лурье к общественно-политическим мероприятиям кафедры и факультета препятствует идейному воспитанию студентов». Однако довести дело до привычных С. Я. по 1930–1940-м гг. масштабов Бильку не удалось – времена были уже не те. После протеста С. Я. характеристика которая все равно не понадобилась) была изменена: в ней было сказано, что общественной работы профессор не ведет «за похілий вік» (из-за пожилого возраста).

«Похілий вік» во многих отношениях сказывался на положении С. Я. в эти годы. Как и многих его ровесников, доживших до этих лет, его уже начали рассматривать как некоторую достопримечательность в своей области, годную для демонстрирования, но достаточно безвредную в смысле конкуренции. Эта непривычная для С. Я. роль отразилась в своеобразной дискуссии, разгоревшейся между итальянским филологом-классиком А. Момильяно и секретарем редакции «Вестника древней истории» Г. Г. Дилигенским. Говоря о новых явлениях в советской историографии, Момильяно рекомендовал в связи с этим «проследить за уважением, с которым упоминают теперь о Соломоне Яковлевиче Лурье, или, лучше сказать, о Salomo Luria, русском филологе, хорошо знакомом итальянским читателям по своему сотрудничеству в “Rivista di Filologia Classica” и других итальянских (а также немецких) изданиях до 1935 г.». Упомянув далее о «блестящей Петербургской школе», из которой вышел С. Я., об «Антисемитизме в древнем мире» и высказав мысль о том, что С. Я. никогда «не принимал внутренне нового порядка», А. Момильяно вспомнил о тех нападках, каким С. Я. подвергался с 1948 г. за книги о Геродоте и истории античной науки и о его отъезде из Ленинграда. Теперь же, отметил итальянский филолог, «официозный» орган советской историографии античности посвятил С. Я. Лурье специальную статью к его 70-летию юбилею.²³ В ответной статье Г. Дилигенский выразил глубокое возмущение тем, «как Момильяно представляет себе научную жизнь в нашей стране. Юбилейная статья, посвященная редакцией журнала “Вестник древней истории” видному советскому ученому, объявляется “официозной”, и поскольку тот же журнал

²³ *Momigliano A. Risposta ad un critico russo // Rivista storica italiana. 1962. T. 74, fasc. 1. P. 141–142.*

подвергал некоторые работы этого ученого критике, то празднование его юбилея рассматривается как результат “изменения директив в области культуры”. Снова пресловутые “директивы”!».²⁴

Семидесятилетний юбилей С. Я. действительно был торжественно отмечен (в начале 1961 г.). И действительно, «ВДИ», который «подвергал некоторые работы этого ученого критике» – или, говоря точнее, обвинял его в «низкопоклонстве перед иностранщиной», «крайне низком идейном уровне», «порочных идеологических установках», «космополитизме», совсем недавно – в «дезориентации читателя» с целью вызвать у него «ложные умозаключения», а однажды даже в плагиате,²⁵ – этот самый журнал посвятил теперь С. Я. Лурье юбилейную статью.

Сам же юбилей был, как всегда, нелеп и бессмыслен. Произносились этикетные речи, подносились какие-то папки с адресами; С. Я. с ошалелым видом пожимал руки и смотрел в живот поздравлявшим.

Возраст его сказывался и в другом. Он много печатался в эти годы, но это были по преимуществу работы по частным вопросам. Наиболее характерной для последних лет его жизни была, пожалуй, не исследовательская работа, а возвращение к делу, которое он начал еще в 1928–1930 гг., – к писанию книг по античности для детей.

Первой из напечатанных детских книг 60-х годов был рассказ о расшифровке микенской письменности и о древних Микенах – «Заговорившие таблички» (1960); второй – книга о поэте VII в. до н. э. Архилохе – «Неугомонный» (1962); последней – «Путешествие Демокрита», написанная совместно с М. Н. Ботвинником (1964).²⁶

Из этих книжек только «Заговорившие таблички», да и то – лишь в основной части, напоминают «Письмо греческого мальчика»: здесь раскрывается путь, каким шел М. Вентрис к прочтению

²⁴ Дилигенский Г. Г. Марксистско-ленинская теория и конкретно-историческое исследование // Вопросы истории. 1963. № 3. С. 93–94. В дополненном тексте своей статьи, включенном в сборник его работ, А. Момильяно не согласился с Г. Дилигенским, отметив, что тот не объяснил изменение в «позиции советских ученых по отношению к их крупнейшему классическому филологу (al loro più grande filologo classico)» (Momiigliano A. Terzo contributo degli studi classici e del mondo antico. Roma, 1966. Т. 11. P. 797).

²⁵ ВДИ. 1950. № 2. С. 250 (подписано: «Ленинградское отделение Института истории»).

²⁶ Все детские книги С. Я. Лурье переизданы в 2002 г. в серии «Ученые России – детям» (М.: МК-Периодика, 2002). — *Примеч. сост.*

микенского «письма Б». Но уже во второй части «Заговоривших табличек» присутствует сюжетный вымысел – как попытка высказать в неявной и внешне непритязательной форме заветные идеи и личные ощущения автора.

Важные для С. Я. Лурье мысли содержались уже в его рассказах о первооткрывателях крито-микенской культуры – Шлимане, Эвансе и особенно Вентрисе. С. Я. не только согласился с расшифровкой, предложенной Вентрисом, но стал восторженным почитателем своего молодого коллеги. Портрет Вентриса появился у него на столе, и образ Вентриса занял в «Заговоривших табличках» центральное место.

Особенно привлекало его в Вентрисе полное отсутствие собственности – личного или национального – в науке. Свободно говоривший на множестве языков, Вентрис готов был поделиться с любым ученым любой страны своими еще неопубликованными материалами и открытиями: «Это единственный ученый, который раскрыл так широко двери своей научной мастерской», – писал о нем шведский археолог А. Фурумарк.²⁷ Насколько эта черта Вентриса была важна для С. Я. Лурье, мы поймем, если вспомним, что в 1949 г. главным доказательством его «буржуазного космополитизма» считалось «упорное протаскивание идеи так называемой мировой науки».

Постоянная тема детских книг С. Я. – греки и «варвары», полноправные и неполноправные граждане, отечество (а для греков отечеством были их карликовые города-государства) и чужбина. Эта тема возникает и в рассказе «Горе кузнеца Авксея», включенном в «Заговорившие таблички». У пилосского кузнеца по приказу из столицы хотят забрать его дочь, родившуюся от брака с иноземкой-рабыней.хлопоты не помогают, и тогда молодой крестьянин Гектор, решивший бежать за море, предлагает Авксею взять с собою его дочь и его самого. «Нет, – решительно отвечал Авксея. – Здесь родились мои предки, здесь родился и прожил долгую жизнь я... А смерти я не боюсь – все равно мне жить осталось недолго. Но тебя я понимаю и не в силах тебя осуждать... Бери мою дочь и увези ее отсюда».²⁸

В 1960 г., когда была написана эта книга, проблема выезда на «историческую родину» еще не существовала. Но уже с 1957 г., после прихода Гомулки к власти, появилась возможность отъезда

²⁷ Лурье С. Я. Заговорившие таблички. М., 1960. С. 75–85.

²⁸ Там же. С. 132.

в Польшу бывших польских евреев (как и поляков); племянница С. Я., Мира Копржива (та самая «отличница 6-го класса 6-й школы Выборгского района», которой, начиная со второго издания, было посвящено «Письмо греческого мальчика»), вышедшая замуж за Б. И. Надэля (античника, участвовавшего в подготовке «Боспорских надписей»), уехала с мужем и детьми в Польшу. Сестра С. Я., Богдана Яковлевна, которая могла также уехать с дочерью, решила остаться (она уехала много позже, после того, как семейство Надэль в 1968 г. вынуждено было перебраться в США). Слова Авксея в «Заговоривших табличках» – несомненно, отклик на решение Б. Я. в 1957 г. и отражение размышлений, возникших у самого С. Я.

Жизнь подходила к концу, и неизбежно вставал вопрос о каких-то ее итогах. С. Я. отнюдь не склонен был к самоудовлетворению – напротив, пушкинское «И с отвращением читая жизнь мою...» было ему очень близко и понятно. «В молодости я был до гнусности эгоистичен – я до сегодняшнего дня не могу вспомнить, не краснея, о моем отношении к матери и младшему брату. Не думаю, чтобы к старости я стал лучше, – я стал только мягче (старческое размягчение мозгов?)» – писал он в одном из последних писем. Но от своего жизненного пути, избранного им дела и основных принципов он не отрекался. В последнем разговоре перед отправлением в больницу, вспоминая лучший день своей жизни – 27 февраля 1917 года, – он говорил также, что был счастлив тем, что занимался самым интересным и близким для него делом – своей наукой. И занятия эти действительно были лишены тех побочных стремлений, которые часто к ним примешиваются, – служебного честолюбия, тщеславия, стремления к обогащению и накопительству. «Мысли и взгляды интересуют тебя больше, чем судьба друзей, больше даже, чем собственные беды», – говорит Демокриту его учитель Левкипп в заключении самой последней книги С. Я. для детей, вышедшей в свет уже после его смерти.²⁹ Недаром слова эти обращены к человеку, которым С. Я. занимался почти всю свою жизнь и который был воплощением его идеала ученого. Это, в сущности, жизненная программа, восходящая еще к отцу С. Я. – Якову Анатольевичу.

И в его письмах, и в разговорах последних лет постоянно возникала тема неизбежной и близкой смерти. В этом, по-видимому, был некоторый элемент наивного колдовства – не веря во всемогущее и всеблагое божество, С. Я. как-то подсознательно принимал

²⁹ Лурье С. Я., Ботвинник М. Н. Путешествие Демокрита. М., 1964. С. 164.

софокловскую или геродотовскую идею коварного рока, всегда поступающего вопреки человеческим ожиданиям. Предсказывать надо самое худшее – тогда оно, может быть, не произойдет. Здесь уже не раз упоминался его «Автонекролог» от имени некоего Серафима Сугубова с перечислением идеологических преступлений покойного С. Я. Лурье и предложением посмертно заклеить его. «Автонекролог» начинался словами: «...дня ...месяца 1960 года скончался...» и составлен был, видно, около этого времени. В те же годы, во время последней поездки к морю (в Крым или Одессу), он написал «Размышления на общем пляже»:

Мне суждено умереть в муравейнике –
В душной норе я рожден –
Или как пес: на цепи и в ошейнике
Лаской господ награжден.
«В очередь станьте» – кричат вам с рождения
В яслях и в детском саду.
«В очередь! Надо учиться терпению,
Иль наживете беду!»
Очередь в бане, на пляже, в гостинице,
Очередь на ширпотреб,
Очередь к водке в буфете и виннице,
Очередь в лавке на хлеб.
Даже в науке придумали очередь –
Штаты, награды, чины:
«Все до высоких окладов охочи ведь,
А пред начальством равны!»
Тесно на свете! Отвислю сиською
Баба в трамвае вас жмет,
Дышит на вас перегарной отрыжкой
Пьяный седой идиот.
Пары влюбленных при всех обнимаются
В парке, в кино, на крыльце,
Мухи бесстыжие совокупаются
Прямо у вас на лице.
Муха на липкой бумаге старательно
Двигается к смерти ползком...
Так вот и я захлебнусь окончательно
В липком повидле людском.

* * *

Он умер не в «липком повидле людском», не так, как скоропостижно умирает в трамвае пастернаковский Юрий Живаго. Причиной тяжелых недугов последних лет было не сердце,

а почки; диагноз – уремия, азотемия – был поставлен доктором Блеем, пережившим гитлеровскую оккупацию. Блей взял его к себе в железнодорожную больницу (лучшей больницей в городе была, естественно, обкомовская – но для нее С. Я. по рангу не подходил). Это была одна из самых печальных возможностей, которые предвидел С. Я., – смерть медленная (в больнице он пробыл больше месяца), вдали от дома. Одним из любимейших его стихотворений были стихи еврейского поэта М. Розенфельда, писавшего на идиш:

Alejn bist du gekumen,
Alejn west du fargejn

(один ты пришел в этот мир и один уйдешь).

В смерти историка или человека, постоянно думающего об истории, есть одна странная особенность: жизнь представляется ему бесконечной лентой, полной событий большей или меньшей яркости и уходящей далеко в прошлое. В прошлом были Древний Египет, Греция и Рим, Средние века, Великая Французская революция, Наполеон, война 1812 года, декабристы, освобождение крестьян... События, прошедшие во времена его собственной жизни, ничем принципиально не отличаются от более ранних – это все та же непрерывная лента истории. Но в какой-то момент, совершенно случайный и неожиданный, эта лента перерезается и что будет дальше – остается неизвестным. Лента жизни Якова Анатольевича была перерезана на 1917 году, после Февральской революции. Соломон Яковлевич пережил крушение своих политических надежд, Гражданскую войну, Сталина и Гитлера, дожил до Хрущёва. К последнему он не испытывал, естественно, особого пиетета. В одной из последних работ С. Я. позволил себе очередное хулиганство – в качестве примера регрессивной ассимиляции глухих шипящих согласных перед звонкими привел сочетание «Хрущ бежит».

До осуществления этого пророчества ему суждено было дожить. Вечером 15 октября улицы Львова были украшены портретами к предстоящему празднику – изображения Хрущёва висели повсюду; на следующее утро они были убраны – появились сообщения о его отставке. О том, что «Хрущ бежал», или, вернее, был обращен в бегство, С. Я. узнал в больнице; еще неясны были последствия, но особых надежд он с этим фактом не связывал.

Так прервалась лента исторических событий, которая существовала для С. Я. Лурье. Через две недели, 30 октября 1964 года, он умер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После него осталось много рукописей. Кроме собрания фрагментов Демокрита, сохранились еще две ненапечатанные книги: монография о тирании VI в. до н. э. и курс греческой эпиграфики. Остались и бумаги, не связанные с его научной профессией. Среди этих бумаг – выписки из антисемитских фельетонов «Крокодила» и других органов печати 1952–1953 гг., из статьи Эренбурга «О чем думает жид», в которой в дни денкинских погромов 1919 г. в Киеве писатель заявлял, что скорбит, прежде всего, «за великое русское дело» и не теряет веры в «трехцветный флажок» и Россию.

Наиболее значительной из научных работ, не опубликованных при жизни С. Я., был «большой Демокрит». В последние годы жизни С. Я. уже не верил в возможность опубликования книги. Но издание все-таки было осуществлено – благодаря самоотверженному труду над текстом Я. М. Боровского и учеников С. Я.

Книга вышла в свет, но, как мы уже упоминали, не вызвала большого читательского интереса. Мало того – не очень многочисленные отклики на книгу явно свидетельствуют о том, что дело здесь не в ее сугубо специальном характере; дело в теме – дело в том древнем философском направлении, носителем которого был Демокрит и которое – со всеми поправками, внесенными естествознанием нового времени, – воспринял и С. Я. Лурье.

Что же произошло? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к теме, не раз уже встававшей на страницах этой книги, – к мировоззрению ее героя.

С. Я. Лурье был историком античности и древнегреческой литературы. Профессия эта издавна окружена своеобразным ореолом. Недаром греческая и римская филология издавна именуется классической филологией, а слово «гуманист» со времен Возрождения имеет омонимическое значение: оно означает исследователя античной культуры (*studia humana*, в противовес богословию – *studia divina*) и вместе с тем защитника достоинства и свободы человеческой личности. Гуманистическая роль античной культуры не была уничтожена в России даже гимназическим «классицизмом» графа Дмитрия Толстого, породившим чеховского Беликова и легионы несчастных гимназистов, зубривших греческую и ла-

тинскую грамматику. Любопытно, что Я. А. Лурья, получивший как раз классическое гимназическое образование, превосходно сочетал естественно-научное мировоззрение с любовью к греческому языку и сумел передать эту любовь своему сыну. В годы, когда С. Я. стал студентом, в среде русской интеллигенции происходило явное возрождение интереса к античности – в этом увлечении С. Я. сходилась с такими его старшими современниками, как М. Гершензон, Вяч. Иванов или Д. Мережковский.

Но уже в студенческие годы отношение молодого филолога-классика к античному наследию резко отличалось от отношения к нему большинства его учителей и коллег. Об этом свидетельствовало, в частности, его заявление в предисловии к «Антифонту» (вызвавшее крайнее недовольство С. А. Жебелёва) о своем равнодушии ко «всей сократике» и «резкой отчужденности к тонкостям платоновских силлогизмов».

Отвращение С. Я. Лурье «ко всякой туманности и мистике» сближало его не столько с его прямыми современниками – гуманитарями начала XX в., сколько с учеными предшествующего, XIX столетия. К XIX веку, к мировоззрению его отца восходит рационализм С. Я. и его последовательный детерминизм (сам он определял свои взгляды как «материалистические», связывая их в первую очередь с эволюционизмом Дарвина). В «Истории античной общественной мысли» С. Я. причислял себя к историкам, которые исходят из положения, что «развитие человеческих обществ, поскольку человек принадлежит к царству животных, происходит в общем и целом столь же закономерно, как и развитие обществ животных». При исследовании законов развития человеческого общества «для исследователя нет другого пути, кроме того, по которому идут исследователи в области естествознания: как биолог или зоопсихолог начинают свою работу с того, что изучают строение, образ жизни, повадки и т. д. тех или иных животных просто для того, чтобы близко ознакомиться с ними, так и историк должен начать с чисто филологического материала, не думая ни о каких обобщениях». Обобщения возникают в ходе исследования этого материала – как рабочие гипотезы. «Как и в естествознании, наибольшим преступлением перед наукой будет принятие» таких гипотез «за непреложные истины или попытка ценой натяжек подогнать все факты под эти теории... Исследователь всегда должен помнить, что научная истина должна быть ему дороже даже его излюбленной теории, которая выношена им часто в течение десятков лет».¹

¹ Лурье С. Я. История античной общественной мысли. М.; Л., 1929. С. 6–7.

Важнейшей чертой историко-филологической науки XIX в. был ее критицизм, также ставший одной из основ научного мировоззрения С. Я. Лурье. Восхищение, которое вызывали у него открытия Шлимана, нашедшего Троию на месте, упомянутом в «Илиаде», не обесценивало в его глазах критику древнейшей античной исторической традиции в трудах Вольфа и других «скептиков» XIX в. Он считал, что гомеровские поэмы и после раскопок Трои, Микен и Крита должны рассматриваться как фольклорно-литературные источники, смешивающие традиционные мифологические сюжеты с реалиями XVII–XII (крито-микенская эпоха) и X–VII (гомеровские времена) веков до н. э. Столь же важное значение придавал он и библейской критике XIX в. (Велльгаузен).

Рационализм и детерминизм С. Я. Лурье на первый взгляд должны были сблизать его с официальной идеологией, утвердившейся после революции. Материалистическое понимание истории стало считаться органической частью официального марксизма и как будто должно было получить широкие возможности конкретной разработки. Однако чем дальше, тем все более прозрачными становились эти возможности. Официальный материализм был материализмом диалектическим; все его черты имели фатальную склонность обращаться в свою противоположность. Демократия диалектически обратилась в «диктатуру пролетариата», осуществляемую все более сужающейся верхушкой руководства, материалистическое понимание истории – в эсхатологическую схему сменяющих друг друга пяти формаций. В сущности, уже с 20-х годов рационализм и эмпирическое исследование были заменены верой в не подлежащие сомнению догматы – т. е. тем, что обычно называют религией.

Именно это обстоятельство делало научную и преподавательскую работу рационалиста и материалиста С. Я. Лурье в официально-атеистическом государстве куда более трудной, чем она была бы в Петербургском университете начала XX в. Мы уже упоминали, какое значение для него имели семинарские занятия со студентами и обучение их греческому языку. Но занятия эти оказывались в 20-х и первой половине 30-х годов явно ненужным и подозрительным делом, а после 1934 г. – второстепенным и в лучшем случае терпимым. Студентов нужно было учить не языку, не анализу и критике источников, а концепции – твердой и не подлежащей сомнениям. А для С. Я. главным девизом ученого всегда были строки античного поэта и философа Эпихарма:

Трезвым будь. Умей не верить.
В этом смысл науки всей.

Удалось ли ему чего-нибудь достигнуть в этом направлении? Отчасти удалось. Люди, которых С. Я. Лурье научил читать и понимать античные памятники, – не менее важное его наследие, чем оставшиеся после него труды. Ученики С. Я. много лет работали и работают в ленинградских и провинциальных вузах; они вырастили и своих учеников. Но развитие классической филологии осуществляется не только и не столько теми, кого прямо или косвенно учил С. Я. После войны обучением античности занимались А. И. Доватур, Я. М. Боровский и их ученики. Несомненно, что появление целой плеяды молодых историков Греции и Рима и классических филологов, владеющих древними языками (не только в Ленинграде, но и в Москве, Тбилиси и других городах), очень обрадовало бы С. Я. Лурье. К древним языкам обращаются в наше время не только исследователи античности, но и медиевисты, византинисты, слависты. Это – знамение времени.

Но восприятие этого античного наследия оказывается совсем иным, чем оно было у С. Я. Лурье. Античность, которая для С. Я. противостояла «мрачному зимовью» средних веков, воспринимается как часть единой прекрасной старины. Предметом внимания оказываются не материалистические учения Демокрита и Эпикура, а мудрость Сократа, Платона и греческих отцов церкви.

Догмы и непререкаемые схемы 20–30-х годов сменились другими догмами – более традиционными. На смену прежней, дискредитировавшей себя идеологии приходят верования различного рода: инопланетяне, йога, телепатия, телекинез, «почвенничество» и религиозность – у еврейской интеллигенции иногда иудаистическая, но чаще христианская, у русской обычно православная, хотя в последнее время подозрительное по космополитизму христианство иногда вытесняется помесью йоги с розенберговским арийским язычеством. Начало этой моды С. Я. успел застать: в одном из писем 1963 г. он упоминал о том, что, к возмущению своей супруги, проявил «недостаточно почтительное отношение» к мировоззрению ее «уж очень современной студентки», верящей «в телепатию, гороскопы и тому подобную белиберду». Но едва ли он даже в конце жизни мог себе представить, каких размеров достигнут после его смерти религиозность и почвенничество среди интеллигентов – и притом не только среди диссидентов, но и вполне благополучных, даже партийных деятелей.

Через пятнадцать лет после смерти С. Я. Лурье оказывается такой же «белой вороной», как в юности и зрелые годы. Это относится не только к общему мировоззрению С. Я., не только к его научным принципам, но и к политическим взглядам. Употребляя современную терминологию, их можно определить как демокра-

тический социализм. Не считая неизбежность победы социализма научно доказанной, он считал, однако, что большинство общества имеет все политические права, включая право проведения через законодательные органы широких социальных реформ; наиболее рациональными формами экономики он считал хозяйственное самоуправление и кооперацию (разумеется, настоящую, а не навязанную сверху). Идеалы эти, довольно популярные среди русской интеллигенции начала XX в., подверглись серьезному испытанию в 1905 и 1917 гг. и стали казаться совсем неосуществимыми в последующие годы. Речь шла уже не об идеалах, а о лояльности власти, о возможности заниматься своей наукой во все более сужавшихся идеологических рамках.

В последнее десятилетие жизни С. Я. общественная жизнь как будто вновь оживилась. Люди снова начали думать более или менее самостоятельно; однако многолетнее бесконечное и автоматическое употребление лишившейся всякого смысла социально-политической терминологии привело к тому, что сами понятия революции, равенства, социальной справедливости, социализма вызывают почти всеобщее инстинктивное отвращение. Преобладающим настроением стал консерватизм, страх перед сколь угодно широкими общественными катаклизмами. Даже те люди, деятельность которых обрекает их на участь политических заключенных, как правило, заявляют о своем отвращении к «политике» и зовут к нравственному усовершенствованию; борьба за материальные интересы и права считается выражением «бездуховности».

С. Я. Лурье никогда не был политиком – его кратковременным выступлением на этом поприще в 1917–1918 гг. едва ли можно придавать серьезное значение. Но он был историком и знал, какую роль в исторических процессах играют массовые процессы и «факторы силы». Его интересовала судьба общества в целом, судьба народа, среди которого он жил.

Свидетельство такого интереса и стремления поделиться сделанными наблюдениями сохранилось среди бумаг С. Я. Лурье, найденных после его смерти. Это пожелтевшая от времени тетрадка, без обложки, с текстом, написанным частью каким-то особым письмом, частью латинским шрифтом. Записи латинским шрифтом оказались русскими по языку – латинское письмо должно было, очевидно, создать впечатление иностранного текста и отвлечь внимание не слишком проницательного читателя. Загадочное письмо – слоговое, и на первый взгляд его можно принять за микенское; однако это не микенский силлабарий, а кипрский, расшифрованный еще в XIX в. и известный С. Я., во всяком случае, уже в период написания первой части «Истории Греции» (где он даже объяс-

нял те затруднения, которые возникают при записи этим силлабированием греческих слов, имеющих закрытые слоги). Время составления тетрадей (около 1947 г.) подтверждается двумя выписками из иностранных журналов 1947 г. – английского и немецкого, датами, содержащимися в тексте, а также самим содержанием рукописей.

Что же это за работа? Это – настоящая *Historia arcana*, тайные записи историка, которые должны разъяснить будущему читателю характер жизни и сущность системы, в условиях которой жил автор. Первый ее раздел так и называется: «Ob obscix principialnix osnovax (далее кипрским письмом) so-we-t(a)-s(c)-ko-wo s(o)-t(a)-ro-ja»; второй раздел (неоконченный): «Organizacija massovovo rabskovo truda».

О Сталине (одно из имен, записанных кипрским письмом) в рукописи говорится как о живом; при анализе общественной системы С. Я. также исходит из явлений, специфических для сталинского времени. В связи с этим особо важное значение он придает «прикреплению производителя к определенному предприятию и отсутствию свободы передвижения», «перевоске производителя с одного места на другое без его согласия», уголовному наказанию за уход с работы (в тетради приведен конкретный пример заключения в тюрьму мальчика 16 лет, бежавшего из ФЗО в родную деревню, – речь идет о случае с братом Ньюры). Именно эти явления дали основание С. Я. прийти к выводу, что, «с точки зрения марксистской методологии истории», исследуемый строй, соединяющий несвободу производителя с отсутствием у него «собственных орудий производства», «является рабовладельческим». Конечно, на это можно было бы возразить, указав, что для классического античного рабовладения характерна еще продажа рабов, однако для древних восточных деспотий, причисленных «марксистской методологией истории» 30-х годов к рабовладельческой формации, торговля рабами тоже не была определяющим признаком.

Трудно сказать, сохранил бы С. Я. эту характеристику после 50-х годов, когда запрет на уход с работы и уголовное наказание за него были отменены. В одном случае понятие «государственного рабства» дается в тетради наряду с понятием «государственного капитализма» как более или менее синонимичные. При любом определении интересны замечания автора о своеобразной «двуплановости» общества, о всеобщем обязательном участии «в веселом праздничном представлении о земном рае», не имеющем ничего общего с будничной действительностью, о системе «добровольно-принудительных» мероприятий. Отмечая, что восьмичасовой рабочий день в данных условиях имеет чисто символическое значе-

ние, ибо не обеспечивает даже прожиточного минимума, С. Я. приводил для примера судебный процесс, на который он случайно попал в 1947 г. (когда помогал сестре вернуть ее захваченную во время эвакуации комнату). «Группа рабочих, работавших 10 часов в день на заводе с премиальной оплатой, дававшей им возможность просуществовать, решили для дополнительного заработка взять еще выгодную “халтуру”. Так как в это время в Ленинграде был большой недостаток рабочей силы, прораб, соорудивший временные постройки на Сенном рынке, заключил с ними договор на выгодных условиях, прибегнув к неправильному толкованию существующей нормы расценок... (так поступали все администраторы, ибо ввиду смехотворно низкого уровня расценок заставить работать по этим расценкам можно было только при условии принудительного труда)... Некоторое время спустя тот же прораб взял аналогичную работу на Мальцевском рынке и пригласил тех же рабочих, заключив с ними снова договор на прежних условиях; они выполнили и новую работу. Но нагрязнула ревизия, и договор этот был признан незаконным; рабочим, работавшим в течение месяца по 16 часов в день (10 – на заводе; 6 – на “халтуре”), не заплатили за эту работу *ничего*, так как по первому договору, также незаконному, им было выдано слишком много денег. Обиженные обратились в “народный” суд, ссылаясь на то, что в рабоче-крестьянском государстве суд должен стать на защиту рабочих, лишившихся полностью заработка за месячную тяжелую работу без всякой вины с их стороны, ибо за то, что прораб заключил договор, не имея собственных ассигновок, отвечает только он... Судья разъяснила, что рабоче-крестьянский суд при столкновении рабочих с рабоче-крестьянским государством обязан руководиться интересами рабоче-крестьянского государства, а не отдельных лиц; поэтому в иске рабочим отказать, а если они будут упорствовать в своем иске, то возбудить против них еще уголовное дело за заключение незаконного договора».

В тетрадке упоминается еще голод 1947 г. (ощущавшийся и в Ленинграде), массовые беззакония – «не только продовольственные карточки массами выкрадываются и подделываются и почти открыто продаются на рынке (благодаря им существует значительная часть городского населения), но и паспорта, свидетельства об окончании учебного заведения и т. д.», связь между милицией и уголовниками и т. д.

Конечно, перед нами – только фрагмент задуманного сочинения, написать которое в полном объеме С. Я. едва ли смог бы; сейчас, когда появился целый ряд работ на эту тему, оно во многом утратило свое значение. Но психологически, для характеристики ее

автора, эта тетрадка очень важна. Она писалась при Сталине, накануне нового обострения репрессий. Несомненно, наивная «кипрская» и латинизированная запись никак не спасла бы его, если бы тетрадку нашли и обратили на нее внимание: расшифровать содержащийся в ней текст было бы нетрудно. Но С. Я., отнюдь не отличающийся бесстрашием и хладнокровием, все-таки вел и хранил в течение самых трудных лет своей жизни (1949–1953 гг.) эти записи, идя на смертельный риск, чтобы оставить будущим читателям не только исследования по античной древности, но и какие-нибудь свидетельства о «тайной истории» своего времени и своей страны.²

«Кипрская тетрадка» заслуживает внимания и еще с одной точки зрения. Одной из проблем, волновавших С. Я. Лурье еще с 10-х годов, был еврейский вопрос; он специально занимался историей антисемитизма. Но в «кипрской тетрадке» речь идет не о еврейском вопросе, хотя обстановка послевоенных лет давала достаточно материала для его обсуждения. Речь в ней шла о проблемах, в равной степени затрагивающих интересы всех людей, населявших Советский Союз.

Кем же считал себя автор этой тетради? После 1953 г., когда С. Я. вновь стал появляться в Ленинграде и возобновил прежние научные связи, его спрашивали, почему он так по-разному относится к своим гонителям 1949 г.: с Д. П. Каллистовым поддерживает вполне приличные отношения, а М. Е. Сергеенко именуется иначе, как «Машкой Чеберячкой» – по имени известной лжесвидетельницы в деле Бейлиса? С. Я. объяснял свою позицию тем, что Сергеенко оскорбила его, обвинив в недобросовестности и кумовстве, – это клевета; Каллистов же назвал его только «безродным космополитом», а это, в сущности, справедливо. Действительно, хотя он и объявлял себя «одним из типичнейших представителей еврейского племени во всех решительно отношениях», но родным его языком оставался язык Пушкина, а назвать его родную страну было бы затруднительно. «Будучи немцем по рождению, прожив лучшую часть жизни в России, Шлиман в душе чувствовал себя греком»,³ – написал С. Я. Лурье о Шлимане в детской книге и, наоборот, думал при этом не только об открывателе Трои.

Соломону Яковлевичу никогда не «доводилось» – даже на короткий срок – выезжать из страны, где он родился, но живи С. Я. в последующие годы и обладай он достаточными силами и здоровь-

² Об этой рукописи см. статью: *Лурье Я. С., Полак Л. С. Судьба историка в контексте истории (С. Я. Лурье. Жизнь и творчество)* // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 2. С. 3–17. — *Примеч. сост.*

³ *Лурье С. Я. Заговорившие таблички. М., 1960. С. 34.*

ем, он, может быть, и покинул бы эту страну – во всяком случае, никакого обязательства проживать всю жизнь на родине (и где именно? в черте оседлости? в Питере? в украинском Львове?) он за собой не признавал. Но окажись он на земле своих далеких предков – он наверняка и там задевал бы религиозные, патриотические и всякие иные чувства единоплеменников и продолжал интересоваться «чужими» – мировыми, европейскими и, конечно же, русскими делами.

«Безродный космополит» в мире, сотрясаемом национальными конфликтами, материалист среди всеобщих поисков веры, демократический социалист в обществе, где самое понятие социализма связывается с именем Сталина! Сегодня, как и десятки лет назад, «король бестактности» сохраняет все права на престол.

Окончательный ли это приговор? Означают ли нынешние настроения, что рационалистическое, демократическое и интернационалистическое (космополитическое) мировоззрение XIX в., запоздалым адептом которого был С. Я. Лурье, погибло безвозвратно? Такой вывод был бы поспешным. Конечно, широкие сдвиги в мировоззрении целых поколений – не просто прихоть отдельных лиц; такие сдвиги свидетельствуют о том, что популярные прежде взгляды или пути их практического применения чем-то дискредитировали себя. Но вытекает ли из этого, что взгляды, получившие распространение вместо прежних, действительно верны и приближают, наконец, человечество к достижению истины? С. Я. не раз вспоминал случайно найденную им цитату из Диккенса: «Все так говорят, но я не могу согласиться с тем, будто то, что *все* говорят, непременно правда. *Все* нередко ошибаются. Как показывает опыт человечества, эти самые “все” уже так часто ошибались, и порой так не скоро удавалось понять всю глубину этой ошибки, что этому авторитету больше не следует доверять. Конечно, *все* могут быть и правы, но это не закон».

Идеологическая мода не раз менялась на памяти С. Я. Лурье. Он пережил революционные настроения начала века, поворот интеллигенции после 1905 г. от «рационалистического атеизма» к «мистической вере в чудо», революционный подъем 1917 г., распространившуюся после революции всеобщую (и первоначально вовсе не притворную) веру в поступательное, «прогрессивное» движение истории, а во время Второй мировой войны – подъем патриотизма и национализма. В конце его жизни стала обозначаться и новая фаза общественного настроения, характерная для 60-х и, особенно, для 70-х годов XX в. Как может быть определено это настроение? С одной стороны, как мы уже отмечали, для него характерны консерватизм, уважение к вере и «почве», с другой – такой

подъем правозащитного движения, какого страна не знала уже полстолетия.

Борьба с общественной несправедливостью, основанная на уважении к существующим законам, – не столь уж необычное явление в русской истории, как может показаться. Подводя в конце жизни (в годы Гражданской войны) итоги своей деятельности, В. Г. Короленко вспоминал, что ему еще в конце 70-х годов XIX в., в ссылке, приходилось разъяснять окружающим «азбуку законности». «Впоследствии много раз я имел случай заметить, что людей, апеллирующих к законности и особенно разъясняющих ее простому народу, наша администрация всякого вида и ранга считала самыми опасными революционерами», – писал Короленко. «И до самой старости меня проводила та же репутация опасного агитатора и революционера, хотя я всю жизнь только и делал, что взывал к законности и праву для всех, указывая наиболее яркие случаи его нарушения. И может быть, это инстинктивное отвращение людей самодержавия было основательно: около этой оси наша жизнь еще могла повернуться и стать на другой путь. Но в конце концов он все-таки должен был привести к упразднению самодержавия».⁴

Эти слова Короленко, несомненно, напомнили бы С. Я. Лурье деятельность его отца Якова Анатольевича, точно так же апеллировавшего к закону и наказанного за это пятью годами административной ссылки (от которой его избавила только революция 1905 г.). Но те же слова приводят на память и события, куда более близкие к современности.

Противоречивость – одна из самых характерных черт общественной мысли нашего времени. Литература, ходящая по рукам, состоит не из одних лишь религиозно-философских сочинений; рядом с нею появляются книги совсем иного характера, во многом перекликающиеся с «кипрской тетрадью», написанной С. Я. Лурье в 1947 г. В этом – своеобразный парадокс современного мировоззрения: думая, что они возвращаются к П. Струве, Н. Бердяеву или даже к В. Розанову и П. Флоренскому, молодые интеллигенты часто, сами того не сознавая, идут по стопам несравненно более близкого С. Я. писателя – Владимира Короленко.

Противоречивы общественные настроения не в одной лишь нашей стране. Глубокие противоречия обнаруживаются и в мировом общественном развитии. С одной стороны – повсеместные

⁴ Короленко В. Г. Собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 50.

кровопролитные столкновения на национальной почве, с другой – все более широкая и всеобъемлющая экономическая взаимосвязь и взаимозависимость народов мира. Международные авиационные линии, радиовещание, телевидение; международный сельскохозяйственный экспорт, к которому вынуждены обращаться не только индустриальные, но и традиционно аграрные страны, – все это реальные черты единства нынешнего мира; даже воюют между собой многочисленные народы одним и тем же (обычно американским или советским) оружием. Парадокс, описанный С. Я. Лурье в «Истории античной общественной мысли», повторяется на новой основе: взаимное противостояние национальных государств и национальная «автаркия» оказываются теперь такими же мертвецами, «тащащими за собой в могилу живых», как полисная «автаркия» конца V в. до н. э.

Обращаясь сегодня к трудам С. Я. Лурье, написанным более полувека назад, мы находим там не только интересные аналогии современному положению в мире, но и неожиданно актуальные идеи, прямо обращенные к будущему. Уже на съезде энесов в 1917 г. С. Я. поставил под сомнение универсальность того способа решения национального вопроса, к которому пришла демократическая идеология конца XIX–начала XX в., – территориальной автономии и права наций на самоопределение. Каковы границы тех территорий, на которых будет определяться воля их населения? Определяется ли принадлежность к той или иной нации языком? Но единым языком пользуются люди, вовсе не причисляющие себя к одной и той же национальности, а многие народы живут не на одной компактной, легко выделяемой территории, а диффузно – в рассеянии. Середина XX в. была временем уничтожения почти всех колониальных империй, создания огромного количества азиатских и африканских государств. Но значительная часть этих новых стран и народов вовсе не обладают своими особыми языками, а предпочитают языки бывших колонизаторов, и границы оказываются весьма зыбкими – происходят новые переделы территории, восстания и войны. Определение национальности не по территории или языку, а по самосознанию каждого человека, «персональная автономия» как дополнение территориальной – все эти идеи, казавшиеся слушателям выступления С. Я. Лурье в 1917 г. странными и непонятными, становятся актуальными в конце XX в. Католики и протестанты Северной Ирландии не отличаются друг от друга по языку, они живут вперемешку на одной территории, но ощущают себя двумя разными народами и воюют между собой. А на территории Швейцарии живут люди, говорящие на четырех разных государственных

языках. принадлежащие к разным исповеданиям – и пока еще не обнаруживающие никакой склонности к взаимной вражде.

Определение национальности не по языку и государственной принадлежности, а по самосознанию объясняет, почему автор «Антисемитизма в древнем мире» мог ощущать себя, не смотря на глубокий интерес к национальному вопросу, все-таки космополитом. В «Антифонте» он специально подчеркивал, что экстерриториальные общины, создание которых предлагалось в Австро-Венгрии накануне Первой мировой войны, замыслились как национальные только потому, что обстановка межнациональной «грызни» вынуждала людей «видеть самое тесное человеческое общение в общении национальном». «Почему признаком однородности людей должна служить национальность, а не профессия, не интересы и убеждения, склад, характер и т. д.? Таким образом, разумным и последовательным выводом из этого положения будет преобразование нынешних казарменного типа государств в федеративный союз свободно организующихся небольших автономных общин по возможности однородного состава».

К словам «разумным и последовательным выводом» С. Я. сделал многозначительное примечание: «Конечно, я ничего не говорю об исполнимости этого идеала». «Утопия!» – скажет большинство читателей, живущих в обстановке антагонизма мощных великих держав и всеобщего национализма. Да, конечно, утопия – но не утопична ли и сама наша жизнь в мире, сотрясаемом непрерывными военными конфликтами и ожиданием всеобщей ядерной войны, в мире, где любой негодяй и сумасшедший может уничтожить сотни людей подброшенными пластиковыми бомбами, а вскоре, возможно, сможет уничтожить сотни тысяч – самодельными атомными снарядами? Все наши разговоры о будущем – робкие мечтания на тот случай, если мир не будет уничтожен в ядерной катастрофе или не будет захвачен тоталитарными диктаторами. Вопрос стоит уже не о том, что будет с человечеством, а о том, чего бы мы хотели для него. Всякий, кто не одержим идеями абсолютного превосходства своей страны, своей нации, своей доктрины, выберет демократию. Но, как справедливо заметил недавно один публицист, «национальная демократия» – это абсурд, оксюморон, сочетание несочетаемого. Национализм есть предпочтение своего народа другим – т. е. нечто несовместимое с демократией. Могут ли быть сохранены права североирландских католиков и протестантов в рамках Ирландии или Великобритании, права палестинцев в Израиле или евреев в арабской Палестине?

В XX веке демократический принцип права наций на самоопределение и государственное отделение натолкнулся и на другое неодолимое препятствие: мощные технические средства дали возможность тоталитарным и любым военным режимам изменять этнографическую карту по своему произволу, и никакой демократический законодатель будущего не сможет сказать, какому государству должны принадлежать Западная Армения, Восточная Пруссия и множество других земель. Лишить людей, родившихся на этих землях за последние десятилетия, права голоса при решении вопроса об их государственной принадлежности только из-за того, что их отцы или деды были переселены на эти земли, значит вернуться к принципу «исторических прав», а абсурдность этого последнего принципа легко понять, если вспомнить судьбу обеих Америк, Австралии, Сибири, да и всех почти территорий земного шара. Как ни странно сегодня звучат слова о «федеративном союзе свободно организующихся общин», они все-таки осмысленнее изжившей себя идеи «национальных демократий». Но как представить себе международный «федеративный союз»? Неким прообразом можно считать Швейцарию, кое-какие черты его угадываются в нынешнем Европейском союзе, да и всюду, где границы не находятся «на замке» и люди могут свободно ездить из одной страны в другую.

Объединение в одно государство античных Афин, Коринфа и Спарты или средневековой Флоренции, Венеции и Генуи казалось людям прошлых веков несбыточной утопией – но сегодня эти территории без труда сосуществуют внутри Греции и Италии. Не покажется ли и мировой «федеративный союз свободно организующихся общин» нашим потомкам – если только они будут существовать и не одичают в разрушенном войной мире – таким же естественным явлением, как нам – единая Греция и Италия?

В одной из последних написанных им книг, детской книжке об Архилохе, С. Я. Лурье писал, что этот поэт VII в. до н. э. принадлежал к числу людей, которые идут «своими путями»: «И это очень важно: при изучении человеческой культуры легко убедиться в том, что прогресс культуры всегда начинается с того, что люди, борющиеся за новую, лучшую жизнь, объявляли борьбу общепризнанным взглядам; в эпохи упадка и застоя культуры люди теряли способность самостоятельно мыслить и, не задумываясь, следовали за авторитетами».⁵ Едва ли было бы справедли-

⁵ Лурье С. Я. Неугомонный М., 1962. С. 4–5

во однозначно определить наше время как «эпоху упадка и застоя культуры», но разочарование в идеалах начала XX в., несомненно, порождает духовный кризис и отмеченную уже противоречивость общественной идеологии. Однако уже сама эта противоречивость позволяет надеяться, что маятник всеобщих настроений качнется еще не раз и что придет час и для торжества того мировоззрения, верность которому С. Я. Лурье пронес через всю свою нелегкую жизнь: идеи гуманитарного исследования, строящегося по принципам естественных наук и не стесняемого никакими догматами, и демократии, не знающей никаких национальных и государственных границ.

P.S.

ПОСМЕРТНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ¹

В этой книге я старался не говорить о себе, и в тех немногих случаях, когда мне все же приходилось себя упоминать, писал в третьем лице. Здесь считаю нужным сделать несколько добавлений от первого лица.

Я родился в 1921 г., через три года после смерти деда, и назван в его память. В детстве мне еще встречались могилевцы, обычно старики, которые, узнав, что перед ними – внук Якова Анатольевича, восклицали: «Э, ты не знаешь, какой у тебя был дед!»

Мои воспоминания о себе начинаются с середины 20-х годов. Мы жили на Большом проспекте Петроградской стороны (тогда он назывался проспектом Карла Либкнехта, но этого переименования никто фактически не признавал), в доме 10, и в моем детском восприятии «Большой, 10» было не названием улицы и номером дома, а определением и существительным, неким единым понятием: «Большой Десять», «мы живем на Большом Десяте».

Каким я помню отца в те годы? Вспоминается он обычно веселым и оживленным; если впадал в раздражение, то чаще всего ненадолго и не всерьез. Его склонность всегда что-нибудь напевать казалась мне настолько естественной, что, познакомившись в детстве с классификацией театральных жанров, я высказал убеждение, что и опера и драма отступают от действительности – наиболее реалистическим жанром казалась мне оперетта, где люди попеременно то разговаривают, то поют.

Воспитательские принципы отца были своеобразными – строились они в значительной степени как антитеза тому, что казалось ему неправильным и ошибочным в собственном воспитании. Рационалист и материалист, Яков Анатольевич был крайне осторожен во всем, что касалось полового воспитания, оберегая детей от запретных тем и «гадких слов». Всякое проявление знакомства с такими словами и темами вызывало грозный и совершенно беспо-

¹ В скобках добавлено: «Вместо вступительной заметки в начале книги». — *Примеч. сост.*

лезный вопрос: «Кто научил?» Результаты этого, как это часто бывает, были обратными намерениям воспитателя: «гадкие слова» казались сыну запретным и потому соблазнительным предметом и в девять лет он тайно издавал журнал «Вестник похабной литературы».

В противовес этому мой отец не признавал никаких особых «табу» в общении с детьми и даже диктовал мне, когда мне было десять лет, пушкинскую «Гавриилиаду». В общем, думаю, что он был прав, хотя несколько перегибал в обратную сторону. Во всяком случае, такой метод не увеличивал, а, скорее, уменьшал интерес к интимным темам. Помню такой разговор – в тот период, когда меня уже стали брать в театр (около 9 лет): «Шанечка (таково было мое детское прозвище, заимствованное у какой-то героини повести Ф. Соллогуба), на что бы ты хотел пойти: на “Руслана и Людмилу” или на “Кармен”? “Кармен” – это про любовь, про то, что каждый человек может любить, кого хочет...» «На “Руслана и Людмилу”», – решительно отвечал я.

Не признавал он и других, еще более важных «табу» – в общественных вопросах; в этом отношении он, очевидно, не расходился со своим отцом. С того времени, с какого я помню себя, я слышал о совершавшихся вокруг меня несправедливостях и насилиях и знал также, что не со всеми можно об этом говорить. В наиболее ранние годы я еще несколько путался при определении характера этих запретных тем. «Папа, – покаялся я как-то отцу вечером, – я тут одной женщине сказал, что бога нет, а она, кажется, большевичка».

Помню сон, увиденный также в детстве: я иду по набережной Ждановки, протекавшей недалеко от нашего дома, а из-под плит тротуара раздаются чьи-то крики, и я знаю, что это кричат заключенные. В те же годы появлялся в нашем доме меньшевик Лев Кимбер, почти всю жизнь проведший в тюрьме и ссылке (в конце 30-х годов он пропал), пришли вести об аресте мужа моей тети (сестры матери) – он был владельцем кожевенного завода в годы нэпа. И украинских крестьян, бежавших от коллективизации и голода через Белоруссию, я тоже видел своими глазами.

Остались у меня детские воспоминания и о «золотых делах» первой половины 30-х годов. Я учился тогда в школе, в пятом классе, и однажды, играя в коридоре нашей квартиры с моим товарищем по классу Дусей Гольдиным, мы заметили, что в висевшем на вешалке пальто что-то зашито. Надорвав край подкладки, мы увидели, что это – царская золотая пятерка. В школе тогда существовал лабораторно-бригадный метод; я был бригадиром и это мне очень нравилось. Однажды член моей бригады Дуся совершил какой-то проступок, и я стал его обличать. Вероятно, как и подобает

молодому администратору, я проявил при этом излишнее рвение, и вконец обиженный Дуся заплакал и закричал: «А у вас дома золото – всем скажу!» Скандал как-то затих, но я был в ужасе – и потому, что сам был виноват в неожиданной находке (монета осталась в пальто, и я ничего не сказал родителям), и в ожидании страшных последствий. Впервые в десять лет я узнал, что самое большое огорчение – это такое, о котором нельзя поведать близким, и что плакать можно и потихоньку. В конце концов я не выдержал и рассказал родителям. Мама пошла в школу, поговорила с Дусей, и инцидент как будто был исчерпан, но потрясение было настолько сильным, что я стал под разными предлогами пропускать школьные занятия, отказался от бригадирства и вообще потерял вкус к общественной жизни.

В отличие от самого С. Я., я любил в детстве отца больше матери. Моя мать, которой в этой книге несправедливо уделено мало места (ибо память сохранила немного, а все письменные документы относятся к девочке-гимназистке) была, по словам ее близких, очень хорошим и справедливым человеком и, конечно же, нежнейшей еврейской мамой (помню, что, когда я ел, она приоткрывала рот от сочувствия). Для того чтобы растить сына, она оставила свою врачебную работу и вернулась к ней в конце жизни, когда была тяжело больна. Она много читала и знала беллетристику лучше, чем отец; вероятно, любовь к театру у меня от нее. Я понимал, что любить отца больше, чем мать, – нехорошо, и на традиционный идиотский вопрос взрослых отвечал: «Одинаково». Но отец играл в моей жизни большую роль, и первые воспоминания связаны все-таки с его кабинетом (в первые годы – даже прямо с сидением на его плечах, когда он занимался за столом).

В 1932 г. мать умерла, и это еще больше сблизило нас с отцом. Помню такой эпизод. Зимой 1932/1933 г. мы переехали с «Большого Десятя» на Выборгскую сторону к тете, Богдане Яковлевне. Отец был занят хлопотами по поезду и приходил домой поздно. Засыпание и сон всегда были для меня трудным делом, а тут приходилось ложиться спать одному, без отца. Я заснул все-таки, но с очень тяжелым чувством, а ночью, проснувшись, увидел, наконец, на диване, спящую фигуру. Я бросился к отцу, чтобы лечь с ним. Но оказалось, что это была новая домработница, привезенная бабушкой из Могилева, – совершенно чужой человек. Опять я оказался один. Именно в те годы безуспешных поисков работы отец сказал мне необычные для него слова: «Я – только фельдшер, а мог бы быть доктором». Не скрывал от меня он и ожидания незваных гостей в 1936–1937 гг. (скрыть это было, конечно, невозможно) – до двух-трех часов ночи мы гуляли вместе.

В те годы я, как и другие дети из неортодоксальных советских семей, уже отлично понимал, о чем можно и о чем нельзя говорить в школе и вообще вне дома. Только закончив школу, мы впервые откровенно разговорились с моим одноклассником Глебом Скобельцыным – в связи с арестом одного из наших товарищей, Гавриила (Гарика) Барановского. Лишившись в детстве родителей, Барановский был принят в число воспитанников Военно-Медицинской академии (туда брали беспризорных детей) и должен был по окончании школы поступить в Академию. Но он не хотел быть врачом и сумел исхлопотать разрешение подать в Горный институт. После благополучного завершения экзаменов он позвонил мне: «Я – самый счастливый человек на свете». А через несколько дней его сосед по комнате в общежитии сообщил нам, что ночью Барановского арестовали.

Историю его я узнал более двадцати лет спустя, когда реабилитированный, сгорбленным стариком, он приехал в Ленинград: младенцем он переехал, точнее, был перенесен родителями, белорусами, из Латвии в Россию; в 1937 г. его брат, оставшийся в Латвии, узнал как-то его адрес и написал ему; Барановский решил ему ответить. Этого было достаточно. Он получил десять лет; в лагере добавили еще десятку. Тогда мы еще не знали этих обстоятельств, но внезапный арест и исчезновение нашего товарища (это был, разумеется, не единственный случай, но обычно жертвами были люди старшего поколения) произвели на нас с Глебом такое впечатление, что мы впервые откровенно заговорили о политических вопросах. Такие же друзья – сугубо немногочисленные – появились у меня и в Университете.

В Университет я поступил в том же 1937 году, шестнадцати лет (это было связано с тем, что учиться в школе я начал с четвертого класса, когда мне было 9 лет). Гуманитарные склонности определились уже в школьные годы: лучше всего я учился по истории и литературе, математических способностей отца не унаследовал – сохранилось только уважение к математике и связанная с этим склонность к логике. Еще в юности я обнаружил, что отец, который был для меня важнейшим авторитетом, рассуждает не всегда логично: я заметил это, слушая его споры с математиком и историком науки Марком Яковлевичем Выгодским. Отец нередко отвлекался от основного предмета спора, любил декларировать наиболее смелые из своих утверждений, вместо того чтобы аргументировать; Марк Яковлевич твердо шел к поставленной цели – доказательству высказанного им тезиса. Думаю, что это наблюдение сказалось на моих работах в последующие годы: склонность к логической аргументации (возможно, преувеличенная) сохранилась у меня на всю жизнь.

Колебания между историческим и филологическим факультетом были недолгими. В литературоведении меня больше всего привлекали работы исследователей (особенно В. Шкловского), пытавшихся выяснить, «как сделано» то или иное литературное произведение (и почему оно оказывает эстетическое воздействие), но «формализм» этих исследователей был под строжайшим запретом в те годы, и о такого рода занятиях нечего было и думать. В последующие годы я убедился в том, что разрешение этой, важнейшей по моему мнению, проблемы ничуть не продвинулось и после того, как с изучения художественного мастерства был снят запрет, – к решению ее не продвинулись ни структуралисты, ни иные авторы различных «Поэтик».

Я поступил на исторический факультет и в общем не жалею об этом. Интересовала меня больше всего история нового времени (в России – народовольцы, заниматься которыми было так же невозможно, как формальным литературоведением, а на Западе – американская война Севера с Югом), но заниматься я довольно неожиданно стал историей древней Руси и летописями у М. Д. Присёлкова. Сыграла тут роль, по-видимому, близость источниковедческих принципов М. Д. Присёлкова и отца (та же Петербургская филологическая школа) и та логическая точность, которая восхищала меня в шахматовском методе исследования летописей. Отец вел у нас практические занятия по истории Греции; общий курс он стал читать уже позже (после ареста С. И. Ковалёва), и я слушал всего несколько лекций из этого курса. Лектором он был не блестящим, но практические занятия вел, по-моему, очень интересно.

Университетские годы были временем некоторой эмансипации от отцовского влияния. Прежде всего эта эмансипация проявилась в эстетических взглядах. В поэзии отец ограничивался античными поэтами, Пушкиным и Гейне. Уже в школе мы с Глебом открыли Маяковского и стали страстными пропагандистами его стихов в классе. Большинство ребят не ощущали разницы между Маяковским, Безыменским и Жаровым; пока высочайший рескрипт о «лучшем, талантливейшем» еще не был внедрен в преподавание, наш учитель литературы склонен был противопоставлять Маяковскому более понятного и партийного Демьяна Бедного (большим поклонником которого был директор школы). Мой университетский друг Юра Поляков (сам юный поэт, участник поэтического семинара С. Я. Маршака) положил начало моему знакомству с Пастернаком и Мандельштамом, но дальше пастернаковского «1905 года» и «Лейтенанта Шмидта» и мандельштамовского «Петербурга (Ленинграда)» («Я вернулся в тот город...») я не продвинулся («За гре-

мящую доблесть грядущих веков...» и стихи о Сталине я узнал уже позже). Очень большое влияние на все наше поколение оказал Владимир Яхонтов, казавшийся как бы живым воплощением Маяковского и противопоставлявший образ поэта постепенно складывавшемуся его казенному облику. Наряду с театром (шекспировские спектакли театра С. Э. Радлова, «Комедия» Н. П. Акимова с удивительной «Тенью» Шварца, «Дни Турбиных» во МХАТе) концерты Яхонтова были главными эстетическими впечатлениями моей юности.

Маяковский и Яхонтов имели для нас не только эстетическое значение. Через них открывался другой облик коммунизма, совсем не похожий на окружавший нас. Что такое большевизм в нашей стране, мы знали отлично. Но интернациональный облик коммунизма, коммунисты на Западе воспринимались иначе. Наступило время фашизма, и вокруг немецких коммунистов, боровшихся в подполье, а с 1936 г. – в испанских интернациональных бригадах, возник героический ореол. Лейпцигский процесс, гражданская война в Испании – эти события не могли не оказать влияния и на отца. Приемника у нас не было (он вообще был в те времена предметом роскоши, а при нашей технической беспомощности казался и каким-то трудным прибором), и пользовались мы такой же «радио-точкой» с одной-единственной программой, как и большинство граждан. Но со времени лейпцигского процесса мы с отцом неизменно слушали «Последние известия», которые отец, как во времена Первой мировой войны, называл «главными». «Главные уже были?» – спрашивал он, если поздно приходил домой. Отношение отца к большевикам было совершенно однозначным с 1917 г., но к коммунисту Димитрову, мужественно защищавшемуся от явно несправедливых обвинений, и к испанским республиканцам он относился совершенно иначе. Сочувствуя борьбе западных коммунистов против фашизма (о которой мы знали, естественно, только из доступных нам советских источников), мы тем самым принимали и внешнюю политику СССР 1934 – 1939 гг. – в той мере, в какой она была направлена против Гитлера и Муссолини.

Противоречие между ролью коммунистов в международной антифашистской борьбе и сталинской внутренней политикой побуждало меня и Юру Полякова в университетские годы интересоваться историей коммунистической партии первого десятилетия после революции. Этот период интересовал нас не меньше, а, пожалуй, даже и больше, чем история средних веков (предметом моих основных занятий было русское средневековье, Юриных – западное). С огромным вниманием читали мы стенографические

отчеты партийных съездов (вплоть до XV съезда, когда внутрипартийные дискуссии прекратились). По странной логике конца 30-х годов, хотя идеи партийных оппозиционеров считались наиболее опасными и сугубо злодейскими, а самым страшным именем (страшнее Гитлера) было имя Троцкого – официального Сатаны того времени, – стенограммы съездов и пленумов с речами того же Троцкого и его единомышленников стояли на полках свободного пользования: их можно было читать. И надо сказать, что образ этого Сатаны, блестящего и убедительного полемиста, производил на нас, юношей 30-х годов, сильнейшее впечатление, и я никак не мог примирить увлечение этим образом с навсегда внушенным мне отцом сознанием, что разгон Учредительного собрания в начале 1918 г. был самым большим несчастьем в русской истории.

Не знаю, какую роль играла проблема Учредительного собрания в воспитании Юры Полякова, но и он рос отнюдь не в советской семье. Я мало знал эту семью – мать его умерла, когда он был студентом 2-го курса, и жил он, как и я, с отцом, преподавателем физики, и тетей. Все окружающее Юра воспринимал примерно так же, как я. В детские годы он дружил с Володей Кибальничем, внуком народовольца, затем семья Кибальничей эмигрировала (не знаю, в каком году), и во время пребывания в Университете Юру несколько раз вызывали в Большой дом, пугали его связью с эмигрантом, пытались завербовать в стукачи; никаких иллюзий насчет отечественной действительности у него, таким образом, не было. Но коммунисты прошлых лет и антифашистская борьба зарубежных коммунистов вызывали совсем иное отношение.

1939 год и пакт с Гитлером в значительной степени положили конец этой раздвоенности. Внешняя политика Сталина пришла в полное соответствие с его внутренней политикой, и наше отношение к той и другой стало одинаковым. Во время советско-финской войны мы с Юрой предприняли даже попытку – конечно, беспомощную и в значительной степени детскую – выразить протест (в четырех расклеенных листовках!) против «этой империалистической войны».² Что касается Троцкого, то я уже потом, в послесталинские годы, прочитав «Мою жизнь» (по экземпляру русского зарубежного издания 1930 г., кем-то сохраненному во все эти страшные годы) и «Бюллетени оппозиции», выходявшие за рубежом, окончательно избавился от обаяния этого «разоруженного пророка» (как

² См.: *Лурье Я. С. Жених Наташи Мандельштам. [О Ю. Ф. Полякове] // Лица. Биографический альманах. М.; СПб., 1994. Вып. 5. С. 487–491. — Примеч. сост.*

назвал его в своей блестящей книге И. Дойчер) – он оказался таким же, как те, кто изгнал, а потом и убил его. Еще большее разочарование вызвал герой Лейпцигского процесса Димитров, ставший диктатором в своей родной Болгарии.

Но как случилось, что двое молодых людей, сдружившиеся на университетской скамье в те годы, могли прийти к таким опасным, противостоящим всему окружающему миру настроениям и даже к попыткам как-то действовать в этом направлении? Думаю, это свидетельствует о своеобразии общественного сознания тех лет. У молодежи 30-х годов не было такого «реактивного» стремления назад – к прошлым векам, «корням» и истокам – как у их сверстников в 70-е годы, но не было, как я уже писал, и того лицемерия и внутреннего равнодушия, которые охватили значительную часть молодежи в послевоенные годы. Вот почему, прочитав рассказ А. Левитина-Краснова о подпольной студенческой (социал-демократической) организации, существовавшей в Ленинградском университете и Институте им. Герцена вплоть до 1937 г. и так и не раскрытой властями (она распустилась сама), я не удивился: такое могло быть.

Юра Поляков был взят в армию в начале июля 1941 г., после трехнедельного обучения послан на фронт, уже приближавшийся к Ленинграду, и погиб в начале августа 1941 г. под Нарвой. В августе для студентов 4-го курса, не мобилизованных в армию, были устроены ускоренные госэкзамены и выпуск; эти госэкзамены сдавал и я (во время первой приписки в 1940 г. я был снят с военного учета – по зрению). Всем окончившим и невоеннообязанным были выданы направления на работу в разные области страны. Мы выехали вместе с отцом.

Если неучастие в войне с Гитлером (несмотря на формальное право) оставалось для меня всю жизнь нравственным бременем, то пребывание в блокадном Ленинграде не вызывает подобных чувств, никакого смысла в этом грандиозном человеческом жертвоприношении я не вижу. Мой школьный товарищ Глеб Скобельцын мог выехать одновременно с нами – он был невоеннообязанным (туберкулез) и тоже должен был сдавать госэкзамены и уезжать. Но он и его жена Галина, оба студенты матмеха, сказали, что фашистов они боятся, но госэкзаменов еще больше, и отстрочили отъезд; когда, два дня спустя, они пришли на вокзал, эшелон уже не отправили – блокада сомкнулась. 5 марта 1942 г. Глеб Скобельцын умер в госпитале.³

³ См.: Лурье Я. С. Скобельцын Глеб Степанович (некролог) [совм. с Г. З. Вильвовской] // С.-Петербург. гос. университет. Из летописи математико-механического факультета. СПб., 1995. С. 35–39. — *Примеч. сост.*

Во время войны мы жили с отцом отдельно: он в Иркутске, я в Енисейске, потом в Коломне. В конце войны мы оба (отец в 1944, я в 1945 г.) вернулись в Ленинград. Я к этому времени защитил кандидатскую диссертацию и стал преподавать историю СССР в Академии художеств (факультет истории и теории искусств), а затем и в Пединституте им. Герцена.

1949 год оказал сходное влияние на судьбу отца и мою – для понимания его восприятия событий тех лет следует упомянуть и о том, что происходило со мной.

В Университете я дружил не только с Юрой Поляковым, но и с другим приятелем – Д. Между нами не было такой близости в политических вопросах, как с Юрой Поляковым, но в общем мы были достаточно откровенны друг с другом.

До 1949 г. его поведение не вызывало у меня особых подозрений. Только один раз он сказал мне странную фразу: «Ты много болтаешь». «Что ты имеешь в виду?» – спросил я. Он уклонился от дальнейшего разговора.

В начале 1949 г. арестовали филолога Ахилла Левинтона, работавшего в Публичной библиотеке. Меня вызвали в Большой дом (не помню, называлось ли тогда это учреждение НКВД или МГБ). Разговор был не очень продолжительным – я сказал, что Левинтона знаю мало. Но в апреле последовал новый вызов, на этот раз я провел там больше двенадцати часов – с 11 утра до часа ночи. Почти сразу же стало ясным, что интересует их теперь не Левинтон, а Д. (еще не арестованный). Я заявил, что никаких антисоветских высказываний от него не слышал. Тогда следователь показал мне две бумаги, написанные знакомым мне почерком Д. и подписанные им. Обе были доносами на меня, хотя и не очень страшными («Я. С. Лурье считает себя интернационалистом, но не скрывает своих симпатий к англосаксонским странам», он утверждает, что «прогнившие капиталистические страны не начнут первыми войну против СССР»). Я, естественно, отрицал достоверность обоих доносов. Весь остальной разговор сводился к монотонному: «Ну, давайте, Лурье, давайте, не тяните кота за хвост...» и моему мычанию («Нечего сказать...») и молчанию. Очень помогали стенные часы (которые я, вообще-то, терпеть не могу, так как бой мешает спать) – они отмечали течение времени. Думаю, что по нынешним стандартам поведение мое не было безупречным: я не «качал прав», не протестовал против эфемистического мата следователя («Яп-понский бог...»), не помешал ему даже вести протокол за нас обоих. Ибо главным мне казалось не дать ему никаких материалов, и это удалось. (После 1956 г. вернулись осужденный на двадцатипяти-

летнее заключение Левинтон и Д., получивший 10 лет. Левинтон прямо и категорически заявлял, что его посадил Д. Мы увиделись с Д. вскоре после его возвращения. Он спросил, вызывали ли меня по его делу. Мне не хотелось отвечать: шли только первые годы «оттепели», и разговаривать с ним на такие темы было бы странно. «Но я же знаю», – сказал он. «Ну, если ты знаешь, то знаешь и то, что никаких показаний против тебя я не дал». «Да, да, конечно», – с готовностью подтвердил он. «Но они творили там всяческие пакости – писали доносы моим почерком». Я не стал говорить ему, что «они», очевидно, не только писали его почерком доносы, но и включили в них разговоры между нами, известные только нам двоим.)

Вызовы весной 1949 г. окончились более счастливо, чем предполагали мы дома. Следователь вызвал меня еще раз, и я был убежден, что уже не вернусь, но свидание неожиданно оказалось кратким. Следователь сказал, что он якобы предполагал вызвать меня на очную ставку (с Левинтоном), но его начальство нашло это нецелесообразным.

А спустя месяц начались неприятности другого рода. В Институте им. Герцена, основном месте моей работы, была открыта кампания против космополитов, и на историческом факультете этого института я стал основным ее объектом. Зав. кафедрой истории СССР В. Н. Бернадский рассказывал мне, что во время очередной поездки в Москву его спросили, как идет в институте борьба с космополитами. «У нас нет космополитов», – сказал он. «Эти слова свидетельствуют о вашей политической близорукости», – был ответ. До сих пор не знаю, была ли моя «проработка» в Институте прямо связана с Большим домом (как бывало не раз – особенно в последующие годы), или главным было то, что в то же время объектом более широкой и громкой «проработки» стал в Академии наук и Университете мой отец. В выступлениях против меня в качестве фона упоминался, во всяком случае, «космополитизм Лурье-папаши». Еще находившийся на свободе Д. успел даже пустить остроту, что я не «безродный», а «родовитый космополит».

Сильное впечатление произвело на меня различие в поведении студентов и старшего поколения. Как было и с отцом, материалов для обвинения меня в космополитизме оказалось маловато: к концу апреля я уже окончил лекционный курс, получил командировку в Москву (я нарочно хотел уехать после апрельских вызовов), и прийти на мои занятия было невозможно. Во время работы в Герценовском институте я опубликовал всего две статьи, но читать их организаторам кампании было некогда; они ограничились ссылкой

на заголовок одной из статей «Английская политика на Руси в XVI в.», заявив, что само это заглавие означает принижение Руси и возвышение Англии (один из знакомых посоветовал мне назвать следующую статью «Русская политика на Англии»).

Но этого было маловато. Институтские деятели прибегли к сложному приему. Одна из преподавательниц (некто Шурыгина) обратилась к студенткам: «Вы знаете, девочки, как я люблю Якова Соломоновича. Расскажите мне о его занятиях, чтобы я могла заступиться за него, если его будут ругать». Со студентами отношения у меня были очень хорошие: особенно интересно у нас шли практические занятия на первом курсе, где я предлагал им спорные вопросы, и они с увлечением дискутировали на основе источников. Об этом рассказали Шурыгиной, и другим обвинением против меня на общефакультетском собрании стала постанова на практических занятиях не предусмотренных программой и идейно не выдержанных докладов (антипатриотическая трактовка Куликовской битвы, вопрос об убийстве царевича Дмитрия, не имеющий исторического значения). Услышав об этом, ребята пришли в отчаяние (они думали, что подвели меня), послали мне записку: «Не верьте Шурыгиной», а девочки даже плакали. В прениях взял слово П. Павлов, мой ученик, оставленный в аспирантуре по моей рекомендации. Я настолько был убежден, что он собирается вступить за меня, что хотел послать ему записку, чтобы он не губил себя напрасно, но, к счастью, не успел этого сделать. П. Павлов обвинил меня в космополитизме, ссылаясь на то, что на собрании кафедры, предшествующем общефакультетскому, на вопрос (довольно странный), с какой целью я писал свои научные статьи, я ответил: «Для выяснения истины». «Истины вообще, единой для всех стран и национальностей. Явный космополитизм!» – заявил Павлов.

Как и отцу при аналогичных обстоятельствах, мне стало ясно, что проработка эта означает невозможность сохранить прежнее место работы. Официального решения об увольнении меня из Пединститута не было, но когда В. Н. Бернадский передал мне неофициальное предложение ректора уйти по собственному желанию, я не стал сопротивляться и согласился. Также согласился я на аналогичное предложение, сделанное мне осенью в Академии художеств (хотя увольнять после отпуска по КЗоТу было нельзя, и я мог сопротивляться). Опасаясь более серьезных бед, я уехал из Ленинграда – сперва в Мурманск, затем в Москву и в Харьков. Во время моего отсутствия (в декабре 1949 г.) был арестован Д. За что его арестовали? Вернувшись, он предпочитал не распространяться об этом, но люди, соприкасавшиеся с ним в заключении, вы-

сказывали предположение, что наказан он был за поведение, предосудительное для сотрудника госбезопасности. В лагере он занимал почетную должность – заведовал клубом. Незадолго до его ареста мне несколько раз звонил тот же голос, который вызывал меня весной.

Я рассказал об этой истории так подробно именно потому, что для отца она была не менее важной, чем собственные беды. Когда он думал о том, что могло быть хуже, чем увольнение и вынужденный отъезд из Ленинграда, он учитывал возможность не только собственного ареста, но и такой же участи для меня, а это его страшило никак не меньше.

После смерти Сталина мы оба вновь получили работу – я в Музее истории религии и атеизма (впоследствии я перешел оттуда в Институт русской литературы – Пушкинский Дом), отец – во Львовском университете. Отец ездил в Ленинград, я – во Львов, однако в момент смерти отца меня с ним не было. Чувство глубокой вины за разлуку в последние годы было одним из стимулов, побудивших меня к написанию этой книги.

* * *

«Мысли и взгляды интересуют тебя больше, чем судьба друзей, больше даже, чем собственные беды», – писал отец не только о Демокрите, но и о себе. Эта его жизненная позиция побуждает меня сказать несколько слов о моем отношении к мыслям и взглядам отца.

Как и отец (а, вероятно, также и дед), я считаю, что логичное и соответствующее источникам объяснение истории возможно только на путях исторического детерминизма, что развитие человечества, как и развитие всего животного царства, происходит под влиянием изменений в окружающей среде. Я более внимательно, чем отец, читал марксистскую литературу (предисловие к «Критике политической экономии», «18 брюмера Луи Бонапарта», пехановский «Монистический взгляд»), но не меньшее влияние оказали в этом отношении на меня, как и на него, исторические взгляды Л. Толстого – моя статья «“Дифференциал истории” в “Войне и мире”»⁴ в значительной степени была развитием взглядов отца. О закономерности исторического процесса свидетельствует сравнительное изучение истории различных народов; без исследования этой закономерности историческая наука становится бессмысленной – она превращается в собрание анекдотов.

⁴ Русская литература. 1978. № 3.

Всецело принимаю я и космополитизм (интернационализм) отца. Но в этом отношении я склонен даже идти дальше его. Я думаю, что представление о так называемом национальном характере в сколько-нибудь широком историческом плане есть «дурная», совершенно неплодотворная абстракция. Конечно, любое историческое обобщение абстрагирует и схематизирует реальную действительность. Схематично и марксистское учение о классах и классовых интересах. Интересы класса неоднородны, представители его могут, по выражению Маяковского, «заливать» свою жажду «не квасом» или проявлять националистические настроения (и еще как!). Но при всей своей абстрактности марксистская схема функциональна, она отражает явления, связанные с повседневной жизнью и деятельностью определенных групп людей. Конечно, рабочий, севший в поезд, чувствует себя не рабочим, а пассажиром (как заметил Г. Уэллс, видевший в этом сильнейший аргумент против марксизма), но общие интересы с другими рабочими естественно вытекают из его основной деятельности: все рабочие заинтересованы в увеличении заработной платы, в уменьшении продолжительности рабочего дня, больше страдают от косвенных, чем от прямых (подходных) налогов и т. д. Классовая солидарность рабочих породила профсоюзы, сыгравшие решающую роль в том, что положение трудящихся в Западной Европе XX в., например в Англии, стало несравненно легче их положения во времена Диккенса. Но если абстракция «классовых интересов» плодотворна, то абстракция «национального характера» при любой проверке оказывается мистификацией. Достаточно проанализировать национальные характеристики, высказываемые при межнациональных противоречиях, чтобы убедиться, что все они сводятся к нескольким схемам чисто социального типа. Взаимная характеристика русских и евреев, турок и греков, грузин и армян – это характеристики крестьян (грубость, расточительность, неуважение к собственности, склонность к разгулу) и горожан (расчетливость, хитрость, жадность, эгоизм). В других случаях «национальный характер» сводится к специфическим чертам граждан демократических и авторитарных стран, малых государств или великих держав, колонизаторов или коренных жителей колоний. И всегда изменение социального статуса на протяжении одного-двух поколений приводит к изменению «национального характера» (например, в нынешнем Израиле).

Вот почему в споре отца и деда о корнях антисемитизма я склонен скорее склоняться к точке зрения деда. Конечно, последующая эпоха не оправдала надежд Я. А. Лурье на исчезновение антисеми-

тизма и еврейской «особенности». Но даже апокалиптический антисемитизм XX в. – лишь часть всемирного обострения национализма и шовинизма. Мало того – именно история второй половины XX в. дала парадоксальный пример того, что антисемитизм возможен и при почти полном отсутствии евреев. К 1945 г. еврейство Польши было почти уничтожено Гитлером; жалкие его остатки эмигрировали, к 1968 г. евреев в Польше было ничтожно мало. Это не помешало, однако, организации антисемитской кампании, сыгравшей важнейшую роль в истории Восточной Европы эпохи «пражской весны». Применить к истории этих событий формулу «причина антисемитизма лежит в самих евреях» было бы затруднительно, скорее следовало бы сказать, что если евреев нет налицо, то их можно выдумать.

Во всяком случае, определение еврейского «национального характера», предложенное отцом, есть, как мне кажется, определение не специфически еврейского, а «метэксского» характера. Не является ли сдержанная, «не рефлексивная» реакция на обиды, которую отец считал типичной для евреев, присущей всем «метэкам» и возникающей и исчезающей у разных народов? Учитывая вкус отца, думаю, что здесь уместно вспомнить старый анекдот об англичанине и японце, ехавших в европейском поезде. Англичанин вел себя грубо, оскорблял японца; тот был безукоризненно вежлив и отвечал ослепительной японской улыбкой. К концу путешествия англичанин устыдился и попросил у японца извинения за свое поведение. «В таком случае и я должен извиниться, сэр, – сказал японец с той же улыбкой, – что я каждое утро плевал вам в кофе». Убежден, что если бы героем анекдота был не японец, а еврей, то отец обязательно привел бы его, как типичный пример еврейского характера.

Вот почему мне кажется, что «Антисемитизм в древнем мире», не решая так называемого еврейского вопроса, ставит куда более широкую проблему «метэкства» – одну из важнейших проблем в истории человечества.

Не согласен я и с широко распространенным представлением о «национальном чувстве» и «любви к своему народу» – как положительном и нормальном свойстве, служащем основой более широкой «любви к человечеству». Национальное чувство «нормально» лишь в том смысле, что оно широко распространено, как распространено предпочтение родственников людям, не находящимся с нами в родстве, как склонность мальчиков драться, а девочек – наряжаться. Но по своей сути национальное чувство антигуманно, так как противостоит идее равенства людей, оценке их только по личным свойствам. «Предпочтение перед другими людьми

ми своей народности (патриотизм)... служило и служит до сих пор источником величайших бедствий человечества», – писал Лев Толстой,⁵ и это, по-моему, так же справедливо, как и его исторический детерминизм.

Говоря: «Я люблю человека N», мы подразумеваем, что «человека X» мы любим меньше или ненавидим, и это естественно и неизбежно. Никакое христианство еще никогда не заставляло людей отказываться от симпатий и антипатий к другим людям. Точно так же, заявляя: «Я люблю нацию N», мы уже подразумеваем, что «нацию X» мы любим меньше или ненавидим, и никакие уверения патриотов своей нации, что у них совсем нет предубеждений против других наций, не могут опровергнуть этого неизбежного логического заключения. До поры до времени нелюбовь к «нации X» может оставаться в потенции, но когда-нибудь она неизбежно выйдет на свет. Даже самые выдающиеся представители националистического мировоззрения не свободны от шовинизма и рано или поздно его обнаруживают. Примерами могут служить хотя бы Достоевский и Солженицын. Чтобы не быть пристрастным, не буду говорить об отношении к евреям, а напомним лишь замечания обоих классиков о крымских татарах, полонофобство Достоевского и удивительные по своей несправедливости замечания Солженицына о грузинах. А между тем оценка одним человеком (даже великим) целого народа (даже малого) – всегда акт постыдного самомнения.

Не думаю, чтобы в этом последнем вопросе я разошелся с отцом, хотя так резко он его, насколько я знаю, не ставил. Солидарен я с ним и в том, что радикальным средством разрешения национального, а точнее «метэцкого», вопроса не может служить территориальное самоопределение наций. Национальные государства – неизбежный и необходимый этап в истории человечества; пока на свете существуют колониальные империи с господствующими и подчиненными нациями, борьба этих последних за свои права естественна и законна. Уничтожение последних колониальных империй – необходимое условие развития человечества (если оно вообще еще сохранится в XXI в.). Но что будет дальше, после уничтожения таких империй? Опыт показывает, что во всяком национальном государстве сохраняются национальные меньшинства, разные религиозные, племенные и иные группы и остается преобладание большинства над меньшинством. Многие из этих национальных государств (как показывает опыт Латинской Аме-

⁵ Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1928–1958. Т. 70–71. С. 519–520.

рики, а в XX в. – большей части Азии и Африки) становятся не демократическими странами, а авторитарными государствами, где вновь и вновь возникает междоусобная борьба и одни виды тирании сменяются другими. Очевидно, решение проблемы неравенства – не в бесконечном дроблении стран по принципу однородности состава: дробление это бесцельно уже потому, что противостоящие друг другу группы размещаются чаще всего не по разным территориям, а вперемешку. Встает вопрос не только о праве на государственное отделение, но и о какой-то централизующей силе, дающей представителям всех групп действительное равноправие. Но такая сила может быть только интернациональной.

В 30-е годы, в период увлечения идеей «мировой революции», я сказал как-то, что если бы коммунизм действительно мог объединить земной шар, я принял бы его. Этой фразой потом долго попрекал меня Иосиф Амосин. Строго говоря, действительность второй половины XX в. не дала экспериментальной проверки этой формулы. Коммунизм оказался в такой же степени неспособным объединить весь мир, как и другие идеологии.

Тоталитарные «социалистические» государства, если они сохраняют независимость, не менее, а может быть, и более враждебны друг другу, чем государства капиталистические (это гениально предсказал Оруэлл еще в 1940-х гг.). Национализм – неизбежная черта тоталитаризма, каким бы именем он себя не называл. Вопреки мнению публицистов, видящих главное зло XX в. в социализме и атеизме, коммунистический тоталитаризм оказывается лишь видовым понятием по отношению к родовому – тоталитаризму или фашизму вообще. Тоталитарное государство может строиться на любой идеологии – на идеях Маркса XIX в., Магомета VII в. или Иисуса Христа I в. История, исследованная С. Я. Лурье по памятникам начала нашей эры – превращение анархического раннего христианства в официальную идеологию Римской империи, – повторяется на материале всех мировых идеологических движений.

Но конечно, в идее мирового государства таится серьезная, хотя пока и нереализованная опасность – опасность мирового тоталитаризма. Где же выход? Он, очевидно, – в сочетании федерализма местного управления, широкого простора для индивидуальной инициативы в любых частях земного шара с некой интернациональной силой, для которой не существовало бы ни господствующих категорий граждан, ни «метэков». После победы над Гитлером и создания Организации Объединенных Наций Эрнст Бевин заявлял, что будет считать свою миссию осуществленной, если ООН превратится во всемирный парламент. Это оказалось чистой-

шей утопией – ООН стала не парламентом, а подобием польского сейма XVII–XVIII вв. с *liberum veto* – обязательным единогласием постоянных членов (ни в чем друг с другом несогласных); большинство стран, представленных в ней, – не демократии, а разного вида тирании. Это, в сущности, не Организация Объединенных Наций, а Организация Объединенных Хунт. Но в начале существования ООН еще возникали идеи интернационализации средств массового разрушения (план Баруха); из идеи «мирового государства» исходил, по-видимому, американский «отец водородной бомбы» Теллер; интересно было бы узнать, не существовала ли такая же идея (в той ее марксистской версии, которая привлекала меня в 30-х годах) и у советского «отца водородной бомбы» – Андрея Дмитриевича Сахарова.

Сегодняшняя Организация Объединенных Наций – конечно, не модель будущего Мирового государства. Даже если бы она состояла не из представителей государств, а из прямо выбираемых депутатов от всего человечества, демократичность ее вызвала бы самые серьезные сомнения. Ведь страны с демократическим, плюралистическим строем посылали бы в нее представителей разных, спорящих друг с другом партий, между тем как государства, управляемые единственными в данной стране «партиями» или хунтами, неизменно представлены были бы «монолитно едиными» делегациями, заботливо подобранными их правителями. Такая Организация Объединенных Хунт была бы еще страшнее, чем нынешняя. Всеобщая победа плюралистической демократии и «открытого общества» – обязательное условие подлинно всемирного объединения.

Но как может осуществиться эта победа? Не стоим ли мы перед замкнутым кругом? Не знаю. Убежден, во всяком случае, что мысль о добрых тоталитарных вождях и монополюльно властвующих «партиях», которые по собственной воле, без давления извне, откажутся от своей неограниченной власти (особенно в больших, вполне независимых странах), конечно, утопична. Так не бывало. «Великие реформы» в России XIX в. (не решившие, конечно, основных проблем ее истории) были связаны с поражением в Крымской войне, но войны XX, а очевидно, и XXI в. едва ли могут привести к такому «умеренному» и не разрушившему побежденную страну поражению, как в 1855 г. Есть еще один путь, который казался наиболее естественным свободно мыслящим людям поколения моего отца, да и моему поколению – в его молодые годы. Революция. Слово это звучало еще в 20-х и 30-х годах XX в. великолепными аккордами «Марсельезы» и «Интернационала», а ныне стало – во всяком случае, для основной части интеллигенции на-

шей страны – одиозным, почти неприличным. Закономерно ли такое изменение отношения к революции?

Наиболее странно, пожалуй, то обстоятельство, что разочарование в революции произошло у многих интеллигентов – даже далеких от монархизма, идей «великой России» и т. д. – не после 1917 и даже не вслед за Гражданской войной, а значительно позже – во второй половине века. Решающий толчок дали, как это ни странно, размышления над сталинским террором, происшедшим тогда, когда революцией уже и не пахло, а бывших революционеров было, пожалуй, больше среди жертв, чем среди палачей. «А началось это все-таки с революции», – обычно говорят новоявленные противники революционных преобразований. Но как в истории определить начало какого-либо явления? Сталинизм начался с ленинизма, ленинизм – с революции, а революция – с упорного нежелания царизма считаться с самыми скромными «бессмысленными мечтаниями» конституционалистов. <...>⁶

Все революции бывают вызваны безвыходностью (тупым упорством) «старого порядка», нагнетанием его безобразий, насилием. Все ли они приводят к диктатуре и террору? Нидерландская революция XVI в. обошлась без последующей диктатуры – так же и Американская революция XVIII в. (так американцы называют – и вполне обоснованно – свою борьбу за независимость). Но бывает и иначе. Англия знала в XVII в. две революции – «Великий бунт» 1649 г., закончившийся диктатурой Кромвеля и реставрацией, и Славную революцию конца века, окончившуюся вполне мирно и приведшую к установлению благополучно здравствующей конституционной монархии. Франция с конца XVIII по конец XIX в. пережила по крайней мере пять революций, но демократический строй, установившийся в итоге этой бурной истории, оказался настолько прочным, что выдержал испытание гитлеровской оккупацией и петэновским режимом. Русским эмигрантам, живущим под сенью французской демократии, но объявляющим Великую революцию, впервые провозгласившую на весь мир права человека, абсолютным «злом», следовало бы задуматься над тем, почему легкомысленные французы считают 14 июля своим национальным праздником и ежегодно воздают дань памяти этому «злу».

Как будут жители нашей страны воспринимать столетие спустя 1905 и 1917 годы? Этого мы не знаем. Но, может быть, не будет

⁶ Несколько строк в рукописи невозможно прочесть из-за большого чернильного пятна. — *Примеч. сост.*

большим кощунством вспомнить старый анекдот об англичанине и иноземце: «Как вам удастся, сэ, поддерживать ваши замечательные газоны?» – «Очень просто! Поработайте над ними пару столетий, и у вас тоже все будет в порядке!»

Еще в 1905 г., в разгар Первой русской революции, Толстой призывал людей «понять, что революции не делаются нарочно: “дай, мол, сделаем революцию”». ⁷ «Революция состоит в замене худшего порядка лучшим. И замена эта не может совершиться без внутреннего потрясения, но потрясения временного. Замена же дурного порядка лучшим есть необходимый и благотворный шаг вперед человечества». ⁸ Отвергавший равным образом и государственно-патриотическое и революционное насилие, Толстой еще в 1903 г. приходил к таким неожиданным мыслям: «Есть два способа борьбы с правительством: мирный – словом и террористический – бомбой. Первый способ испробован был полностью – и никакого результата, остается только второй способ – бомба». ⁹

И вновь Толстой возвращался к тому же настроению в 1908 г., в связи со столыпинскими казнями: «Признаюсь, мне раньше были противны эти легкомысленные революционеры, устраивающие убийство, но теперь я вижу, что они святые по сравнению с теми... Если поступать око за око, то они еще очень милостивы». ¹⁰ При этом он вовсе не идеализировал предвиденную им в конце жизни неизбежную революцию и понимал, что она значит для того круга людей, к которому он принадлежал: «Раньше страдал больше низший класс людей, а теперь страдания дошли до нас: вот убьют, отнимут». ¹¹

«Что же делать?» – этот вопрос, поставленный Толстым в 1906 г. (и почти идентичный наименованию книги Чернышевского и ленинской статьи), задаем мы и сейчас, восемь десятилетий спустя. Все мы понимаем, что чем менее кровавыми, чем более мирными будут предстоящие потрясения, тем лучше. Но едва ли это от нас зависит. Отдельный человек – будь он христианин, эволюционист или революционер – может повлиять на стихийные общественные явления едва ли более, чем на явления природы. «Почему ты знаешь, что то, что ты делаешь, произведет ожидаемые тобою послед-

⁷ Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: Т. 36. С. 260.

⁸ Там же. С. 488.

⁹ Абрикосов Х. Н. Из воспоминаний. «Двенадцать лет около Толстого» // Толстой Л. Н. в воспоминаниях современников. 2-е изд., испр. и доп.: В 2 т. М., 1960. Т. 2. С. 151.

¹⁰ Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: Т. 36. С. 320, 324.

¹¹ Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым (Дневник). Запись от 9 окт. 1907 г. // Толстой Л. Н. в воспоминаниях современников. С. 299.

ствия, тогда как ты не можешь не знать, что последствия, особенно в делах, касающихся жизни народов, бывают часто совершенно противоположны той цели, для которой они сделаны...» – спрашивал тот же Толстой¹² и заявлял: «Последствия наших поступков не в нашей власти. В нашей власти самые поступки наши».¹³

Я очень хорошо понимаю, что идеи всемирной плюралистической демократии так же утопичны, как и отцовская идея «федеративного союза свободно организующихся общин». Но они, во всяком случае, не более утопичны, чем все современные, более модные концепции – идеи мирного сосуществования патриархально-авторитарных стран, объединенных верой (православно-христианской, католической, мусульманской или всеми вместе). Стремление к интернациональной демократии имеет на самом деле одно бесспорное преимущество перед всеми национально-религиозными утопиями – оно не стоит в таком вопиющем противоречии с историей предшествующих веков, в течение которых «предпочтение перед другими своей народности (патриотизм) и своей веры» служило, по словам Толстого, «источником величайших бедствий человечества».¹⁴

Не странно ли человеку, пишущему послесловие в надежде на посмертное его опубликование, завершать такими рассуждениями семейную хронику, посвященную отцу и деду? Но ведь Соломон Яковлевич Лурье был «королем бестактности», да и деду моему почтение к традициям и ритуалам не было свойственно. И меня, как и их, «мысли и взгляды» занимают больше, чем судьба друзей и родственников, больше даже, чем ожидание собственной, уже недалекой смерти.

¹² Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: Т. 36. С. 368.

¹³ Там же. Т. 38. С. 152.

¹⁴ Там же. Т. 70 – 71 (№ 352). С. 519 – 520. Ср.: Там же. Т. 90. С. 45 – 53.



С.Я. Лурье во время летней практики в Керчи со студентами
филологического факультета ЛГУ. Конец 1940-х годов.



С.Я. Лурье. Март, 1951 год.



С.Я. Лурье с невестой С.И. Лурье. 1911 год.



С.Я. Лурье с сыном Яковом.
1920-е годы.



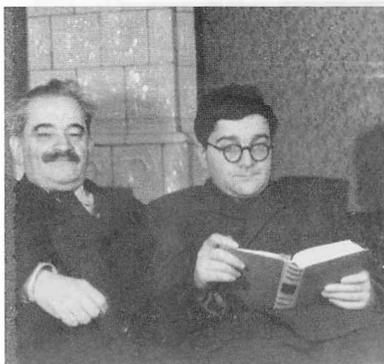
Я.С. Лурье после войны.
Середина 1940-х годов.

С.Я. Лурье с внуком Лёвой.
Сзади стоит Я.С. Лурье.
1953 год.



С.Я. Лурье с внуком Лёвой.
1953 год.





С.Я. Лурье с сыном Я.С. Лурье
на квартире во Львове. 1957 год.



С.Я. Лурье в своем кабинете.
Львов. Конец 1950-х годов.



Я.С. Лурье в доме своего друга
М.Н. Ботвинника
(ученика С.Я. Лурье).
Конец 1980-х годов.



Я.С. Лурье с сыном
Львом (справа) и
внуком Даниэлем (слева).
1992 год.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН¹

Аввакумов Сергей Иосифович (1894–1962)	188
Агроскин Александр Генрихович (1891 – ?), одноклассник С. Я. Л.	37
Азадовский Марк Константинович (1888–1954)	186
Александр (Невский) Ярославич (ок. 1220–1263)	170
Александр II Николаевич (1818–1881)	20; 33
Александр III Александрович (1845–1894)	33
Александров Георгий Фёдорович (1908–1961)	173
Алексий (в миру Симанский Сергей Владимирович) (1877–1970), Патриарх РПЦ	*193
Алкей (ок. 620 – ок. 580 до н.э.)	124
Альтман Иоганн Львович (1900–1955), театровед	175
Амусин Иосиф Давидович (1910–1984)	154–155; 177; 183; 248
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919)	63
Анненский Иннокентий Фёдорович (1856–1909)	48
Антифонт (V в. до н.э.)	84; 98; 100; 110; 112; 141; 194
Аристокитон (к. VII–514 до н.э.)	125
Аристотель (384–322 до н.э.)	124; 163
Аристофан (ок. 450 – ок. 388 до н.э.)	14; 62–64; 87; 89
Архилох (VII в. до н.э.)	124; 210; 229
Ахматова Анна Андреевна (1889–1966)	12; 42; 173
Бабель Исаак Эммануилович (1894–1941)	96
Баммель Гр. К.	122
Бейлис Менахем Мендель (1874–1934)	26–27; 42; 56; 224
Бекли Ю. Ю. <i>см. Бехли Ю. Ю.</i>	
Бёлль Генрих (1917–1985)	107
Бенешевич Владимир Николаевич (1874–1941 (1943?))	92; 126; 153

¹ Звездочкой (*) перед цифрой в указателе имен отмечены страницы, на которых упоминаемые лица названы не по фамилии, а как-нибудь иначе (например, по имени, должности или степени родства).

Бердяев Николай Александрович (1874–1948)	226
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953)	155
Берков Павел Наумович (1896–1969)	195
Бехли Ю. Ю.	26; 70
Бианки Виталий Валентинович (1894–1959)	11
Бикерман (Bickerman) Элиас Иозеф (1897–1981)	93
Билык Михаил Осипович (1889–1970), зав. каф. в Львовском ун-те в 1950-е годы	208–209
Блей, львовский врач	206; 214
Блок Александр Александрович (1880–1921)	83
Богаевский Борис Леонидович (1882–1942)	105; 107; 109; 110; 128; 130–131
Болдырев Александр Васильевич (1896–1941)	127
Болтунова Анна Ивановна (1900–1992)	152; 180–181
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955)	74
Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1873–1956)	74–75
Боричевский Иван Адамович (1892–1942?)	121–122; 142
Боровский Яков Маркович (1896–1994)	87; 105; 195; 217; 220
Бороздин Илья Николаевич (1883–1959)	201
Ботвинник Марк Наумович (1918–1994)	154–155; 210; 212
Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934)	77
Бубнов Андрей Сергеевич (1883–1940)	146
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940)	12–13; 41–42; 138; *139; *146
Бурденко Николай Нилович (1876–1946)	168
Бухарин Николай Иванович (1888–1938)	142
Бялик Хаим Нахман (1873–1934)	23
Вавилов Николай Иванович (1887–1943)	172–173
Вавилов Сергей Иванович (1891–1951)	142; 172; 187
Вайнштейн Осип Львович (1894–1980)	150; 180; 188
Валк Сигизмунд Натанович (1887–1975)	150; 188
Варшавский Яков Львович (р. 1911), театровед	175
Вельгаузен (Wellhausen) Юлиус (1844–1918)	219
Вентрис (Ventris) Майкл (1922–1956)	198–199; 210–211
Веселовский Александр Николаевич (1838–1906)	173
Виламовиц-Мёллендорф (Wilamowitz-Moellendorff) Ульрих (1848–1931))	111–112
Вильгельм (Wilhelm) Адольф (1864–1950)	53
Вовси Мирон (Меер) Семёнович (1897–1960)	190
Вознесенский Александр Алексеевич (1898–1950)	*174
Вознесенский Николай Алексеевич (1903–1950)	174
Вознесенский Сергей Валерьянович (1884–1939)	153
Волгин Вячеслав Петрович (1879–1962)	142
Волк Степан Степанович (1921–1993)	186; 188
Володарский В. (1891–1918)	168
Вольф (Wolf) Фридрих Август (1759–1824)	219

Вулих Наталья Васильевна (р. 1916)	195
Гайдукевич Виктор Францевич (1904–1966)	185; 202–204
Ганди (Gandhi) Мохандас Карамчанд (1869–1948)	16
Ганелина Ирина Ефимовна, невестка С. Я. Л. (р. 1921)	*190
Гармодий (конец VII–514 до н. э.)	125
Гауф (Hauff) Вильгельм (1802–1827)	38
Геббельс (Goebbels) Йозеф (1897–1945)	93
Гейне (Heine) Генрих (1797–1856)	39; 237
Георгиев Владимир (1908–?)	198
Геродот (484?–425? до н. э.)	157; 177; 179; 209
Гершензон Михаил Осипович (1869–1925)	218
Гессен Владимир Юльевич (1908–1980)	153
Гиллельсон Максим Исаакович (1915–?)	154
Гинзбург Шейна, жертва могилевского погрома в окт. 1904	25
Гиришман Леонид Леопольдович (1839–1921)	21
Гисин, глава могилевских сионистов	75
Гитлер (Hitler) Адольф (1889–1945)	58; 148; 156; 160; 163; 167; 170–171; 214; 238–240; 246; 248
Глускина Лия Менделевна (1914–1991)	195
Говальд (Howald) Эрнст (1887–1967)	176
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852)	38
Гомулка (Gomulka) Владислав (1905–1982)	211
Горький Максим (1868–1936)	63–64; 78; 82–83; 147
Гревс Иван Михайлович (1860–1941)	150–151
Греков Борис Дмитриевич (1882–1953)	150; 204
Грозный (Hrozný) Берджих (1879–1952)	198
Гуковский Григорий Александрович (1902–1950)	186; 188
Гуковский Матвей Александрович (1898–1971)	188
Гурвич Абрам Соломонович (1897–1962), теат- ровед	175
Данько Елена Яковлевна (1898–1942)	11
Дарвин (Darwin) Чарльз (1809–1882)	116–117; 119; 218
Дарий I (VI–к. V вв. до н. э.)	157–158
Деборин Абрам Моисеевич (1881–1963)	142
Деборин Григорий Абрамович (1907–?)	181; 183
Дементьев Александр Григорьевич (1904–1986)	195
Демокрит (ок. 460–ок. 370 до н. э.)	11; 84; 141; 156; 171– 172; 210; 212; 217; 220; 244
Державин Гавриил Романович (1743–1816)	35
Державин Николай Севастьянович (1877–1953)	109
Дикий Андрей (псевдоним), русский эмигрантский писатель, автор книги «Евреи в России и СССР»	93–94

Диккенс (Dickens) Чарльз (1812–1870)	225; 245
Дилигенский Герман Германович (р. 1930)	209
Дильс (Diels) Германн Александр (1848–1922)	157
Дионисий Сиракузский I Старший (432–367 до н. э.)	193
Диофант (II в. до н. э.)	201–206
Дмитрий (Донской) Иванович (1350–1389)	170
Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874–1939)	150–151
Доватур Аристид Иванович (1897–1982)	105; 127; 185; 220
Домбровский Юрий Осипович (1909–1978)	148; 169
Домнин Никита Андреевич (1905–?), ректор ЛГУ, конец 1940-х – начало 1950-х	186
Дрезен Арвид Карлович	145
Дрейфус (Dreyfus) Альфред (1859–1935)	21
Дубровский Сергей Митрофанович (1900–1970)	145
Духонин Николай Николаевич (1876–1917)	75
Дюрренматт (Duerrenmatt) Фридрих (1921–1990)	170
Еврипид (484–406 до н. э.)	48–49; 64; 112; 194
Егунов Андрей Николаевич (1895–1968)	51; 105; 127; 137
Ежов Николай Иванович (1895–1939 (1940?))	155–156
Ермак Тимофеевич (ум. 1585)	175
Ернштедт Пётр Викторович (1890–1966)	56; 105
Жаботинский Владимир Евгеньевич (1880–1940)	160
Жданов Андрей Александрович (1896–1948)	146; 173; 174
Жебелёв Сергей Александрович (1867–1941)	50–52; 63; 90; 95; 104–107; 126; 130; 138; 150–151; 176; 180; 201; 204–205; 218
Железняков («Железняк») Анатолий Григорьевич (1895–1919)	77–78
Желябов Андрей Иванович (1851–1881)	168
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971)	186
Житков Борис Степанович (1882–1938)	11
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852)	35; 195
Зайдель Григорий Соломонович (1893–?)	126; 131; 142; 145
Залесский Николай Николаевич (1900–1984)	153
Захер Яков Михайлович (1893?–1963)	153
Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944)	47; 50; 63; 104; 120; 138; 180
Зенон Элейский (ок. 490–430 до н. э.)	141
Зиновьев Григорий Евсеевич (1883–1936)	87
Зомбарт (Sombart) Вернер (1863–1941)	57; 91
Зоценко Михаил Михайлович (1895–1958)	173

Зускин Вениамин Львович (1899–1952)	189–190
Иван IV (Грозный) Васильевич (1530–1584)	170; 175
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949)	48; 218
Илгисонис Ирина (1942), соседка по даче С. Я. Л. в сер. 1940-х	174
Кавальери (Cavalieri) Бонаventura (1598–1647)	142
Каллистов Дмитрий Павлович (1904–1973)	13–14; 106; 176–177; 185; 202; 224
Каляев Иван Платонович (1877–1905)	168
Канегиссер Леонид Самуилович (ок. 1896–1918)	95
Каплан (наст. ф. Ройдман) Фанни (Фейга) Ефимов- на (1890?–1918)	95
Каутский (Kautsky) Карл (1854–1938)	116; 119–120; 123– 125; 129; 148
Кац (Katz) Зеев, израильский социолог	128
Кацнельсон Исидор Саввич (1910–1981)	176–178
Келповский <i>см. Таллат-Келтша</i>	
Керенский Александр Фёдорович (1881–1970)	74; 76–77
Киров Сергей Миронович (1886–1934)	147
Клушин Владимир Иванович	122
Ковалёв Сергей Иванович (1886–1960)	110; 128; 130–131; 133–135; 150–151; 153; 155; 159; 176; 178–180; 185; 237
Коковцов Павел Константинович (1861–1942)	105
Колобова Ксения Михайловна (1905–1977), проф., зав. каф. Др. Греции и Рима ЛГУ	150; 185; 196
Колчак Александр Васильевич (1873–1920)	84–85; 87
Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945)	*163
Копржива (по мужу Надэль) Мира (1923–1983), племянница С. Я. Л.	*103; *183; 212
Копржива (урожд. Лурья) Богдана Яковлевна (1896– 1981), сестра С. Я. Л.	*19; *25; *29; *70; *74; *79; *85; 87; *103; *140; 212; *223; 235
Копржива Роберт, шурин С. Я. Л.	85; 103
Корнатовский Николай Арсентьевич, проф., в 1960– 70-х зав. каф. истории КПСС ист. ф-та ЛГУ	156; 188
Корнейчук Александр Евдокимович (1905–1972)	126
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918)	73–74
Короленко Владимир Галактионович (1852–1921)	12; 47; 63; 226
Коялович Борис Михайлович (1867–1941)	46
Кречмер (Kretschmer) Пауль (1866–1956)	198
Крылов Алексей Николаевич (1863–1945)	142; 154
Крюгер Отто Оскарович (1893–1967)	105; 150; 153
Ксеркс I (убит в 465 до н. э.)	158

Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813)	151; 205
Лавров Николай Фёдорович (1891–1942)	150
Лазуркин Михаил Семёнович, ректор ЛГУ в 1930-х	146
Лампсаков Константин, переводчик Плутарха	153
Лаплас (Laplace) Пьер Симон (1749–1827)	38
Латышев Василий Васильевич (1855–1921)	50; 181; 183; 201; 203
Лебедева Лидия Абрамовна (1910–1968), вторая жена С. Я. Л.	196; *220
Левченко Митрофан Васильевич (1890–1955)	177; 185
Ленин Владимир Ильич (1870–1924)	77; 85; 172; 180
Лесков Николай Семёнович (1831–1895)	138
Либкнехт (Liebknecht) Карл (1871–1919)	168; 233
Либкнехт (Liebknecht) Вильгельм (1826–1900)	170
Листопад, погромщик из Могилева	30
Лифшиц, рабочий, жертва могилевского погрома	24–26
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765)	168
Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965)	121
Лурье Анатолий Яковлевич (1891?–1920?), брат С. Я. Л., врач	*29; 31–32; 34; 35; 37; 85–87
Лурье Иона Яковлевич (1901–?), брат С. Я. Л.	*29; 33; 85–86
Лурье Михаил Лазаревич, двоюродный брат С. Я. Л.	174
Лурье Соломон Яковлевич (1890–1964)	passim
Лурье Софья Исааковна (Айзиковна) (ум. 1932), жена С. Я. Л., врач	37; *38; *45; 54; *55; *86; *139
Лурье Яков Соломонович (1921–1996)), сын С. Я. Л.	*113; *140; *158; *190; 233–252
Лурья Ейна Анатольевич, дядя С. Я. Л.	20
Лурья Залман-Зосим Анатольевич, дядя С. Я. Л.	20
Лурья Исаак (Айзик) Анатольевич, дядя С. Я. Л., а затем и его тесть	24; 37; 41; 66
Лурья Нафтоли (Анатолий), дед С. Я. Л.	19; 20
Лурья Яков (Яков-Арон) Анатольевич (1862–1917), отец С. Я. Л., врач	19–23; 25–34; 36; 39–40; *51; *52; 59; 65; 75; 85; *93; *94; *113; 217–218; 245
Лысенко Трофим Денисович (1898–1976)	126
Люксембург (Luxemburg) Роза (1871–1919)	168
Мавродин Владимир Васильевич (1908–1987)	150, 188
Малеин Александр Иустинович (1869–1936)	105
Мандельштам (урожд. Хазина) Надежда Яковлевна (1899–1980)	48
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938)	12; 138; 237
Маркиш Перец Давыдович (1895–1952)	189–190

Маркс (Marx) Карл (1818–1883)	85; 88; 119; 128–129; 132; 170–172; 248
Марр Николай Яковлевич (1864–1934)	105; 107–109; 131; 135; 137; 177; 180; 188
Мартынов М. Н. историк	153
Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964)	113–114; 237
Машкин Николай Александрович (1900–1950)	182
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930)	48; 88; 237–238; 245
Меир (урожд. Мабович, по мужу Меирсон (Meir) Голда (1898–1978)	169
Мейер (Meier) Эдуард (1855–1930)	65; 116; 118; 176; 184
Меликова-Толстая София Венедиктовна (1885–1942)	105
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941)	218
Милюков Павел Николаевич (1859–1943)	61; 63; 70; 117
Минский Николай Максимович (1855–1937)	48
Минц Исаак Израилевич (1896–1991)	181; 183
Михайлов А.И. (зам. министра высшего образования СССР)	187
Миханков Андрей Михайлович	127
Михоэлс Соломон Михайлович (1890–1948)	169; 189–190
Мишулин Александр Васильевич (1901–1948)	182
Момильяно (Momigliano) Арнальдо Данте	209
Моммзен (Mommsen) Теодор (1817–1903)	177
Мушак Юрий Фёдорович (1904–1973), преподаватель Львовского ун-та	197
Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937)	73; 96
Надэль Бениамин Исаакович (р. 1918)	181; 183; 205; 212
Наполеон I Бонапарт (1769–1821)	38; 214
Неусыхин Александр Иосифович (1898–1969)	180
Николай (в миру Ярушевич Борис Дорофеевич) митрополит Крутицкий и Коломенский	168
Николай II Александрович (1868–1918)	62; 69; 76; 180
Никольская, аспирантка акад. В. Н. Перетца	109
Ольденбург Сергей Фёдорович (1863–1934)	136
Орбели Леон Абгарович (1882–1958)	189
Осипов Виктор Петрович (1871–1947)	127
Павлов Иван Петрович (1849–1936)	189
Парин Василий Васильевич (1903–1971)	189
Пастернак Борис Леонидович (1890–1970)	12; 48; 237
Пельман (Poehlmann) Роберт (1852–1914)	97–98
Перепёлкин Юрий Яковлевич (1903–1982)	14
Перетц Владимир Николаевич (1870–1935)	82–83; 109
Перисад V (убит в 107 г. до н. э.)	201–204
Перовская Софья Львовна (1853–1881)	168
Петражицкий Лев Иосифович (1867–1931)	49–50

Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863–1942)	180
Писистрат (ум. 527 до н. э.)	115; 124
Платон (427–347? до н. э.)	84; 98; 220
Платонов Сергей Фёдорович (1860–1933)	126
Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904)	23
Плутарх (ок. 45–ок. 127)	155; 157
Покровский Михаил Николаевич (1868–1932)	127
Полак Лев Соломонович (1908–2002), физик	142; 154–155; 172; 174
Полетика Николай Павлович (р. 1896), историк	188
Преображенский Пётр Фёдорович (1894–1941)	93; 96
Пригожин Абрам Григорьевич	131
Присёлков Михаил Дмитриевич (1881–1941)	150; 237
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837)	13; 35; 38–39; 224; 237
Р[Атнер] З[алман], псевд. С. Я. Л. в «Могилевской газете...» (1917)	70
Разгон Израиль Менделевич	181; 183
Раков Лев Львович	133–134; 150; 153
Ратнер Мира Соломоновна (ум. 1920 ?), мать С. Я. Л.	*31; *32; *41; *79; *85; *87; *212
Редер Дмитрий Григорьевич (р. 1905)	176
Реизов Борис Георгиевич (1902–1981)	195
Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926)	78
Рейснер Михаил Андреевич (1868–1928)	78
Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924)	81
Родионов Яков Васильевич, исправник Могилевского уезда в 1904	24; *27
Родичев Фёдор Измаилович (1854–1933)	47
Родэ Адолий Сергеевич (ум. 1930)	83
Розанов Василий Васильевич (1856–1919)	226
Розенберг (Rosenberg) Альфред (1893–1946)	93
Розенфельд (Rosenfeld) Моррис (1862–1923)	214
Романов Борис Александрович (1889–1957)	188
Роне, помощник пристава в Могилеве в 1904	25
Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952)	52; 63; 104–106; 127; 130; 180; 194
Рубинштейн Николай Леонидович (1897–1963)	180; 183
Рутенбург Виктор Иванович (1911–1988)	185
Рутилий Клавдий Намациан (нач. V в. н. э.)	91
Рязанов Давид Борисович (1870–1938(1942?))	85–86; 115; 125
Савмак (II в. до н. э.)	201–205
Сартр (Sartre) Жан Поль (1905–1980)	58
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989)	249
Свердлов Яков Михайлович (1885–1980)	95
Северянин Игорь (1887–1941)	88
Сербина Ксения Николаевна (р. 1903)	182

Сергеенко Мария Ефимовна (1891–1987)	181–183; 185; 195; 224
Сергий (в миру Страгородский Иван Николаевич) (1867–1944), Патриарх РПЦ	167
Сланский (Slánský) Рудольф (1901–1952)	190
Слуцкий Борис Абрамович (1919–1952)	167
Смирнов Иван Иванович (1909–1965)	150
Смирнов Яков Иванович (1869–1918)	105
Соколов Фёдор Фёдорович (1841–1909)	50
Сократ (ок. 470–399 до н. э.)	84; 220
Соловьёв Владимир Сергеевич (1855–1900)	119; 120
Сологуб Фёдор Кузьмич (1863–1927)	48
Солон (VII–VI вв. до н. э.)	115
Софронов Анатолий Владимирович (1911–1990)	175
Спартак (погиб в 71 до н. э.)	134
Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953)	86; 133–134; 137; 139; 147; 167; 174; 188; 193; 204; 214; 222; 224–225; 239; 244
Столыпин Пётр Аркадьевич (1862–1911)	47
Струве Василий Васильевич (1889–1965)	12; 14; 97; 105; 107–110; 128; 130–132; 134–135; 150; 176–177; 185; 203–205
Струве Пётр Бернгардович (1870–1944)	105; 107; 226
Суворов Александр Васильевич (1729–1800)	151
Суров Анатолий Алексеевич (1910–?)	175
Суров Е. Г.	176–177
Талалай А. А., могилевский юрист, жертва погрома 1904	24
(Талалай?) Перла, мать А. А. Талалая, жертва могилевского погрома 1904	25
Таллат-Келпша (Келповский) Юозас? (1889–1949)	35
Тарле Евгений Викторович (1875–1949)	126; 150–151; 188
Тимирязев Климент Аркадьевич (1892–1980)	122
Тито (Broz Tito) Иосип (1892–1980)	174
Тихомиров Михаил Николаевич (1882–1945)	185
Толстой Алексей Николаевич (1882–1945)	168
Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889)	217
Толстой Иван Иванович (1880–1954), филолог	50–51; 105–106; 127; 137; 149; 177
Толстой Иван Иванович-старший (1858–1916), историк, отец филолога	50
Толстой Лев Николаевич (1828–1910)	47; 49; 244; 247; 251–252

Томсинский Семён Григорьевич (1894–1938)	131
Тронский (наст. фам. Троцкий) Иосиф Моисеевич (1897–1970)	105
Троцкий И. М. см. <i>Тронский И. М.</i>	
Троцкий Лев Давыдович (1879–1940)	86; 95; 239
Тураев Борис Александрович (1868–1920)	97; 201
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883)	138
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943)	87; 137
Тюменев Александр Ильич (1880–1959)	128–132; 134; 176; 178
Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918)	95; 168
Утченко Сергей Львович (1908–1976)	200
Уэллс (Wells) Герберт (1866–1946)	87–88
Фабр (Fabre) Жан Мари (1823–1915)	120
Фармаковский Борис Владимирович (1870–1928)	201
Федин Константин Александрович (1892–1977)	12
Флоренский Павел Александрович (1882–1943)	226
Фрейденаберг Ольга Михайловна (1890–1955)	135; 137–138; 186
Фридман Нафтали Маркович (1863–1921)	61
Фриче Владимир Максимович (1870–1929)	*126
Фрэзер (Frazer) Джеймс (1864–1941)	116
Фукидид (460–396 до н. э.)	64–65
Фурумарк (Furumark) Арне, шведский археолог	211
Хаустов Валентин Иванович (1885–?), депутат Гос. Думы, с.-д. (меньшевик)	61
Холодов Ефим Григорьевич, (1915–?), театровед	175
Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971)	214
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941)	42
Цвибак Михаил Миронович	126; 131
Чагин Борис Александрович (1899–1987)	122
Чарушин Евгений Иванович (1901–1965)	11
Чеберяк Вера Владимировна (?–после 1917), лже-свидетельница в деле Бейлиса	224
Чедвик (Chadwick) Джон (1920–1998)	198–199
Черницкий, пом. декана истор. ф-та ЛГУ в 1937	146
Чернов Виктор Михайлович (1873–1952)	77; 84
Чернов Сергей Николаевич (1887–1942)	150
Черный Саша (1880–1932)	41–42; 48
Чехов Антон Павлович (1860–1904)	55
Чингис-Хан (ок. 1155–1227)	175
Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996)	113
Чурина Анна Дмитриевна («Нюра»), домработница у С. Я. Л. с 1935	158; 193; 222

Шамиль (ок. 1798–1871)	175
Шварц Евгений Львович (1896–1958)	13; 147; 238
Шлиман (Schliemann) Генрих (1822–1890)	211; 219; 224
Шмидт Пётр Петрович (1867–1906)	12
Штерн Лина Соломоновна (1878–1968)	189
Штрайх Соломон Яковлевич (1879–1957)	163
Шульгин Василий Витальевич (1878–1976)	69
Шустов Андрей Кириллович (1885?–?), свидетель на процессе по делу о гомельском погроме (1904); обвиняемый по делу о типографии РСДРП	27
Щёголев Павел Елисеевич (1877–1931)	76; 79
Щербатской Фёдор Ипполитович (1866–1942)	105
Эванс (Evans) Артур Джон (1851–1941)	211
Эйлер (Euler) Леонард (1707–1783)	142
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959)	186
Энгельс (Engels) Фридрих (1820–1895)	85; 115; 119
Энджел (Engell) Норман (1874–1967)	61
Эпикур (341–270 до н. э.)	121; 171–172; 220
Эпихарм (ок. 530–ок. 440 до н. э.)	219
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967)	12; 73; 162–163; 168; 194; 217
Эрман (Erman) Адольф (1854–1937)	97
Юзовский Ю. (наст. имя Иосиф Ильич) (1902–1964), театровед	175
Юшкевич Семён Соломонович (1868–1927)	96
Якоби (Jaskoby) Феликс (1876–1959)	176; 184
Янковский (наст. фам. Хисин) Моисей Осипович (1898–1972), театровед	175

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ С. Я. ЛУРЬЕ¹

Составитель Н. М. Ботвинник²

1913

1. Херонейская надпись IG, VII, 3376 // ЖМНП. Отд-ние класс. филол. Декабрь. С. 514–522.

1914

2. Беотийский союз. СПб. 262 + I–V с. (статьи, вошедшие в эту книгу, печатались в: ЖМНП. Отд-ние класс. филол. Январь. С. 1–57; Февраль. С. 59–73; Апрель. С. 137–171; Июнь. С. 225–241; Июль. С. 277–314; Август. С. 315–358; Сентябрь. С. 359–410).

3. Два фрагмента беотийских надписей // ЖМНП. Отд-ние класс. филол. Март. С. 133–135.

1915

4. Частноправовые документы эллинистической Греции. Этюды. СПб. Вып. 1. 27 с.

5. Les fermiers thespiens // REG. T. 28. P. 51–64.

6. Xen. Hell. VI, 4, 14 // ЖМНП. Отд-ние класс. филол. Июнь. С. 286–288.

7. К беотийским надписям // Там же. Август. С. 343–364.

1916

8. Вопросы войны и мира 2300 лет тому назад // Летопись. Июнь. С. 184–202.

1917

9. Observatiunculae Aristophaneae (Этюды из области аристофановых глосс). I–VII // ЖМНП. Отд. класс. филол. Сентябрь–октябрь. С. 312–323; Ноябрь–декабрь. С. 325–354.

¹ Газетные статьи в список не включены.

² Составитель выражает глубокую благодарность С. Э. Андресвой за помощь при подготовке списка трудов к печати.

1918

10. Новый оксиринхский отрывок // ИРАН. Т. 12, № 15. С. 1591 – 1618.

11. К хронологии софиста Антифонта и Демокрита // Там же. № 18. С. 2285–2306.

1919

12. К вопросу о правовом положении метеков в Афинах // Учен. зап. Самарск. ун-та. Вып. 2. С. 31 – 32.

13. Новелла Апулея // Там же. С. 38–39.

1920

14. Антифонт-софист. Пг.: Изд-во АН. 50 с.

1921

15. Фрэнсис Бэкон. Новая Атлантида / Пер., введение и примеч. М.; Пг.: Былое. 61 с.

1922

16. Антисемитизм в древнем мире. Пг.: Былое. 159 с. (2-е изд. – С. Я. Лурье. Антисемитизм в древнем мире. Попытки объяснения его в науке и его причины: Приложение к кн.: Филон Александрийский. Против Флакка. О посольстве к Гаю; Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против Апиона. М.; Иерусалим, 1994. 223 с.).

1923

17. Антисемитизм в древнем мире. Берлин; СПб.; М.: Изд-во Гржебина. 216 с. (В 1976 г. перепечатано в Тель-Авиве без оглавления, титульного листа и посвящения «Памяти отца и учителя»).

1924

18. Новый труд по истории еврейства в эллинистическо-римскую эпоху, J. Juster. Les juifs dans L'Empire Romadin, leurs conditions juridique, économique et sociale: 2 T. Paris, 1914 // ЕС. Л. Т. 11. С. 180–199.

19. Фамилия Луриа в римском Египте // Там же. С. 319–324.

20. Эпиграфика и папирология (обзор извлеченных при раскопках последних лет памятников истории эллинистическо-римского еврейства) // Там же. С. 325–329.

21. Рец.: А. Тюменев. Евреи в древности и в средние века, 1922 // Там же. С. 345–347.

22. Рец.: R. Dussaud. Les origines cananéennes du sacrifice Israélite, 1921 // Там же. С. 363–365.

23. Рец.: A. Mallon. Les hébreux en Egypte, Pontificio Istituto Biblico. Roma, 1921–1922 // Там же. С. 365–369.

24. Die lemnische ἀπογραφὴ (IG, II², 30– IG, II, 14) // ДРАН. Сер. В. С. 130–133.
 25. Noch einmal das salaminische Psephisma // Там же. С. 134–137.
 26. Ein Gegner Homers // ИРАН. Т. 18. С. 373–382.
 27. ΑΓΛΟΤΤΙΑ (zu Oxyrh. Pap. XI, 1364, Fr. a, Z, 13 ff.) // Aegyptus. Vol. 5, fasc. 4. P. 326–330.

1925

28. Антифонт – творец древнейшей анархической системы. М.: Голос труда. 160 с.
 29. Bemerkungen zu Aristot. Ἀθηναίων πολιτεία, 1–16 // Raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso (1844–1925). Milano. P. 305–315.
 30. Zur Geschichte einer kosmopolitischen Sentenz // ДАН. Сер. В. С. 78–81.

1926

31. Предтечи анархизма в древнем мире. М.: Голос труда. 245 с.
 32. Биография Тиберия Гракха и Евангелия // Сб. в честь С. А. Жебелёва. С. 48–53.
 33. Библейский рассказ о пребывании евреев в Египте // Еврейская мысль. С. 81–129.
 34. «Гавриилиада» и апокрифические евангелия // Пушкин в мировой литературе. Л.: Госиздат. С. 1–10, 345–348.
 35. Das, was ist, und das, was nicht ist // PhW. Jg. 46, N 23. S. 619–620.
 36. Asteropos // Ibid. N 25/26. S. 701–702.
 37. Entgegnung. Zu Bickermanns Besprechung meines Buches «Der Antisemitismus in der alten Welt» // Ibid. N 52. S. 1438–1439.
 38. Zur Quelle von Mt. 8, 19 // Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft. Bd 25, H. 3–4. S. 282–286.
 39. Die ägyptische Bibel (Joseph- und Mosessage) // Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Bd 44, H. 2. S. 94–135.
 40. Un criterio ortografico per distinguere l'oratore e il sofista Antifonte // Rivista di filologia. Torino. Vol. 54, fasc. 2. P. 218–222.
 41. Eine politische Schrift des Redners Antiphon aus Rhammus // Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie. Bd 61, H. 3. S. 343–348.
 42. Zur Rechtfertigung meiner Ergänzung von IG, I², 1 // Кlio. Beiträge zur Alten Geschichte. Bd 21, H. 1. S. 68–74.
 43. Väter und Söhne in den neuen literarischen Papyri // Aegyptus. Vol. 7, fasc. 3–4. P. 243–267.

1927

44. Социализм в древности. Рец. на работы Эдгара Зелина // Архив Маркса и Энгельса. Т. 3. С. 499–506.
 45. Der Sozialismus im Altertum // Zeitschrift des Marx-Engels Instituts in Moskau. Frankfurt am Main. S. 509–517. (Sonderabdruck aus dem zweiten Band des Marx-Engels Archivs).

46. Zur Geschichte der Präskripte in den attischen voreuklidischen Volksbeschlüssen // *Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie*. Bd 62, H. 3. S. 257–275.
47. ΤΟΝ ΣΟΥ ΥΙΟΝ ΦΡΙΞΟΝ // *Raccolta di scritti in onore di Felice Ramorino*. Milano. P. 289–314.
48. L'argomentazione di Antifonte in *Ox. Pap.*, XV, 1797 // *Rivista di filologia*. Torino. Vol. 55, fasc. 2. P. 80–83.
49. Studien zur Geschichte der antiken Traumdeutung // *ИАН*. № 5–6. С. 441–466; С. 1041–1072.
50. Zum politischen Kampf in Sparta gegen Ende des 5. Jahrhunderts // *Klio. Beiträge zur Alten Geschichte*. Bd 21, H. 3–4. S. 404–420.
51. Zum neugefundenen lokrischen Gesetz // *ДАН. Сер. В. С.* 216–218.
52. *Supplementum Epigraphicum Graecum*. Vol. 3, fasc. 1. *Luguduni Bata-vorum* (редактирование).³

1928

53. Ein milesischer Männerbund im Lichte ethnologischer Parallelen // *Philologus. Zeitschrift für das klassische Altertum*. Bd 83, H. 2. S. 113–136.
54. О новых путях и задачах библейской критики // *ЕС. Л. Т.* 12. С. 347–380.
55. Рец.: L. Fuchs, *Die Juden Ägyptens*; H. J. Bell, *Juden und Griechen in römischen Alexandria* // Там же. С. 386–388.
56. *Zu Pap. Oxyr.* III, 414 // *The Classical Quarterly*. Vol. 22, N 3–4. P. 176–178.
57. Protagoras und Demokrit als Mathematiker // *ΑΣΠΑΣΜΟΣ*. Сб. в честь И. И. Толстого. Л.: Изд-во АН СССР. С. 22–27.
58. Protagoras und Demokrit als Mathematiker // *ДАН. Сер. В. С.* 74–79.
59. Bemerkungen zur Geschichte der antiken Traumdeutung // Там же. С. 175–179.
60. Der Selbstmord des Königs Kleomenes I // *PhW*. Jg. 48, S. 27–29.
61. War Peisistratos Vorkämpfer der attischen Bourgeoisie? // VI^e Congrès international des sciences historiques. *Résumés des communications présentées au congrès*. Oslo. P. 96–97.

1929

62. История античной общественной мысли. Общественные группировки и умственные движения в эллинском мире. М.; Л.: Госиздат. 415 с.
63. Noch einmal über Antiphon in Euripides' *Alexandros* // *Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie*. Bd 64, H. 4. S. 491–497.
64. Wann hat Demokrit gelebt? // *Archiv für Geschichte der Philosophie und Soziologie*. Bd 38, H. 3–4. S. 205–238.

³ В дальнейшем С. Я. Лурье принимал участие в редактировании следующих томов: *Supplementum Epigraphicum Graecum*. Vol. 3, fasc. 2 (1929); Vol. 4, fasc. 1 (1929), fasc. 2 (1930); Vol. 5 (1931); Vol. 6 (1932); Vol. 7 (1934); Vol. 8, fasc. 1 (1937), fasc. 2 (1938).

65. Die Ersten werden die Letzten sein (Zur sozialen „Revolution“ im Altertum) // *Klio. Beiträge zur Alten Geschichte.* Bd 22, H. 4. S. 405–431.

66. Entstellungen des Klassikertextes bei Stobaios // *RhM.* Bd 78. S. 81–104, 225–248.

67. Demokrit, Demokedes und die Perser // *ДАН. Сер. В. С.* 137–144.

1930

68. Der Affe des Archilochos und die Brautwerbung des Hippokleides // *Philologus. Zeitschrift für das klassische Altertum.* Bd 85, H. 1. S. 1–22.

69. Греческая религия // *БСЭ* (1-е изд.). Т. 19. Стб. 127–136.

70. Греческая мифология // Там же. Стб. 136–140.

71. Письмо греческого мальчика. М.: ГИЗ. 48 с. (2-е изд. – М.; Л.: Учпедгиз, 1936. 100 с.; 3-е изд. – М.; Л.: Детиздат, 1940. 36 с.; 4-е изд. – М.; Л.: Детиздат, 1941. 36 с.; 5-е изд. – М.; Л.: Детиздат, 1958. 43 с.; 6-е изд. – М.; Л.: Детиздат, 1966. 47 с.; 7-е изд. – М.; Л.: Детиздат, 1978. 47 с.; 8-е изд. – М.; Л.: Детиздат, 1989. 45 с.; 9-е изд. – в сб.: *Уважаемые дети.* Л.: Детская литература, 1989. С. 237–250; 10-е изд. – СПб.: Эйдос, 1994. 96 с.; 11-е изд. – М.: МК – Периодика, 2002. С. 7–38).

1932

72. Дом в лесу // *Язык и литература.* Сб. НИИ речевой культуры. Т. 8. С. 159–193.

73. Die Infinitesimaltheorie der antiken Atomisten // *Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik.* Bd 2, H. 2. S. 106–185.

74. К вопросу о египетском влиянии на греческую геометрию // *АИИТ. Сер. 1, вып. 1.* С. 45–70.

1933

75. Frauenpatriotismus und Sklavenemanzipation in Argos // *Klio. Beiträge zur Alten Geschichte.* Bd 26, H. 2/3. S. 211–228.

76. Элевсин // *БСЭ* (1-е изд.). Т. 63. Стб. 428.

1934

77. Эллинистическая религия // *БСЭ* (1-е изд.). Т. 64. Стб. 55–57.

78. Новейшая литература по истории античной математики. G. Junge, H. Hasse // *АИИТ. Сер. 1, вып. 2.* С. 297–303.

79. Обзор русской литературы по истории математики // Там же. Вып. 3. С. 273–311.

80. Приближенные вычисления в древней Греции // Там же. Вып. 4. С. 21–46.

81. Мнимый «порочный круг» у Кавальери // Там же. Вып. 5. С. 491–497.

82. L'asino nella pelle del leone // *Rivista di filologia. D'istruzione classica.* Torino. Fasc. 4. P. 447–473.

83. Осел в лвиной шкуре. К вопросу об индийских параллелях к древнегреческим басням // *ИАН. Отд-ние общ. наук. № 4.* С. 245–268.

1935

84. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 196 с. (АИИТ. Сер. 2, вып. 5).
85. Древнеавилонская математика // АИИТ. Сер. 1, вып. 6. С. 414–415.
86. Механика Демокрита // Там же. Вып. 7. С. 129–180.
87. Рец.: O. Neugebauer. Vorlesungen über Geschichte der antiken mathematischen Wissenschaften. Bd 1. Vorgriechische Mathematik. Berlin, 1934 // Там же. С. 473–483.
88. Эйлер и его «исчисление нулей» // Леонард Эйлер (1707–1783): Сб. статей и материалов к 150-летию со дня смерти. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 51–79.
89. Неопубликованная научная переписка Леонарда Эйлера // Там же. С. 111–162.
90. Ксенофонт. Греческая история / Пер., вступ. ст. и коммент. Л.: Соцэкгиз. 378 с. (2-е изд. – СПб.: Алетейя, 1993; 3-е изд. – СПб.: Алетейя, 1996; 4-е изд. – СПб.: Алетейя, 2000; Отрывки перевода см. в кн.: *Нилендер В. О.* Греческая литература в избранных переводах. М., 1939. С. 423–431; *Зубов В. П., Петровский Ф. А.* Архитектура античного мира. М., 1940).
91. Дионис // БСЭ (1-е изд.). Т. 22. Стб. 483–484.

1936

92. Рец.: Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности / Под ред. и с коммент. К. Г. Баммеля. 1935 // АИИТ. Сер. 1, вып. 8. С. 417–424.
93. Рец.: A. Rehm und K. Vogel. Exakte Wissenschaften. 1933 // Там же. С. 430–432.
94. Предшественники Дарвина в античности // Там же. Вып. 9. С. 129–150.
95. Платон и Аристотель о точных науках // Там же. С. 303–318.
96. Zur Leukipp-Frage // Symbolae Osloenses. Bd 15–16. S. 19–22.
97. Леонард Эйлер. Введение в анализ бесконечно малых / Ред. пер., вступ. ст. и примеч. М.: ОНТИ. 352 с.

1937

98. О. Нейгебауэр. Лекции по истории античных математических наук. Т. 1. Догреческая математика / Пер., предисл. и примеч. М.; Л.: ОНТИ. 243 с.
99. Демокрит. М.: Журн.-газ. объединение. 148 с. (Жизнь замечательных людей; Вып. 13 (109)).
100. Древнейшие аттические надписи // Сб. статей по вспомогательным историческим дисциплинам. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 67–94.

1938

101. К организации нотариата в греческой метрополии (IG, VII, 3172) // ВДИ. № 2. С. 66–79.

102. Новое папирусное свидетельство о борьбе за Сигей // ВДИ. № 3. С. 88–91.

103. Из истории математики в древности. I. Два учебника стереометрии. II. Вавилонская математика в свете новых клинописных текстов // Там же. С. 193–199.

1939

104. Движение свободных рабочих в Древней Греции // Учен. зап. ЛГУ. № 39. Сер. ист., вып. 4. С. 3–24.

105. К вопросу о роли Солона в революционном движении начала VI века // Там же. С. 73–88.

106. О фашистской идеализации полицейского режима древней Спарты // ВДИ. № 1. С. 98–106.

107. Новые эпиграфические находки в Афинах // Там же. С. 155–159.

1940

108. Бонавентура Кавальери. Геометрия, изложенная новым способом при помощи неделимых непрерывного. С приложением «Опыта IV» о применении неделимых к алгебраическим степеням. Т. 1. Основы учения о неделимых («Геометрия», кн. I–II и «Опыт IV») / Пер. с латинск., вступ. ст. и коммент. М.: ГТТИ. 414 с.

109. Математический эпос Кавальери // Там же. С. 7–83.

110. Клисфен и Пизистратиды // ВДИ. № 2. С. 45–51.

111. История Греции. Ч. 1. С древнейших времен до образования Афинского морского союза. Л.: Изд-во ЛГУ. 211 с. (2-е изд. вышло вместе с неизданной ранее второй частью в 1993 г.).

1941

112. Плутарх. Избранные биографии / Ред. перевода; пер. биографий Аристида и Перикла; ст. «Плутарх и его время», «Две истории пятого века» и коммент. М.; Л.: Соцэкгиз. 490 с. (2-е изд. – Плутарх. Избранное. М.: Terra, 1996. Т. 1–2. 320 с.).

1943

113. Предшественники Ньютона в философии бесконечно малых // Исаак Ньютон (1643/1727): Сб. ст. к 300-летию со дня рождения / Под ред. акад. С. И. Вавилова. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 75–98.

114. Ньютон, историк древности // Там же. С. 271–311. (2-е изд. – Антифоменковская мозаика / Под ред. И. А. Настенко. М.: Русская панорама, 2001. С. 84–143).

1945

115. Архимед. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 271 с. (Науч.-поп. сер. «Биографии»).

1946

116. К вопросу о возникновении алгебраического мышления. По поводу книги М. Я. Выгодского «Арифметика и алгебра в древнем мире». М., 1941 // Успехи математ. наук. Нов. сер. Т. 1, вып. 1. С. 248–257.

117. Новые папирусные свидетельства из истории Митилены в начале VI века до н. э. // ВДИ. № 1. С. 187–189.

118. Новое о Демокрите // ВАН. № 7. С. 71–73.

119. Рец.: И. М. Гревс. Тацит // Там же. С. 117–118.

1947

120. Очерки по истории античной науки. Греция эпохи расцвета. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 402 с.

121. Маркс и Демокрит // Очерки по истории античной науки. С. 391–396.

122. Геродот. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 212 с.

123. Сочинение Плутарха «О злокозненности Геродота»: Пер. // Геродот. С. 161–202.

124. Геродот, IX, 108–113. Ксеркс и Артаинта: Пер. // Там же. С. 203–207.

125. Annotationes Alcaicae // La Parola del Passato. Rivista di studi classici. Fasc. 4. P. 79–89.

126. Рец.: The Oxyrhynchus Papyri. Part XVIII // ВДИ. № 1. С. 107–112.

127. Эксплуатация афинских союзников // ВДИ. № 2. С. 13–27.

128. Афины и Карфаген в 409–406 гг. // ВДИ. № 3. С. 122–125.

129. Догреческие надписи Крита // ВДИ. № 4. С. 70–87.

130. Демокрит, Эпикур и Лукреций // Лукреций. О природе вещей. М.; Л.: Изд-во АН СССР. Т. 2. С. 121–145.

1948

131. Архимед и его время // Тр. юбил. науч. сес. ЛГУ. С. 178–201.

132. Рец.: А. О. Маковельский. Древнегреческие атомисты. 1946 // ВДИ. № 3. С. 85–99.

133. Культ Матери и Девы в Боспорском царстве (По поводу трех надписей из Боспора) // Там же. С. 204–211.

134. О декрете в честь Диофанта: Докл. на сесс. по истории Крыма (20–23 сентября 1948 г.). Резюме докл. см.: ВИ. № 12. С. 183.

135. Наследие Демокрита: Тез. докл. // Тр. совещ. по истории естествознания, 24–26 декабря 1946 г. М.; Л. С. 114.

136. Archimedes. Wien: Phoenix-Bücherei. 204 с.

1950

137. Архимед // БСЭ. 2-е изд. Т. 3. С. 184–186.

1951

138. Ф. У. Т. Эпинус. Теория электричества и магнетизма / Пер. с латинск. проф. С. Я. Лурье (с. 5–386). М.; Л.: Изд-во АН СССР.

1954

139. Рец.: Академик Владимир Георгиев. Проблемы минойского языка. София, 1953 // ВДИ. № 3. С. 104 – 114.

140. К вопросу о политической борьбе в Афинах в конце V в. («Андромаха» и «Лисистрата») // Там же. С. 122 – 132.

1955

141. Неизменяемые слова в функции сказуемого в индоевропейских языках. Львов: Изд-во Львовск. гос. ун-та. 71 с.

142. Опыт чтения пиловских надписей // ВДИ. № 3. С. 8 – 36.

1956

143. Три этюда к Архимеду // Учен. зап. Львовск. гос. ун-та. Т. 38. Сер. мех.-математ. Вып. 7. С. 7 – 30.

144. Крито-микенские надписи и Гомер // ВДИ. № 4. С. 3 – 12.

145. Леонард Эйлер. Интегральное исчисление / Пер. с латинск. (совм. с М. Я. Выгодским). М.: ГИИЛ. Т. 1. 415 с.

1957

146. Vorgriechische Kulte in den griechischen Inschriften mykenischer Zeit // *Minos. Revista de filologia Egea. Universidad de Salamanca. Vol. 5, fasc. 1.* P. 41 – 52.

147. Язык и культура микенской Греции. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 402 с.

148. К вопросу о характере рабства в микенском рабовладельческом обществе // ВДИ. № 2. С. 8 – 24.

149. Обзор новейшей литературы по греческим надписям микенской эпохи // ВДИ. № 3. С. 196 – 213.

150. Pakijanija, inanija und qoukori. Zur Lexikologie und Wortbildung in der Sprache der mykenischen Tafeln // *Eunomia. Ephemeridis Listy Filologické. Suppl., N 2.* Praga, P. 45 – 49.

151. Über die Nominaldeklinaton in den mykenischen Inschriften // *La Parola del Passato. Rivista di studi antichi.* Fasc. 56. P. 321 – 332.

152. Лист грецького хлопчика. Київ: Радьянска школа. 48 с.

1958

153. Политическая тенденция трагедии «Евмениды» // ВДИ. № 3. С. 42 – 54.

154. Οὐδὲ ξύ, οὐδὲ κνύ // Исследования в чест на акад. Д. Дечев (*Studia in honorem akad. D. Dečev*). София: Българска академия на науките. С. 63 – 72.

155. Arhimede. București: Editura științifică. 300 p. (перераб. изд.).

156. Über einige eigentümliche Übergänge der Sonanten und der Vocale im Griechischen // *Eunomia. Ephemeridis Listy Filologické. Suppl. 2, pars 2.* Praga, P. 55 – 59.

157. Methodische Bemerkungen zur Entzifferung und Deutung der griechischen Inschriften mykenischer Zeit // *Minoica. Festschrift zum 80. Geburtstag von J. Sundwall.* Berlin. S. 209–225.

158. О некоторых слитных согласных в старославянском и древнегреческом языках // *Питання слов'янського мовознавства.* Львів. Кн. 5. С. 75–87.

159. Ross oder Ochs? // *Minos. Revista de filologia Egea.* Universidad de Salamanca. Vol. 6, fasc. 2. P. 162–163.

160. Zur kitimena/kekemena Frage // *Ibid.* P. 163–164.

161. Древняя Греция: Книга для чтения (в составе авторского коллектива). Л.: Учпедгиз. (2-е доп. изд. – М.; Л.: Учпедгиз, 1963).

1959

162. К вопросу о происхождении условного союза $\epsilon\acute{\iota}$ в греческом языке // *Питання класичної філології.* Львів. № 1. С. 52–60.

163. Jeszcze o dekrecie ku czci Diofantosa // *Meander.* Rok 14, N 2. S. 67–78.

164. Burgfrieden in Sillyon // *Klio. Beiträge zur Alten Geschichte.* Bd 37. S. 7–20.

165. The Oxyrhynchus Papyri. Part XXII–XXIII // *ВДИ.* № 3. С. 191–198.

166. Wspomnienia o prof. Tadeuszu Zielinskim i jego metodzie motywów rudymentarnych // *Meander.* Rok 14, N 8–9. S. 406–418.

167. Латинский язык как древнейший этап французского языка. Львов: Изд-во Львовск. гос. ун-та. 72 с. (Ротапринт).

1960

168. Wortbildung in der Sprache der mykenischen Inschriften // *Eirene.* Vol. 1. P. 23–36.

169. Рец.: M. Ventris and J. Chadwick. Documents in Mycenaean Greek; J. Chadwick. The Decipherment of Linear B. 1958 // *ВДИ.* № 1. С. 132–144.

170. Alkibiades, I // *Meander.* Rok 15, N 4. S. 217–225.

171. Alkibiades, II // *Ibid.* N 5–6. S. 275–285.

172. Рец.: W. Merlingen. Konzept einiger Linear B Indices, Bd 1–2 (1959) // *Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft.* Bd 32. S. 200–207.

173. Новая комедия Менандра // *ВДИ.* № 2. С. 176–178.

174. К вопросу о происхождении культа христианских целителей // *Там же.* С. 96–100.

175. Рец.: В. Ярхо. Эсхил // *ВДИ.* № 3. С. 203–210.

176. Еще об амулете из Горгиппии // *Советская археология.* № 4. С. 234.

177. Zu den neugefundenen pylischen Inschriften (Grabungen 1955–1958) // *La Parola del Passato. Rivista di studi antichi.* Fasc. 73. P. 241–259.

178. Die Belagerung von Jerusalem bei Alkaios // *Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae.* T. 8, fasc. 3–4. P. 265–266.

179. Zur Etymologie des Russischen Wortes «мудрый» («Weise») // *Studii si cercetari lingvistice. Omagiu lui Al. Graur cu prilejul implinirii a 60 de ani.* Vol. 3, Anul 11. P. 553–560.

180. Пушкин и русские революционные демократы о Вергилии и Овидии // *Публий Овидий Назон. До 2000-риччя з дня народження.* Львів: Видавництво Університету. С. 87–92.

181. Заговорившие таблички. М.: Детгиз. 140 с. (2-е изд. – М.: МК – Периодика, 2002. С. 7–128).

182. Античная теория неделимых элементов пространства у Джордано Бруно: Тез. докл. и сообщ. на межвуз. конф. по истории физ.-математ. наук, 25 мая – 2 июня 1960 г. М.: Изд-во МГУ. С. 44–46.

1961

183. Demokrit. Orphiker und Ägypten // *Eos*. Vol. 51, fasc. I. P. 21–38.

184. Zu Archilochos // *Philologus. Zeitschrift für das klassische Altertum*. Bd 105, H. 3/4. S. 178–197.

185. Демокрит и индуктивная логика // ВДИ. № 4. С. 58–67.

186. Noch einmal WONOQOSO // *La Parola del Passato. Rivista di studi antichi*. Fasc. 76. P. 54–56.

187. Основы исторической фонетики греческого языка с учетом языка микенских надписей (учебное пособие для студентов Университета). Львов: Изд-во Львовск. гос. ун-та. 96 с. (Ротапринт).

188. Архилох // Питання класичної філології. Львів. № 2. С. 68–75.

189. Рец.: A. Thumb, *Handbuch der griechischen Dialekte. Zweiter Teil. Zweite erweiterte Auflage von A. Scherer*. Heidelberg, 1959 // ВЯ. № 2. С. 138–141.

190. Рец.: V. Bartoletti. *Hellenica Oxyrhynchia*. Leipzig, 1959 // *Helikon*. Vol. 1. P. 750–753.

191. Авторский реферат: *Jeszcze o dekrecie ku czci Diofantosa* [Noch einmal über das Dekret zu Ehren des Diophantos]. *Meander* 14/1959/67–78 // *Bibliotheca Classica Orientalis*. Bd 6, H. 3. S. 137–138.

1962

192. Неугомонный. М.: Детгиз. 79 с. (2-е изд. – в кн.: Заговорившие таблички. М.: МК – Периодика, 2002. С. 132–205).

193. Zu Menander's *Dyskolos*, 707 ff. // *Romanitas. Revorta de Cultura Romana*. Rio de Janeiro. Ano 4. Vol. 5. P. 171.

194. Die klassischen Studien in der UdSSR // *Ibid*. P. 297.

195. Ein mykenisches Gleichungssystem // *Živa Antika*. Skoplje. God. 11. 2 с.

196. Noch einmal Mykenisches im Kyprischen? // *Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache*. Bd 40, H. 1/2. S. 1–3.

197. Wanaka, wanakato // *Ibid*. H. 3/4. S. 161–162.

198. «Разговор тела с духом» в греческой литературе // *Древний мир: Сб. ст. в честь акад. В. В. Струве*. М.: Изд-во восточной литературы. С. 587–594.

199. Ред. и предисл. к кн.: Менандр. Відлюдник, комедія / Пер. на український А. Содомори. Львів. С. 3–7.

1963

200. Antiphon der Sophist // *Eos*. Vol. 53, fasc. 1. P. 63–67 (2-е изд. – Antiphon der Sophist // *Sophistik* / Hrsg. von C. J. Classen. Darmstadt, 1976. (Wege der Forschung; Bd 187. S. 537–544)).

201. Гераклит и Демокрит // Питання класичної філології. Львів. № 3. С. 22–27.
202. Рец.: Olivier Masson. Les inscriptions chypriotes syllabiques. Recueil critique et commenté. Paris, 1961 // ВДИ. № 1. С. 111–119.
203. Микенские надписи и Древний Восток // Проблемы социально-экономической истории древнего мира: Сб. памяти акад. А. И. Тюменева. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 169–180.
204. Купро-микенisches kakeu (χαλκεύς) // Kadmos. Bd 2, H. 1. S. 68–72.
205. Anfänge griechischen Denkens, aus dem Russischen übertragen von P. Helms. Berlin: Akademie-Verlag. 158 S. (Lebendiges Altertum; Bd 14).
206. Kureten, Molpen, Aisymneten // Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. T. 11, fasc. 1–2. P. 31–36.
207. Heraklit und Demokrit. Übertragen von P. Helms // Das Altertum. Bd 9, H. 4. S. 195–200.
208. Herondas' Kampf für die veristische Kunst // Miscellanea di studi alessandrini in memoria di Augusto Rostagni. Torino. P. 394–415.
209. Рец.: Kadmos. Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik, hrsg. von E. Grumach. Bd 1, H. 1–2. Berlin, 1962 // ВДИ. № 3. С. 159–163.
210. Рец.: Fr. Zucker. Ein neugefundenes griechisches Drama. Berlin: Akademie-Verlag, 1960 // Deutsche Literaturzeitung. Bd 84, H. 4. S. 308–310.
211. Новонайденные стихотворения греческих лириков: Пер. // Эллинские поэты. М.: ГИХЛ. С. 344–350.
212. К вопросу о языке линейного А (совм. с И. Д. Амусиным) // ВДИ. № 4. С. 198–201.

1964

213. К вопросу о греческом ударении // ВЯ. № 1. С. 116–122.
214. Рец.: G. L. Huxley. Early Sparta. London, 1962 // ВДИ. № 1. С. 162–168.
215. Греция во II тысячелетии до н. э. // Хрестоматия по истории древней Греции. М.: Мысль. Разд. 1. С. 30–53 (сост., пер. и примеч.).
216. «Скованный Прометей» Эсхила и Клисфенова демократия // Конференция по изучению проблем античности (9–14 апреля 1964 г., Ленинград): Тез. докл. М.: Изд-во АН СССР. С. 74.
217. Zur Frühgeschichte des griechischen Alphabets. I. Die frühattischen Inschriften // Kadmos. Bd 3, H. 1. S. 88–107.
218. Zum Problem der Griechisch-Karthagischen Beziehungen // Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. T. 12, fasc. 1–2. P. 53–75.
219. Путешествие Демокрита (совм. с М. Н. Ботвинником). М.: Детская литература. 160 с. (2-е изд. – в кн.: Письмо греческого мальчика. М.: МК – Периодика, 2002. С. 41–193).
220. Zwei Demokrit-Studien. 1. Ὅ μᾶλλον und ἰσονομία; 2. Ἀναγκάτων und συμβεβηκός // Isonomia: Studien zur Gleichheitsvorstellung im griechischen Denken. Berlin: Akademie-Verlag. S. 37–54.
221. Zur Frage der materialistischen Begründung der Ethik bei Demokrit. Berlin. 28 S.
222. Рец.: L. R. Palmer. Mycenaens und Minoans. Aegean Prehistory in the Light of Linear B Tablets. London, 1961 // ВДИ. № 2. С. 176–182.

223. Liebe oder Tod? // Helikon. Messina. Anno 4. N 1–4. P. 321–330.

224. Die Sprache der mykenischen Inschriften // Klio. Beiträge zur Alten Geschichte. Bd 42. S. 5–60.

1965

225. Tochterschändung in der Bibel // Archiv Orientální. Praha. Vol. 33. P. 207–208.

226. Menander kein Peripatetiker und kein Feind der Demokratie // Menanders Dyskolos als Zeugnis seiner Epoche / Hrsg. von Fr. Zucker. Berlin: Akademie-Verlag. S. 23–31.

227. Parallelismus membrorum у Демокрита и вопрос о восточном влиянии // Іноземна філологія. Вип. 4. Питання класичної філології. Львів. № 4. С. 13–21.

1966

228. Древнегреческие паспорта для входа в рай // Вопросы античной литературы и классической филологии. М.: Наука. С. 23–28.

1967

229. «Скованный Прометей» Эсхила и афинская демократия // Античное общество. М.: Наука. С. 291–300.

1970

230. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. Л.: Наука. 664 с.

1993

231. История Греции. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та. Ч. 1–2. 680 с.

1995

232. Переписка С. Я. Лурье с отцом об античном антисемитизме (публикация Я. С. Лурье) // In memoriam. М.; СПб.: Феникс: Atheneum. С. 211–232.

2003

233. Надписи о чудесных исцелениях // Абарис. СПб. (С.-Петербург. класс. гимназия). № 4. С. 30–35.

НЕИЗДАННЫЕ РАБОТЫ С. Я. ЛУРЬЕ

1. О происхождении метафоры // Древний мир и мы: Классическое наследие в Европе и России (СПб.: Bibliotheca Classica Petropolitana. Вып. 4. (В печати)).

2. Тирания в Афинах. 414 с. (Машинопись).

3. Докторская диссертация «Художественная форма и вопросы современности в аттической трагедии». 555 с. (Защищена в Саратове в 1943 г.; машинопись).

4. Греческая эпиграфика как вспомогательная дисциплина. 160 с. (Машинопись).
5. Элементарный курс греческого языка. Львов, 1955. 175 с. (Рукопись).

ПУБЛИКАЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ С. Я. ЛУРЬЕ

1. Глускина [Л. М.], Соломоник [Э. И.], Амусин [И. Д.], Утченко [С. Л.], Ботвинник [М. Н.]. 50 лет со дня рождения С. Я. Лурье // Ленинградский университет. Л., 1941. 13 янв. № 2 (446).
2. К 70-летию проф. С. Я. Лурье // ВДИ. 1960. № 4. С. 196–198.
3. С. Я. Лурье: К 50-летию научной деятельности // ВДИ. 1964. № 1. С. 225.
4. Nadel B. Professor Salomon Luria (8/I 1891–30/X 1964) // Meander. 1965. Rok 20, N 6. S. 209–225.
5. Пам'яті Соломона Яковича Лур'є // Інземна філологія. Вип. 4. Питання класичної філології. Львів, 1965. № 4. С. 114–115.
6. Соломон Яковлевич Лурье. Некролог // ВДИ. 1965. № 1. С. 227.
7. Амусин И. Д., Ботвинник М. Н., Глускина Л. М. Памяти учителя // ВДИ. 1965. № 1. С. 228–230.
8. Амусин И. Д. С. Я. Лурье. Некролог // Вопросы истории естествознания и техники. 1966. Вып. 20. С. 147.
9. Глускина Л. М. Памяти Соломона Яковлевича Лурье // Иноземна філологія. Вип. 9. Питання класичної філології (сб. посвящен памяти С. Я. Лурье). Львів, 1966. № 5. С. 5–8.
10. Научные заседания памяти С. Я. Лурье: Панченко Д. В.; Гроссман Ю. М.; Лисовой И. А. // ВДИ. 1986. № 4. С. 185–187.
11. Каверин В. А. От случая к случаю // Огонек. 1986. № 27.
12. Копржива-Лурье Б. Я. История одной жизни. Paris: Atheneum, 1987. 265 с.
13. Grinbaum Natan S. Salomon Jakovlevič Lur'e (1891–1964) // Philologus, 1987. Bd 131, N. 2, S. 300–308. (Перепечатано: Микенологические этюды. СПб.: Алетейя, 2001. С. 203–211).
14. Лурье Я. С. [Предисловие к отрывку из книги С. Я. Лурье «Письмо греческого мальчика»] // Уважаемые дети. Л.: Детская литература, 1989. С. 236.
15. Соломон Луриа. Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1989. Т. 4. Стб. 974–975.
16. Лисовый И. А. Vir doctus, docendi peritus (к столетию со дня рождения проф. С. Я. Лурье) // Історія і культура античності: 3-і наукові читання пам'яті проф. С. Я. Лур'є. Львів, 1990.
17. Соломоник Е. І. До 100-річчя з дня народження С. Я. Лур'є // Археологія. 1991. № 4. С. 129–133.
18. Лурье Я. С. Кипрская тетрадь // Невское время. 1991. 24 авг.
19. От редакции [Предисловие к сб.] // Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья (сб. посвящен памяти С. Я. Лурье). СПб.: Глаголь, 1992. С. 7–10.

20. Фролов Э. Д. Тернистый путь ученого: С. Я. Лурье и его «История Греции» // Лурье С. Я. История Греции. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1993. С. 3–24. (Перепечатано: Фролов Э. Д. Соломон Яковлевич Лурье (1891–1964) // Русская наука об античности. Историкографические очерки. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. С. 452–477).

21. Лурье Я. С., Полак Л. С. Судьба историка в контексте истории (С. Я. Лурье. Жизнь и творчество) // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 2. С. 3–17.

22. Содомора А. Sub aliena umbra. Під чужою тінню. Львів, 2000. 335 с.

23. Дубровская Г. А. Ау – Лурье! // Лурье С. Заговорившие таблички. М.: МК – Периодика, 2002. С. 205–206.

24. Зайцев А. И. О Соломоне Яковлевиче Лурье // Зайцев А. И. Избранные статьи. СПб., 2003. С. 518–526.

25. Vitz-Margulis Br. Solomon Luria and his Contribution to the Study of Antiquity // Scripta Classica Israelica. 2003. Vol. 22. P. 273–276.

26. Содомора А. Отрывки из книги «Sub aliena umbra» / Пер. с укр. Н. М. Ботвинник // Древний мир и мы: Классическое наследие в Европе и России. СПб.: Bibliotheca Classica Petropolitana, 2003. Вып. 3.

27. Содомора А. Ми – тільки порох і тіль?.. // Дзвін. 2003. № 3. С. 94–109.

28. Содомора А. Лініями долі (Літературні портрети). Львів, 2003. 376 с.

СПИСОК АББРЕВИАТУР

- АИИТ* – Архив истории науки и техники
БСЭ – Большая советская энциклопедия
ВАН – Вестник Академии Наук
ВДИ – Вестник древней истории
ВИ – Вопросы истории
ВЯ – Вопросы языкознания
ГИЗ – Государственное издательство
ГИИЛ – Государственное издательство иностранной литературы
ГИХЛ – Государственное издательство художественной литературы
ГТТИ – Государственное издательство технико-теоретической литературы
ДАН – Доклады Академии Наук
ДРАН – Доклады Российской Академии Наук
ЕС – Еврейская Старина
ЖМНП – Журнал Министерства Народного Просвещения
ИАН – Известия Академии Наук
ИРАН – Известия Российской Академии Наук
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
МГУ – Московский государственный университет
ОНТИ – Отдел научно-технической информации
РПЦ – Русская Православная Церковь
IG – Inscriptiones Graecae
PhW – Philologische Wochenschrift
REG – Revue des études grecques
RhM – Rheinisches Museum für Philologie

СОДЕРЖАНИЕ

От издателя	5
Судьба книги	7
Введение	9
Начало жизни	17
Петербург	43
Революция	67
Годы «Великого перелома»	101
Афины и Апокалипсис	143
Апокалипсис без Афин	165
Последние годы	191
Заключение	215
Посмертное послесловие	233
Указатель имен	253
Список печатных трудов С. Я. Лурье	264
Неизданные работы С. Я. Лурье	276
Публикации, посвященные С. Я. Лурье	277
Список аббревиатур	278

Научное издание

Яков Соломонович Лурье
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ

Утверждено к печати

Ученым советом Европейского университета в Санкт-Петербурге

Редактор *Е. И. Васьковская*

Художник *Е. В. Кудина*

Компьютерная верстка и изготовление оригинал-макета *Е. Н. Грузов*

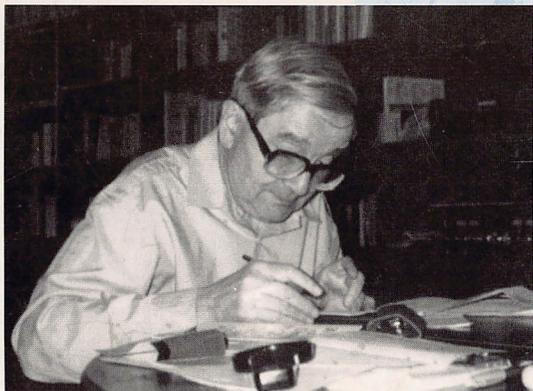
Компьютерная обработка иллюстраций *Т. Н. Николаева*

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 3

Лицензия ИД № 03435 от 05.12.2000. Сдано в набор 10.05.03.
Подписано к печати 17.11.03. Формат 60 x 90 1/16. Гарнитура Таймс.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17.5.
Тираж 1000 экз. Заказ №.

Отпечатано с диапозитивов в типографии
ООО «Борей-Принт»
194100, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6

Книга о русском исследователе античности Соломоне Лурье (1891 – 1964) написана его сыном, Яковом Лурье (1921 – 1996), тоже историком, который занимался эпохой Ивана III и Ивана IV (Грозного). Яков Соломонович был человеком свобододобивым, с обостренным чувством справедливости.



Инакомыслие стало главной причиной его увольнения в 1981 г. из Пушкинского дома, где он, доктор наук, проработал 25 лет. Биографию отца, изданную в Париже под названием "История одной жизни", Яков Лурье начал писать в начале 1980-х гг. Задумана она была значительно шире, нежели обычные мемуары: это книга о судьбе целого поколения русской интеллигенции в послереволюционной России; рассказ о человеке, не желавшем поступаться своей совестью и своими убеждениями в угоду властям; повесть об ученом, который был страстно увлечен наукой; наконец, это книга сына об отце. Лурье издал ее под псевдонимом. Давно известная читателям академических библиотек, книга впервые становится общедоступной и выходит под настоящим именем своего автора.